АЗБУКА ВЕРЫ

Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович

# Черты из жизни Пепко

Художественная литература · azbyka.ru

**Черты из жизни Пепко** – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/cherty-iz-zhizni-pepko

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

# Черты из жизни Пепко

*Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович*

## I

Стояло хмурое осеннее петербургское утро. Я провел скверную ночь и на лекции не пошел. Во-первых, опоздал, а во-вторых, нужно было доканчивать седьмую главу третьей части первого моего романа. Кто пробовал писать роман, тот поймет, насколько последняя причина была уважительна. Прежде чем приняться за работу, я долго ходил по комнате, обдумывая какую-то сцену и останавливаясь у единственного окна, выходившего на улицу. Это окно было моим пробным пунктом, точно каждая трудная мысль сама останавливалась у него. Может быть, это было инстинктивным тяготением к свету, которого так мало отпущено Петербургу. Окно хотя и выходило на улицу, но открывавшийся из него вид не представлял собой ничего интересного. Просто пустырь, занятый бесконечными грядами капусты. Таких пустырей в глубине Петербургской стороны и сейчас достаточно, а двадцать лет тому назад их было еще больше. Мой пустырь до некоторой степени оживлялся только канатчиком, который, как паук паутину, целые дни вытягивал свои веревки. Я уже привык к этому неизвестному мне человеку и, подходя к окну, прежде всего отыскивал его глазами. У меня плелась своя паутина, а у него – своя.

Обыкновенно моя улица целый день оставалась пустынной – в этом заключалось ее главное достоинство. Но в описываемое утро я был удивлен поднявшимся на ней движением. Под моим окном раздавался торопливый топот невидимых ног, громкий говор – вообще происходила какая-то суматоха. Дело разъяснилось, когда в дверях моей комнаты показалась голова чухонской девицы Лизы, отвечавшей за горничную и кухарку, и проговорила:

– Она повесилась…

Меня удивило то, что Лиза улыбалась, хотя это и делалось из вежливости к жильцу. Затем, она была так счастлива, что успела первой сообщить мне взволновавшую всю улицу новость.

– Кто повесился?

– Вировка весилась…

Репертуар русских слов у Лизы находился в несоответствии с пожиравшей ее жаждой рассказать мне новость, и свое объяснение она закончила при помощи рук. Я понял, наконец, кто повесился, и успокоенная чухонская девица скрылась. Впрочем, теперь я и без нее мог увидеть собственными глазами эту новость, то есть грязные босые ноги, выставлявшиеся из-под ветхого навеса, в котором канатчик складывал свою паклю и веревки. Толпа прибывала с удивительной быстротой, – откуда только бралось столько народа в пустынной улице. Стремглав летели босоногие «сапожные» мальчишки, портняжки, горничные, какие-то подозрительные бабы, разные «отставные», которыми по преимуществу населена Петербургская сторона, и просто «жильцы». Сначала толпа хлынула было в огород, но явившиеся на место действия два городовых выгнали любопытных обратно на улицу, и благодаря этому обстоятельству я из своего бельэтажа мог отлично видеть нижнюю часть неподвижно висевшего в сарайчике мертвого тела канатчика. Чухонка Лиза уже три раза вихрем пронеслась по улице взад и вперед, собирая на лету последние известия, чтобы сейчас же разнести их с проворством обезьяны по всем трем этажам нашего деревянного домика. Меня всегда возмущало это нахальное любопытство уличной толпы в таких случаях, а теперь в

особенности, потому что мне казалось, что канатчик почти принадлежал мне, как собрат по профессии.

Главным неудобством моей комнаты было то, что она отделялась от хозяйской половины очень тонкой дощатой стенкой, и слышно было каждое слово, которое говорилось по обе ее стороны. Благодаря этому обстоятельству я в течение какого-нибудь месяца до тонкости узнал всю жизнь моих хозяев, до мельчайших подробностей. Во-первых, они были люди одинокие – муж и жена, может быть, даже и не муж и не жена, а я хочу сказать, что у них не было детей; во-вторых, они были люди очень небогатые, часто ссорились и вообще вели жизнь мелкого служилого петербургского класса. Он уходил в какую-то канцелярию ровно в одиннадцать часов и возвращался обыкновенно к обеду. Если он запаздывал или приходил навеселе, жена начинала на него ворчать, постепенно усиливая тон. Видимо, у него был прекрасный характер, потому что в таких случаях он начинал оправдываться виноватым голосом, просил прощения и вообще употреблял все средства, чтобы потушить беду домашними средствами. Но все-таки он был большой хитрец. Я это знал по тем пустым словам, какими он старался заговорить жену. Он десятки раз косневшим языком повторял самые нелепые объяснения своего поведения, пока жене не надоедало слушать его глупости. Вся суть этой политики заключалась в том, чтобы выиграть время и не дать жене войти в раж. Впрочем, эти опыты гипнотизма не всегда удавались, и дело доходило до очень громких слов, взаимных укоров, подавленной ругани, швыряния разных предметов домашнего обихода и каких-то подозрительных пауз, которые разрешались сдержанными рыданиями жены. В таких исключительных случаях я считал своим долгом издавать предупредительный кашель, ронял на пол книгу или начинал ходить по комнате, стуча каблуками. Этот маневр моментально производил желанное действие, и сцена заканчивалась сердитым шепотом, тяжелым молчанием и такими движениями, точно кто-то кого-то отталкивал и не мог оттолкнуть. Нужно признаться, что я не злоупотреблял своим влиянием, потому что мое вмешательство, очевидно, шло в пользу только виноватой стороны, которой являлся всегда муж, а я не хотел быть его тайным сообщником. Накануне разыгралась именно одна из таких семейных бурных сцен, и поэтому утро было молчаливо-тяжелое. Меня интересовало, как сегодня вывернется мой легкомысленный хозяин, который, как мне было известно доподлинно, именно по утрам мучился угрызениями совести. И представьте себе, этот хитрец воспользовался смертью несчастного канатчика, чтобы помириться с женой! Он так громко его жалел, так вздыхал, высказал столько хороших чувств и даже сам сбегал посмотреть на покойника, чтобы удовлетворить разгоревшееся любопытство жены в качестве очевидца. По тону ее голоса я уже слышал, что ей просто лень сердиться и что ради повесившегося канатчика она готова совсем простить своего тирана. Мое предположение скоро подтвердилось: послышался с его стороны ласковый шепот и уговариванье, а потом поцелуй. Одним словом, канатчик точно нарочно повесился именно в это утро, чтобы поссорившиеся накануне супруги помирились…

– И хорошо сделал этот канатчик, черт возьми! – слышался голос мужа.

– А если у него маленькие дети остались? – слезливо отвечала жена.

– Почему непременно дети и почему непременно маленькие?

Меня всегда удивлял тот быстрый переход, который совершался вслед за таким примирением. Муж сразу делался другим человеком – уверенный тон, ответы полусловами, даже походка другая. Так было и теперь. Прощенный грешник, видимо, чувствовал себя прекрасно и даже, кажется, любезно ущипнул жену, потому что она подавленно взвизгнула и засмеялась, но в этот трогательный момент появилось третье лицо, которое вошло в комнату, не раздеваясь в передней. По первым фразам можно было заключить, что это третье лицо было своим человеком и притом, несмотря на сравнительно ранний час, было уже сильно навеселе и плохо

владело заплетавшимся языком. По тону хозяина можно было заключить, что он не был рад неожиданному появлению гостя, который в другое время мог бы явиться спасителем семейного счастья, а сейчас просто не дал довести до конца счастливый момент. Сам гость упорно не желал замечать ничего и добродушнейшим образом что-то сюсюкал, причмокивал языком и топтался на одном месте, как привязанная к столбу лошадь.

Все эти события совершенно вышибли меня из рабочей колеи, и я, вместо того чтобы дописывать свою седьмую главу, глядел в окно и прислушивался ко всему, что делалось на хозяйской половине, совсем не желая этого делать, как это иногда случается.

Дальше я услышал, как хозяин что-то принялся рассказывать гостю, а тот одобрительно мычал.

– Отлично… Одобряю! – повторял пьяный голос. – А я сейчас к нему пойду познакомлюсь… да.

– Пожалуйста, оставьте, Порфир Порфирыч, – проговорила хозяйка. – Какое нам дело до других и какое мы имеем право мешать человеку?.. Наконец, я вас прошу, Порфир Порфирыч… Человек пишет, а вдруг вы ввалитесь, – кому же приятно в самом деле?

– Пишет? Та-ак… – тянул гость и с упрямством пьяного человека добавил: – А я все-таки пойду и познакомлюсь, черт возьми… Что же тут особенного? Ведь я не съем.

Я понял, что разговор шел обо мне и что хозяин своим молчанием поощряет намерение гостя, – проклятый плут за мой счет хотел выдворить непрошенного гостя, докончить прерванную сцену супружеского примирения в окончательной форме. Это меня, наконец, взбесило… Что им нужно от меня? Вот тебе и седьмая глава третьей части! Я приготовился так принять незваного гостя, что он в следующий раз позабудет мой адрес. А тут чухонка Лиза заглянула в мою дверь без всякой причины, ухмыльнулась и скрылась, как крыса, укравшая кусок сала. Как хотите, это было уже слишком: за мой счет готовилось какое-то очень глупое представление.

– Она дома… – послышался предупреждавший шепот Лизы, когда в коридорчике, отделявшем мою комнату от кухни, послышались какие-то шмыгающие шаги, точно чьи-то ноги прилипали к полу.

# II

– Можно войти-с? – послышался голос за моей дверью, сопровождаемый пьяным причмокиванием и сдержанным хихиканьем Лизы.

– Войдите…

В дверях показался лысый низенький старичок, одетый в старое, потертое осеннее пальто; на ногах были резиновые калоши, одетые прямо на голую ногу. Обросшие бахромой, вытертые и точно вылощенные штаны служили только дополнением остального костюма, который, говоря откровенно, произвел на меня совсем невыгодное впечатление, и я даже подумал одно мгновение, что это какой-нибудь благородный отец, собирающий пятачки. Но старичок улыбнулся самым веселым образом и даже лукаво подмигнул мне, когда, как-то по-театральному, прочитал мне свою рекомендацию:

– Порфир Порфирыч Селезнев, литератор из мелкотравчатых… Прошу любить и жаловать. Да… Полюбите нас черненькими… хе-хе!.. А впрочем, не в этом дело-с… ибо я пришел познакомиться с молодым человеком. Вашу руку…

Бывают такие особенные люди, которые одним видом уничтожают даже приготовленное заранее настроение. Так было и здесь. Разве можно было сердиться на этого пьяного старика? Пока я это думал, мелкотравчатый литератор успел пожать мою руку, сделал преуморительную гримасу и удушливо расхохотался. В следующий момент он указал глазами на свою отставленную с сжатым кулаком левую руку (я подумал, что она у него болит) и проговорил:

– Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог…[1]

При последнем слове кулак разжался, и в нем оказалось несколько смятых кредиток.

– Это мой несгораемый шкаф, молодой человек… Хе-хе!.. Сколько вам нужно? Берите десять, пятнадцать…

– Позвольте, мне кажется странным… Одним словом, что вам угодно от меня?..

Порфир Порфирыч посмотрел на меня непонимающим взглядом, быстро опустился на мой стул у письменного стола и торопливо забормотал:

– Понимаю, понимаю… молодая гордость! Понимаю и не обижаюсь: так и должно быть. Это хорошо… Иначе оставалось бы сделать то же, что устроил ваш канатчик. А ведь какой хитрец… а? Я про канатчика… Вы только подумайте: у человека работишка совсем плохая, притом он должен кругом – хозяину за квартиру, в мелочную лавку, в кабак… да. Наконец, беднягу постоянно сосал червячок: эх, опохмелиться бы!.. Ну, и представьте себе, должен он целые дни тянуть эти проклятые веревки, целые дни думать, как ему извернуться, чтобы и голодная жена не ругалась, чтобы и своя голова не трещала и чтобы лавочник поверил в долг… И вот присмотрел он этакий гвоздь в своем сарайчике, приспособил веревочку и – готов. Это, скажу я вам, был истинный философ, который перехитрил все и всех. Понимаете: трах! – и ни долга в лавочку, ни платы за квартиру, ни похмелья, ни этих проклятых веревок, которые ему отравили всю жизнь. Я нахожу это недурным способом «раскланяться с здешним миром», как говорят китайцы. Главное, ремесло такое подлое у человека: вил, вил свои бесконечные веревки, ну, наконец, и соблазнился. На его месте всякий порядочный человек давно бы сделал то же самое…

Слушая эту пьяную болтовню, я рассматривал физиономию Порфира Порфирыча. Ему было за пятьдесят лет. Жиденькие, мягкие, седые, слегка вившиеся волосики оставались только на висках и на затылке; маленькая козлиная бородка и усы тоже были подернуты сединой. Когда-то это лицо было очень красиво – и большой умный лоб, и живые, темные, большие глаза, и правильный нос, и весь профиль. Теперь это лицо от великого пьянства и других причин было обложено густой сетью глубоких морщин, веки опухли, глаза смотрели воспаленным взглядом, губы блестели тем синеватым отливом, какой бывает только у записных пьяниц. Наконец, эти гримасы, причмокиванья и подмигиванья тоже говорили сами за себя.

Мое первоначальное решение выпроводить гостя без церемоний сменилось раздумьем: зачем гнать пьяного старика – поболтает и сам уйдет.

– Так вы, молодой человек, неужели никогда и ничего не слыхали про Порфира Порфирова Селезнева? – спрашивал старик, доставая берестяную тавлинку и делая самую аппетитную понюшку.

– Ничего не слыхал.

– Значит, и моего «Яблока раздора» не читали?

– Нет…

Старик вытащил из бокового кармана смятый лист уличной газетки и ткнул пальцем на фельетон, где действительно был напечатан рассказ «Яблоко раздора», подписанный П. Селезневым.

– Да-с, а теперь я напишу другой рассказ… – заговорил старик, пряча свой номер в карман. – Опишу молодого человека, который, сидя вот в такой конурке, думал о далекой родине, о своих надеждах и прочее и прочее. Молодому человеку частенько нечем платить за квартиру, и он по ночам пишет, пишет, пишет. Прекрасное средство, которым зараз достигаются две цели: прогоняется нужда и догоняется слава… Поэма в стихах? трагедия? роман?

Я сделал невольное движение, чтобы закрыть книгой роковую седьмую главу третьей части романа, но Порфир Порфирыч поймал мою руку и неожиданно поцеловал ее.

– Люблю, – шептал пьяный старик, не выпуская моей руки. – Ах, люблю… Именно хорош этот молодой стыд… эта невинность и девственность просыпающейся мысли. Голубчик, пьяница Селезнев все понимает… да! А только не забудьте, что канатчик-то все-таки повесился. И какая хитрая штука: тут бытие, вившее свою веревку несколько лет, и тут же небытие, повешенное на этой самой веревке. И притом какая деликатность: пусть теперь другие вьют эту проклятую веревку… хе-хе!

Порфир Порфирыч тяжело раскашлялся, схватившись за надсаженную простудой грудь, и даже выпустил из кулака деньги. Я подал ему стакан воды, и пьяница поблагодарил меня улыбнувшимися глазами. Меня начинала интересовать эта немного дикая сцена.

Собрав деньги с пола, старик разложил их на моем столе, пересчитал и с глубоким вздохом проговорил:

– Двадцать семь рубликов, двадцать семь соколиков… Это я за свое «Яблоко раздора» сцапал. Да… Хо-хо! Нам тоже пальца в рот не клади… Так вы не желаете взять ничего из сих динариев?

– Нет.

– Все равно пропью.

– Зачем пропивать?.. Вот у вас пальто холодное, а скоро наступит зима. Мало ли что можно приобрести на эти деньги?

– Вот вы говорите одно, а думаете другое: пропьет старый черт. Так? Ну, да не в этом дело-с… Все равно пропью, а потом зубы на полку. К вам же приду двугривенный на похмелье просить… хе-е!.. Дадите?

– Если у самого будут…

– О, юноша, юноша… Ну, да не в этом дело. Д-да… А слыхали вы, юноша, нечто о волчьем хлебе?

– Нет.

– Та-ак-с… А это вот какая история-с, юноша. Возьмите вы теперь волка, настоящего лесного волка, который по лесу бегает и этак зубами с голоду щелкает. Жалованья ему не полагается, определенных занятий не имеет, ну, одним словом, настоящий волк, которому на роду

написано голодать. И вдобавок волк-то еще состарился: шерсть у него вылиняла, глаз притупился, на ухо туг, нос заржавел, зубы съел, – ну, ему вдвойне приходится голодать супротив молодых волков. Не идти же ему к дантисту: вставьте, мол, новые зубы и при этом позвольте-с очки… Так? И вдруг этому облезлому, беззубому волчищу этакий кус попадает?.. Хам! Неужели он по частям будет добычу размеривать? Сразу голубчик слопает, а потом опять голодать. Так и в нашем деле… Теперь поняли?.. Ведь это надо на своей коже испытать. А кстати, вот что, пойдемте в одно место злачное?

– Куда?

– Да попросту в трактирное заведение… Чайку напьемся, машину послушаем, ибо душа требует простора, трубных звуков и сладкого забвения. Вы газеты почитаете, а я просияю божественной теплотой. Знаете, как сказано у Гафиза:[2] «Пустыня льву, лес птице и кабак Гафизу»… хе-хе!.. Там уж все наши в сборе. Ведь вы Гришука знаете? Нет? Ну, как вы, юноша, ничего не знаете. И Молодина не знаете? и полковника Фрея? Тэ-тэ… да ведь это такие праведники, без которых несть граду стояния… Одевайтесь и идемте. Все равно сегодня ничего писать не будете… Канатчик-то ведь повесился – вы и будете думать о нем. Вон и ножки болтаются.

На лекции идти было поздно, работа расклеилась, настроение было испорчено, и я согласился. Да и старик все равно не уйдет. Лучше пройтись, а там можно будет всегда бросить компанию. Пока я одевался, Порфир Порфирыч присел на мою кровать, заложил ногу на ногу и старчески дребезжавшим тенорком пропел:

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка![3]»

Мы вышли. Порфир Порфирыч в порыве восторга ущипнул подвернувшуюся Лизу и за нанесенное оскорбление подарил двугривенный.

– На, чухоночка, где тебе взять… – бормотал старик, шлепая своими калошами.

Лиза проводила нас улыбавшимися глазами и проговорила:

– У ней много денек… бокгатая!..

# III

На улице Порфир Порфирыч показался мне таким маленьким и жалким. Приподняв воротник своего пальто, он весь съежился, и я слышал, как у него начали стучать зубы.

– Мы автомедона возьмем… – решил он, изнемогая окончательно. – Эй, извозец, на Симеониевскую, четвертак!

Мы поехали.

– Вы не думайте, юноша, что я везу вас куда-нибудь, – объяснял Порфир Порфирыч, еще сильнее съеживаясь. – Самое избранное общество, и почти все с высшим образованием. Одним словом, газетные гоги и магоги… А меня ваша чухоночка подстроила: «она пишет… день пишет и ночь пишет». Э, думаю, нашего поля ягода… И потом жаль мне вас стало. Наверно, думаю, этакой романище закатил в пяти частях, а самому жрать нечего. Помереть ведь можно

над романищем-то. Вы в газетном борзописании не искушались? Э, батенька, сие не обогатит, а кусочек хлеба с маслом даст… Да вот я вас привезу прямо в академию, а там уж научат. Там собаку съели… Научат, как волчий хлеб добывать.

На Троицком мосту нас пронял довольно свежий ветер, и Порфир Порфирыч малодушно спрятался за меня.

– У меня личные неприятности с этим проклятым мостом, – объяснял он. – Сколько флюсов я износил из-за него… И всегда здесь проклятый ветер, точно в форточке. Изнемогаю в непосильной борьбе с враждебными стихиями…

Мы едва дотащились до Симеониевской улицы. Порфир Порфирыч вздохнул свободнее, когда мы очутились за гостеприимной дверью. Трактир из приличных, хотя и средней руки. Пившие чай купцы подозрительно посмотрели на пальто моего спутника и его калоши. Но он уделил им нуль внимания, потому что чувствовал себя здесь как дома.

– Агапычу сто лет… – здоровался он с буфетчиком, перекладывая деньги из правой руки в левую.

– Пожалуйте… – приглашал лакей, забегая перед Порфиром Порфировичем петушком. – Там уж компания-с…

Мы прошли общую залу и вошли в отдельную комнату, где у окна за столиком разместилась компания неизвестных людей, встретившая появление Порфира Порфирыча гулом одобрения, как театральный народ встречает короля.

– Отцы, позвольте презентовать прежде всего вам юношу, – бормотал Порфир Порфирыч, указывая на меня. – Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно… Не в этом дело-с. Василий Иванович Попов… Кажется, так?

– Да… – подтвердил я, здороваясь с новыми знакомыми.

Первое впечатление было не в пользу «академии». Ближе всех сидел шестифутовый хохол Гришук, студент лесного института, рядом с ним седой старик с военной выправкой – полковник Фрей, напротив него Молодин, юркий блондин с окладистой бородкой и пенсне. Четвертым оказался худенький господин с веснушчатым лицом и длинным носом.

– Тоже Попов, а попросту – Пепко, – сам отрекомендовался он, протягивая длинную сырую руку.

Мне почему-то показалось, что из всей «академии» только этот Пепко отнесся ко мне с какой-то скрытой враждебностью, и я почувствовал себя неловко. Бывают такие встречи, когда по первому впечатлению почему-то невзлюбишь человека. Как оказалось впоследствии, я не ошибся: Пепко возненавидел меня с первого раза, потому что по природе был ревнив и относился к каждому новому человеку крайне подозрительно. Мне лично он тоже не понравился, начиная с его длинного носа и кончая холодной сырой рукой.

Много прошло лет с этого момента, и из действующих лиц моего рассказа никого уже не осталось в живых, но я всех их вижу, как сейчас. Вот молчаливый Фрей с его английской коротенькой трубочкой. Лицо точно вырублено топором, серые глаза навыкате, опущенные книзу серые усы, серая тужурка; он не любил говорить и умел слушать. Кто он такой, как попал в газетное колесо, почему полковник и почему Фрей – я так и не узнал, хотя имел впоследствии с ним постоянно дело. Хохол Гришук был настоящий хохол – добродушный,

ленивый, лукавый по-хохлацки и очень слабый до горилки. Молодин скоро выбыл из компании, пристроившись секретарем к какому-то дамскому благотворительному комитету, собиравшему тряпки, старые коробки из-под сардин и всякую непутную дрянь. Его видали потом уже в шинели с настоящими бобрами, но он отвертывался, не узнавая членов «академии». Да, я смотрю через призму двадцати лет на сидевшую за столиком компанию и могу только удивляться человеческой непроницательности. В трактир на Симеониевской меня привело простое любопытство, и я не подозревал, что в моей жизни это был самый решительный шаг. Бывают такие роковые дни, когда жизнь поворачивает в новое русло, а человек этого не чувствует, поддаваясь течению. Так было и тут. Предо мной открывалась совершенно новая жизнь, новые люди, новые интересы, и я присел к общему столику с скромною мыслью посидеть немного и уйти.

То же самое могу сказать о людях. Если бы человек мог провидеть будущее хоть немного… Я сейчас смотрю на Пепку и вижу его совсем другим, чем он мне показался с первого раза. Мог ли я себе представить, что именно с этим человеком будет связана целая полоса моей жизни, больше – самое горячее, дорогое время, которое называется молодостью. Вспоминая прошлое, я обобщаю свою молодость именно с Пепкой и иначе не могу думать. Это был мой двойник, мое alter ego. Милый Пепко, молодость, где вы? У меня невольно сжимается сердце, и мысленно я опять проделываю тот тернистый путь, по которому мы шли рука об руку, переживаю те же молодые надежды, испытываю те же муки молодой совести, неудачи и злоключения… И мне хочется пожать эту холодную сырую руку, хочется слышать неровный крикливый голос Пепки, странный смех – он смеялся только нижней частью лица, а верхняя оставалась серьезной; хочется, наконец, видеть себя опять молодым, с единственным капиталом своих двадцати лет. Позвольте, это, кажется, получается маленькое отступление, а Пепко ненавидел лиризм, и я не буду оскорблять его памяти. В обиходе нашей жизни сентиментальности вообще не полагалось, хотя, говоря между нами, Пепко был самым сентиментальным человеком, какого я только встречал. Но я забегаю вперед.

Порфир Порфирыч торжественно подошел к столу и раскрыл свой несгораемый шкаф. Присутствующие отнеслись к скомканным ассигнациям довольно равнодушно, как люди, привыкшие обращаться с денежными знаками довольно фамильярно.

– Это твое «Яблоко раздора», Порфирыч? – сделал догадку один Гришук.

– Не в этом дело-с, – бормотал Селезнев, продолжая топтаться на месте. – Господа, разгладим чело и предадимся веселию. Ах, да, какой случай сегодня…

Пока «человек» «соображал» водку и закуску, Селезнев рассказал о повесившемся канатчике приблизительно в тех же выражениях, как говорил у меня в комнате.

– Ну, что же из этого? – сурово спросил Фрей, посасывая свою трубочку. – У каждого есть своя веревочка, а все дело только в хронологии…

Всех внимательнее отнесся к судьбе канатчика Пепко. Когда Селезнев кончил, он заметил:

– Что же, рассказец этот рублевиков на двенадцать можно будет вылепить… Главное, название хорошее: «Петля».

– Нет, брат, шалишь! – вступился Селезнев. – Это моя тема… У меня уже все обдумано и название другое: «Веревочка». У тебя скверная привычка, Пепко, воровать чужие темы… Это уже не в первый раз.

– А не болтай… – сказал Пепко. – Никто за язык не тянет. Наконец, можно и на одну тему

писать. Все дело в обработке сюжета, в деталях.

Когда была подана водка и закуска, Селезнев обратился ко мне:

– Ну, вот мы и дома… Выпьем, юноша.

– Я не пью.

Мой ответ, видимо, произвел неблагоприятное впечатление, а Пепко сделал какую-то гримасу, отвернулся и фыркнул. Я чувствовал, что начинаю краснеть. Зачем же тогда было идти в трактир, если не пить? Конечно, глупо. Чтобы поправиться, я взял рюмку и выпил, причем поперхнулся и закашлялся. Это уже вышло окончательно глупо, и Пепко имел право расхохотаться, что он и сделал. Мне даже показалось, что он обругал меня телятиной или чем-то в этом роде. Я почувствовал себя среди этих академиков мальчишкой и готов был выпить керосин из лампы, чтобы показаться большим.

– Ничего, ничего, юноша… – успокаивал меня Селезнев. – Всему свое время… А впрочем, не в этом дело-с!..

Поданная водка быстро оживила всю компанию, а Селезнев захмелел быстрее всех. В общей зале давно уже была «поставлена машина», и под звуки этой трактирной музыки старик блаженно улыбался, причмокивал, в такт раскачивал ногой и повторял:

– Да-с, у каждого есть своя веревочка… Верно-с!.. А канатчик-то все-таки повесился… Кончено… finita la commedia…[4] Хе-хе!.. Теперь, брат, шабаш… Не с кого взять. И жена, которая пилила беднягу с утра до ночи, и хозяин из мелочной лавочки, и хозяин дома – все с носом остались. Был канатчик, и нет канатчика, а Порфир Порфирыч напишет рассказ «Веревочка» и получит за оный мзду…

Чтобы поправить свою неловкость с первой рюмкой, я выпил залпом вторую и сразу почувствовал себя как-то необыкновенно легко и почувствовал, что люблю всю «академию» и что меня все любят. Главное, все такие хорошие… А машина продолжала играть, у меня начинала сладко кружиться голова, и я помню только полковника Фрея, который сидел с своей трубочкой на одном месте, точно бронзовый памятник.

– Он пишет роман… – рекомендовал меня Селезнев. – Да, черт возьми! Этакой священный огонь в некотором роде… Хе-хе!..

# IV

Дальнейшие события следовали в таком порядке, вернее сказать – в беспорядке. На другой день я проснулся в совершенно незнакомой мне комнате и долго не мог сообразить, где я и как я мог попасть сюда. Ответом послужила только нестерпимая головная боль… Но и эта боль ничто по сравнению с тем стыдом, который меня охватил. Боже мой, где я вчера был? как провел вечер? что делал, что говорил? В голове проносились обрывки чего-то ужасного, безобразного, нелепого… Мне начинало казаться, что весь вчерашний день являлся одним сплошным безобразием. Нечего сказать, хорош будущий романист… Для начала даже совсем недурно.

Немало меня смущало и то обстоятельство, что в комнате я был один. Я лежал на какой-то твердой, как камень, клеенчатой кушетке, а рядом у стены стояла кровать. По смятой подушке и обитому одеялу я мог сделать предположение, что на ней кто-то спал и вышел, а

следовательно, должен вернуться. Кстати у меня мелькнул обрывок вчерашних воспоминаний. Мы вышли из трактира вместе с Пепкой, вышли под руку, как и следует друзьям. Потом Пепко остановился на углу улицы, взял меня за пуговицу и сообщил мне трагическим шепотом:

– Знаете, Попов, я – великая свинья…

Он, очевидно, рассчитывал на эффект этого открытия, а так как такового не получилось, то неожиданно прибавил:

– И все подлецы…

Последняя гипотеза была очень невыгодна для меня, но я почему-то счел неудобным оспаривать ее, кажется, даже подтвердил ее, мысленно выделив только самого себя. Да, да, именно так все было, и я отлично помнил, как Пепко держал меня за пуговицу.

На основании этого маленького эпизода я имел некоторое право догадываться, что нахожусь в квартире Пепки. Комната была большая, но какого-то необыкновенно унылого вида, вероятно благодаря абсолютной пустоте, за исключением моей кушетки, кровати, ломберного стола, одного стула и этажерки с книгами. Единственное окно упиралось куда-то в стену. По разложенным на столе литографированным запискам я имел основание заключить, что хозяин – студент, и это значительно меня успокоило. Впрочем, скоро послышался довольно крупный разговор, который окончательно вернул меня к действительности.

– Когда же вы мне деньги-то за квартиру отдадите, Попов? – слышался сердитый женский голос.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, как только получу, так и отдам, – уверял мужской голос, старавшийся быть любезным. – Как только получу…

– Я уж это давно слышу. Пьянствовать вы можете, а денег за квартиру нет. Вчера вы в каком виде пришли, да еще какого-то пьяницу с собой привели…

Это, очевидно, относилось по моему адресу. Скверная баба, очевидно, не имела привычки церемониться с своими жильцами.

– Любезнейшая Федосья Ниловна, вы говорите совершенно напрасные женские слова, потому что находитесь не в курсе дела. Да, мы выпили, это верно, но это еще не значит, что у нас были свои деньги…

– Что же, вас даром поили?..

– Не даром, но предположите, что деньги могли быть у третьего лица, совершенно непричастного к настоящему вопросу о квартирной плате. Конечно, нравственная сторона всего дела этим не устраняется: мы были несколько навеселе, это верно. Но мир так прекрасен, Федосья Ниловна, а человек так слаб…

– Пожалуйста, не заговаривайте зубов… О, я вас отлично знаю!..

Где-то послышался сдержанный смех, затем дверь отворилась, и я увидел длинный коридор, в дальнем конце которого стояла средних лет некрасивая женщина, а в ближнем от меня Пепко. В коридор выходило несколько дверей из других комнат, и в каждой торчало по любопытной голове – очевидно, глупый смех принадлежал именно этим головам. Мне лично не понравилась эта сцена, как и все поведение Пепки, разыгрывавшего шута. Последнее сказывалось главным

образом в тоне его голоса.

Он вошел в комнату с сердитым лицом, припер за собой дверь, огляделся и поставил на стол полбутылки водки, две бутылки пива и достал из кармана что-то очень подозрительное, завернутое в довольно грязную бумажку.

– А на закуску-то и не хватило… – резюмировал Пепко тайный ход своих мыслей.

Он еще раз оглядел всю комнату, сердито сплюнул и швырнул свою длиннополую шляпу куда-то на этажерку. Мне показалось, что сегодняшний Пепко был совсем другим человеком, не походившим на вчерашнего.

– Главизна зело трещит? – обратился он ко мне, глядя куда-то в угол. – Нечего сказать, хороши мы были вчера… Одним словом, свинство!.. Нужно корректировать подлую природу…

Он еще раз оглядел всю комнату, еще раз посмотрел на дверь и еще раз плюнул.

– Проклятая баба… – ворчал Пепко, подходя к письменному столу и вынимая из письменного прибора вторую, чистую чернильницу. – Вот из чего придется пить водку. Да… А что касается пива… Позвольте…

Пепко с решительным видом отправился в коридор, и я имел удовольствие слышать, как он потребовал стакан отварной воды для полоскания горла. Очевидно, все дело было в том, чтобы добыть этот стакан, не возбуждая подозрений.

Когда я наотрез отказался опохмелиться, Пепко несколько времени смотрел на меня с недоверчивым изумлением.

– Вообще ничего не пью… – виновато оправдывался я. – Вчерашний случай вышел как-то сам собой, и я даже хорошенько не помню всех обстоятельств.

– И отлично! – согласился Пепко. – Кстати, вы, кажется, и не курите?

– Нет, не курю…

Пепко быстро окинул меня испытующим взором, а потом подошел и молча пожал руку.

– Я могу только позавидовать, – бормотал он, наливая водку в чернильницу. – Да, я глубоко испорченный человек… За ваше здоровье и за наше случайное знакомство. Виноват старый черт Порфирыч…

Две выпитых чернильницы сразу изменили настроение духа Пепки. Он как-то размяк и осовел. Явилась неудачная попытка спеть куплет из «Прекрасной Елены»:

… Но ведь бывают столкновенья,
Когда мы нехотя грешим.

Мне нравилась в Пепке та решительность, которой недоставало мне. Он умел делать с решительным видом самые обыкновенные вещи. И как-то особенно вкусно делал… Например, как он развернул бумажку с подозрительным содержимым, которое оказалось обыкновенным рубцом.

– А знаете, Федосья прекрасная женщина, – говорил он, прожевывая свою жесткую закуску. – Я ее очень люблю… Эх, кабы горчицы, немножко горчицы! Полцарства за горчицу… Тридцать

пять с половиной самых лучших египетских фараонов за одну баночку горчицы! Вы знаете, что комнаты, в которых мы сейчас имеем честь разговаривать, называются «Федосьиными покровами». Здесь прошел целый ряд поколений, вернее сказать – здесь голодали поколения… Но это вздор, потому что и голод понятие относительное. Вы не хотите рубца?..

Я великодушно отказался. По лицу Пепки я заметил, что он заподозрил во мне барина и сбавил мне цену. Размягченный водкой, он подсел ко мне на кушетку и заговорил о литературе. Это был опять новый человек. Пепко, видимо, упорно следил за литературой и говорил тоном знатока. Излишняя самоуверенность скрашивалась здесь его молодостью. Мы неожиданно разговорились, как умеют говорить в двадцать лет. Я, несмотря на свой сдержанный характер, как-то невзначай разговорился и поверил Пепке свои самые задушевные планы. Дело в том, что мной была задумана целая серия романов, на манер «Ругонов» Золя. Пепко выслушал внимательно и отрицательно покачал головой.

– Вздор! – убежденно проговорил он, встряхивая головой. – Предприятие почтенное по замыслу, но, как простое подражание, оно не имеет смысла. Ведь Россия, голубчик, не Франция… Там в самом воздухе висит культура. А нам, то есть каждому начинающему автору, приходится проходить всю теорию словесности собственным горбом, начиная с поучения какого-нибудь Луки Жидяты.[5] Да… До сих пор мы, русские, изобретаем еще часы, швейные машины и прочее, что давно известно. То же самое и в литературе. Прибавьте к этому наше полное незнание жизни и, главное, отсутствие этой жизни. Ну, где она? Всю жизнь мы просиживаем по своим норам и по норам помираем. Где-то там, далеко, люди живут, а мы только облизываемся или носим платье с чужого плеча. Неприятно, а правда… Если вы хотите узнать несколько жизнь, есть прекрасный случай. Вчера даже был разговор об этом.

– Припоминаю… Быть репортером?

– Да… Досыта эта профессия не накормит, ну, и с голоду окончательно не подохнете. Ужо я переговорю с Фреем, и он вас устроит. Это «великий ловец перед Господом»… А кстати, переезжайте ко мне в комнату. Отлично бы устроились… Дело в том, что единолично плачу за свою персону восемь рублей, а вдвоем мы могли бы платить, ну, десять рублей, значит, на каждого пришлось бы по пяти. Подумайте… Я серьезно говорю. Я ведь тоже болтаюсь с газетчиками, хотя и живу не этим… Так, между прочим…

Это предложение застало меня совершенно врасплох, так что я решительно не мог ответить ни да, ни нет. Пепко, видимо, огорчился и точно в свое оправдание прибавил:

– А какие у меня соседи: рядом черкес, потом студент-медик, потом горняк… Все отличные ребята.

В этом предложении Пепки для меня заключалось начало моей собственной литературной веревочки.

## V

Предложение Пепки переехать к нему в комнату вызвало во мне какое-то смутное чувство нерешимости. С одной стороны, моя комната «очертела» мне до невозможности, как пункт какого-то предварительного заключения, и поэтому, естественно, меня тянуло разделить свое одиночество с другим, подобным мне существом, – это инстинктивное тяготение к дружбе и общению – лучшая характеристика юности; а с другой, – я так же инстинктивно боялся потерять пока свое единственное право – сидеть одному в четырех стенах. Я уже сказал, что мой характер отличался некоторою скрытностью и я почти не имел друзей, а затем у меня

была какая-то непонятная костность, почти боязнь переменить место. Являлся почти мистический страх: а если там будет хуже? Эта черта осталась на всю жизнь и принесла мне немало вреда. В данном случае решающим обстоятельством являлся все тот же повесившийся канатчик. Стоило мне подойти к окну и взглянуть на огород с капустой, как сейчас же являлась мысль о канатчике, и я не мог от нее отвязаться. Мне начинало казаться, что тень несчастного канатчика бродит по огороду и все-таки вьет свои веревки, хотя это и происходило главным образом в сумерки. Одним словом, что-то было нарушено в общем настроении, и меня неотступно преследовала эта совершенно вздорная мысль, относительно которой я не решился бы признаться самому близкому человеку.

А там, у Пепки, меня ждало общество и, главное, новые интересы. У меня не выходило из головы высказанное Пепкой предложение заняться репортерством, хотя я относительно этой специальности имел самые смутные представления. Взвешивая за и против все эти обстоятельства, я, наконец, решился оставить свою одинокую комнату. Хозяева отнеслись к моему решению совершенно индиферентно, как настоящие петербургские хозяева, которым все равно, кому бы ни сдавать лишнюю комнату. Кажется, искренне пожалела меня одна чухонка Лиза, которая крала мой сахар и чай самым добросовестным образом.

– Порфир Порфирыч екал? – догадывалась она, помогая мне вытащить мой тощий чемодан.

– Нет, к товарищу…

– Пьяница? – еще раз сделала она попытку угадать.

– Вы говорите глупости, Лиза…

Я чувствовал, что начинаю краснеть, и еще больше обозлился на проницательную чухонскую девицу. Нечего сказать, недурное напутствие…

Дальше опять следовала неприятность, именно, что Федосья встретила меня почти враждебно. И сам деревянный флигель, нижний этаж которого был занят «Федосьиными покровами», тоже, казалось, не особенно дружелюбно, смотрел на нового жильца своими слезившимися окнами… Вообще хорошего было мало, и я уже раскаивался, когда мой чемодан очутился в комнате Пепки. Ведь этим простым актом, как переезд на новую квартиру, я навсегда терял свою голодную свободу… Кто знает, что было бы, если бы я остался на старой квартире, и делается обидно, из каких ничтожных мелочей складывается то неизвестное, которое называется жизнью.

Пепко был дома и, как мне показалось, тоже был не особенно рад новому сожителю. Вернее сказать, он отнесся ко мне равнодушно, потому что был занят чтением письма. Я уже сказал, что он умел делать все с какой-то особенной солидностью и поэтому, прочитав письмо, самым подробным образом осмотрел конверт, почтовый штемпель, марку, сургучную печать, – конверт был домашней работы и поэтому запечатан, что дало мне полное основание предположить о его далеком провинциальном происхождении.

– Это прямо к тебе относится, – проговорил Пепко, развертывая аккуратно сложенное письмо, – он перешел на «ты» без всяких предисловий. – Вот, слушай… Это пишет моя добрая мать… «А больше всего, Агафоша, остерегайся дурных товарищей…» Понимаешь, не в бровь, а прямо тебе в глаз. Дальше: «… в столицах очень много блеска, но еще больше дурных примеров и дурных людей, которые совращают неопытных юношей с истинного пути». Неопытный юноша – это я… Какая милая наивность! Моя добрая мать не подумала только одного, что у каждого, даже столичного подлеца должна быть тоже одна добрая мать, которая думает то же самое,

что и одна моя добрая мать. Признайся, ты, вероятно, получаешь точно такие же письма с мудрыми предостережениями относительно дурных товарищей?

Мне ничего не оставалось, как признаться, хотя мне писала не «одна добрая мать», а «один добрый отец». У меня лежало только что вчера полученное письмо, в таком же конверте и с такой же печатью, хотя оно пришло из противоположного конца России. И Пепко и я были далекими провинциалами.

Наш первый совместный день сложился под впечатлением этого письма «одной доброй матери» Пепки.

Пообедали мы дома разным «сухоястием», вроде рубца, дрянной колбасы и соленых огурцов. После такого меню необходимо было добыть самовар. Так как я имел неосторожность отдать Федосье деньги за целый месяц вперед, то Пепко принял с ней совершенно другой тон.

– Федосья Ниловна, не пожелаете ли вы водрузить нам самовар? – говорил он совсем другим тоном, точно сам заплатил за квартиру. – И, пожалуйста, поскорее.

Федосья как-то смешно фыркнула себе под нос и молча перенесла нанесенное ей оскорбление. Видимо, они были люди свои и отлично понимали друг друга с полуслова. Я, с своей стороны, отметил в поведении Пепки некоторую дозу нахальства, что мне очень не понравилось. Впрочем, Федосья не осталась в долгу: она так долго ставила свой самовар, что лопнуло бы самое благочестивое терпение. Пепко принимался ругаться раза три.

– Если бы у меня были часы, – повторял он с особою убедительностью, – я показал бы ей, что нельзя ставить самовар целый час. Вот проклятая баба навязалась… Сколько она испортила крови моего сердца и сока моих нервов! Недаром сказано, что Господь создал женщину в минуту гнева… А Федосья – позор натуры и ужас всей природы.

Я заметил, что Пепко под влиянием аффекта мог достигнуть высоких красот истинного красноречия, и впечатление нарушалось только несколько однообразной жестикуляцией, – в распоряжении Пепки был всего один жест: он как-то смешно совал левую руку вперед, как это делают прасолы, когда щупают воз с сеном. Впрочем, священное негодование Пепки сейчас же упало, как только появился на столе кипевший самовар. Может быть, его добродушное старческое ворчанье напоминало Пепке его «одну добрую мать», а может быть, просто истощился запас энергии.

Помню, что спускался уже темный осенний вечер, и Пепко зажег грошовую лампочку под бумажным зеленым абажуром. Наш флигелек стоял на самом берегу Невы, недалеко от Самсониевского моста, и теперь, когда несколько затих дневной шум, с особенной отчетливостью раздавались наводившие тоску свистки финляндских пароходиков, сновавших по Неве в темные ночи, как светляки. На меня эти свистки произвели особенно тяжелое впечатление, как дикие вскрики всполошившейся ночной птицы.

– Как это странно, – говорил Пепко, выпив залпом три стакана, – как странно, что вот мы с тобой сидим и пьем чай…

– Что же тут странного?

– Даже очень странно, как вообще все в жизни. Нужно тебе сказать, что я постоянно удивляюсь тому, что делается кругом меня. Сделаем простое предположение: не будь «медного всадника» на Сенатской площади, и мы никогда бы не встретились. Мало того, не было бы и Петербурга, а лежало бы себе ржавое чухонское болото и «угрюмый пасынок природы»[6]

колотил бы свой дырявый челн… А теперь вот мы имеем удовольствие наслаждаться свистками этих подлых финляндских пароходишек. Лично мне затея Петра основать Петербург обошлась уже ровно в сорок рублей с копейками… да. Считай: пять концов по Николаевской железной дороге… Да, так меня удивляет вот то, что мы сидим и пьем чай: я – уроженец далекого северо-востока, а ты – южанин. Есть даже нечто трогательное в этом сближении, и, выражаясь высоким слогом, можно определить настоящий момент следующей формулой: в недрах «Федосьиных покровов», у кипящего самовара, далекий северо-восток подал руку далекому югу…

Очевидно, у Пепки была слабость к цитатам, чужим выражениям и высокому слогу, в чем я впоследствии мог убедиться уже окончательно. Выражаясь проще, кипевший самовар просто напоминал нам наши далекие гнезда, где, вероятно, тоже теперь пили чай и, быть может, тоже вспоминали отлетевших птенцов.

– А знаешь, что привело нас сюда? – неожиданно обратился ко мне Пепко, делая свой единственный жест. – Ты скажешь: любовь к знанию… жажда образования… Хе-хе!.. Все это слова, хорошие слова, и все-таки слова… Сущность дела гораздо проще: образование образованием, а хорошо и свой кусочек пирога получить. Вот молодой провинциал и едет в Питер… Это настоящая осада, и каждый несет сюда самое лучшее, что только у него есть. Добродушная провинция сваливает сюда свое сырье, а получает обратно уже готовый фабрикат… Мена, во всяком случае, выгодная только фабриканту. Знаешь, у меня есть страсть весной бродить по кладбищам… Вот поучительная картина: сколько тут уложено нашего брата провинциала, который тащится в Петербург с добрыми намерениями вместо багажа. Тут и голод, и холод, и пьянство с голода и холода, и бесконечный ряд неудач, и неудовлетворенная жажда жить по-человечески, – все это доводит до преждевременного конца. А сколько по этим кладбищам гниет не успевших даже проявить себя талантов, сильных людей, может быть, гениев, – смотришь на эти могилы и чувствуешь, что сам идешь по дороге вот этих неудачников-мертвецов, проделываешь те же ошибки, повинуясь простому физическому закону центростремительной силы. И на смену этих мертвецов являются новые батальоны, то есть мы, а на нашу смену готовятся в неведомой провинциальной глуши новые Пети и Коли. Страшно даже подумать, какая масса силы растрачивается совершенно непроизводительно и с каким замечательным самопожертвованием провинция отдает столицам свою лучшую плоть и кровь. Но вместе с тем я не желаю обманывать себя и называю вещи своими именами: я явился сюда с скромной целью протискаться вперед и занять место за столом господ. Одним словом, я хочу жить, а не прозябать…

– Как мне кажется, ты немножко противоречишь себе… Я не думаю, чтобы тебя привела сюда только одна жажда карьеры.

– Э, голубчик, оставим это! Человек, который в течение двух лет получил петербургский катарр желудка и должен питаться рубцами, такой человек имеет право на одно право – быть откровенным с самим собой. Ведь я средний человек, та безразличность, из которой ткется ткань жизни, и поэтому рассуждаю, как нитка в материи…

В этой реплике выступала еще новая черта в характере Пепки, – именно – его склонность к саморазъедающему анализу, самобичеванию и вообще к всенародному покаянию. Ему вообще хотелось почему-то показаться хуже, чем он был на самом деле, что я понял только впоследствии.

Свой первый вечер мы скоротали как-то незаметно, поддавшись чисто семейным воспоминаниям. В «Федосьиных покровах» раздалась сердечная нота и пахнуло теплом далекой милой провинции. Каждый думал и говорил о своем.

– Моя генеалогия довольно несложная, – объяснял Пепко с иронической ноткой в голосе. – Мои предки принадлежали к завоевателям и обрусителям, говоря проще – просто душили несчастных инородцев… Вообще наша сибирская генеалогия отличается большой скромностью и кончается дедушкой, которого гнали и истребляли, или дедушкой, который сам гнал и истреблял. В том и другом случае молчание является лучшей добродетелью. И у тебя не лучше… Э, да что тут говорить!.. Мы-то видим только ближайших предков, одного доброго папашу и одну добрую мамашу, которые уже сняли с себя кору ветхого человека.

Из этих рассуждений Пепки для меня ясно выступало только одно, именно – сам Пепко с его оригинальной, немного угловатой психологией, как те камни, которые высились на его далекой родине. Каждая мысль Пепки точно обрастала одним из тех чужеядных, бородатых лишайников, какими в тайге глушились родные ели. А из-под этого хлама выяснялась простая, любящая русская душа, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Уже лежа в постели, Пепко еще раз перечитал письмо матери и еще раз комментировал его по-своему. В выражении его лица и в самом тоне голоса было столько скрытой теплоты, столько ласки и здорового хорошего чувства.

– Ах, какая забавная эта одна добрая мать, – повторял Пепко, натягивая на себя одеяло. – Она все еще видит во мне ребенка… Хорош ребеночек!.. Кстати, вот что, любезный друг Василий Иваныч: с завтрашнего дня я устраиваю революцию – пьянство прочь, шатанье всякое прочь, вообще беспорядочность. У меня уже составлена такая таблица, некоторый проспект жизни: встаем в семь часов утра, до восьми умыванье, чай и краткая беседа, затем до двух часов лекции, вообще занятия, затем обед…

На последнем слове Пепко запнулся: в проспекте его жизни появлялась неожиданная прореха.

– А, черт, утро вечера мудренее! – ворчал он, закутываясь в одеяло с головой.

Через пять минут Пепко уже храпел, как зарезанный. А я долго не мог уснуть, что случалось со мной на каждом новом месте. В голову лезли какие-то обрывки мыслей, полузабытые воспоминания, анализы сегодняшних разговоров… А невские пароходы, как назло, свистели точно под самым ухом. Где-то хлопали невидимые двери, слышались шаги, говор, хохот – жизнь в «Федосьиных покровах» затихала очень поздно. Я пожалел свое покинутое одиночество еще раз и чувствовал в то же время, что возврата нет, а оставалось одно – идти вперед.

Мне вообще сделалось грустно, а в такие минуты молодая мысль сама собой уносится к далекому родному гнезду. Да, я видел далекие степи, тихие воды, ясные зори, и душа начинала ныть под наплывом какого-то неясного противоречия. Стоило ли ехать сюда, на туманный чухонский север, и не лучше ли было бы оставаться там, откуда прилетают эти письма в самодельных конвертах с сургучными печатями, сохраняя еще в себе как бы теплоту любящей руки?.. Меня начинал пугать преждевременный скептицизм Пепки… Засыпая, я составлял проспект собственной жизни и давал себе слово не отступать от него ни на одну иоту. Странно, что эта добросовестная работа нарушалась постоянно письмом «одной доброй матери» Пепки, точно протягивалась какая-то рука и вынимала из проспекта самые лучшие параграфы…

# VI

Составленный мной, совместно с Пепкой, «проспект жизни» подвергался большим испытаниям и требовал постоянных «коррективов», – Пепко любил мудреные слова, относя их к высокому стилю. Зависело это отчасти от несовершенства человеческой природы вообще, а с другой стороны – от общего строя жизни «Федосьиных покровов».

Вставали мы утром в назначенный час и проделывали все необходимое в установленный срок, а затем уходили на лекции. Это было лучшее наше время. Затем наступал обед… Мой бюджет составляли те шестнадцать рублей, которые я получал от отца аккуратно первого числа. Из них пять рублей шли на квартиру, шесть в кухмистерскую, а остаток на все остальное. Не скажу, что при таком скромном бюджете я особенно бедствовал. Напротив, рядом с Пепкой я чувствовал себя бессовестным богачом: бедняга ниоткуда и ничего не получал, кроме писем «одной доброй матери». Он голодал по целым неделям, молча и гордо, как настоящий спартанец. Я несколько раз предлагал ему свою посильную помощь, но получал в ответ холодное презрение.

– Вздор… пустяки… – бормотал Пепко и только в крайнем случае позволял позаимствовать гривенник, причем никогда не говорил: «гривенник», а непременно – «десять крейцеров».

В моменты случайной роскоши он вел счет на франки, и по этой терминологии можно было уже судить о состоянии его финансов.

Забота о насущном хлебе в самых скромных размерах являлась для Пепки проклятым вопросом, разрешение которого разбивало вдребезги лучшие параграфы нашего «проспекта жизни». Пепко устраивал всевозможные комбинации, чтобы раздобыть какой-нибудь несчастный рубль, и в большинстве случаев самые трогательные усилия в результате давали круглый нуль.

– Нет, в каком обществе я вращаюсь? – взывал обозленный Пепко, обращаясь к неумолимому року. – Мои добрые знакомые не имеют даже свободного рубля… Говоря между нами, это порядочные идиоты, потому что каждый нормальный человек обязательно должен иметь свободный рубль. Но это частность, а вообще судьба могла бы быть несколько повежливее… Наконец, и моему терпению есть предел, черт возьми!.. Иду давеча мимо Федосьиной комнаты, а она что-то чавкает… Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи святого Антония? Удивляюсь…

«Федосьины покровы» состояли из пяти комнат и маленькой кухни. Последнюю Федосья занимала сама, а комнаты сдавала жильцам. Самую большую занимали мы с Пепкой, рядом с нами жил «черкес» Горгедзе, студент медицинской академии, дальше другой студент-медик Соловьев, еще дальше студент-горняк Анфалов, и самую последнюю комнату занимала курсистка-медичка Анна Петровна. Общественное и материальное положение всех жильцов было приблизительно одинаково, за исключением студента Соловьева, который существовал игрой на бильярде. Он каждый вечер уходил к Доминику, где пользовался широкой популярностью и выигрывал порядочные «мазы». В общежитии это был очень скромный молодой человек, по целым дням корпевший над своими лекциями. Больше других голодал, повидимому, черкес Горгедзе, красавец мужчина, на которого было жаль смотреть – лицо зеленело, под глазами образовались темные круги, в глазах являлся злой огонек. Кажется, черкес отличался большим скептицизмом и даже не старался изыскать средств к пропитанию, как делал Пепко, а только по целым часам ходил по комнате, как маятник.

– Черкес голоден, – говорил Пепко, прислушиваясь к этому голодному шаганью. – Этакий лев, и вдруг ни манже, ни буар… Ведь такой зверь съест зараз целого барана, не то что медичка Анна Петровна: поклевала крошечек и сыта.

Курсистка была на особом положении и пользовалась общим вниманием. Федосья считала своей священной обязанностью следить за каждым ее шагом и относилась к ней с совершенно непонятной, какой-то затаенной злобой, как к сопернице по принадлежавшей ей, Федосье, «женской части» по преимуществу. Если Анна Петровна приходила часом позже, Федосья

сейчас же сообщала нам об этом преступлении, улыбаясь самым ехидным образом. Ее томила мысль о том мужчине, который должен был быть у курсистки, – иначе Федосья не могла представить себе эту новую опасную часть. Но самые тщательные исследования не могли открыть ни малейшего признака мифического мужчины, и Федосья приходила к логическому заключению, что все курсистки ужасно хитрые. Сама по себе Анна Петровна представляла собой серенькую, скромную девушку лет двадцати, – у нее были и волосы серые, и глаза, и цвет лица, и платье. Жила она монашенкой и по целым дням сидела в своей комнате, как мышь в норе, – ни одного звука. Пепко относился к ней с галантностью настоящего джентльмена и несколько раз предлагал свои маленькие услуги, какие должен оказывать истинный джентльмен каждой женщине. Эти скромные попытки встречали вежливый, но настойчивый отказ, так что Пепке оставалось только пожимать плечами, и он называл упрямую курсистку «женским вопросом», что, по его соображениям, выходило очень смешным и до известной степени обидным. Анна Петровна не желала ничего замечать и скромно отсиживалась в своей комнате, как настоящая схимница.

– Ей хорошо, – злобствовал Пепко, – водки она не пьет, пива тоже… Этак и я прожил бы отлично. Да… Наконец, женский организм гораздо скромнее относительно питания. И это дьявольское терпение: сидит по целым неделям, как кикимора. Никаких общественных чувств, а еще Аристотель сказал, что человек – общественное животное. Одним словом, женский вопрос… Кстати, почему нет мужского вопроса? Если равноправность, так должен быть и мужской вопрос…

Мой переезд в «Федосьины покровы» совпал с самым трудным временем для Пепки. У него что-то вышло с членами «академии», и поэтому он голодал сугубо. В чем было дело – я не расспрашивал, считая такое любопытство неуместным. Вопрос о моем репортерстве потерялся в каком-то тумане. По вечерам Пепко что-то такое строчил, а потом приносил обратно свои рукописания и с ожесточением рвал их в мелкие клочья. Вообще, видимо, ему не везло, и он мучился вдвойне, потому что считал меня под своим протекторатом.

Да, наступили трудные дни…

Помню темный сентябрьский вечер. По программе мы должны были заниматься литературой. Я писал роман, Пепко тоже что-то строчил за своим столом. Он уже целых два дня ничего не ел, кроме чая с пеклеванным хлебом, и впал в мертвозлобное настроение. Мои средства тоже истощились, так что не оставалось даже десяти крейцеров. В комнате было тихо, и можно было слышать, как скрипели наши перья.

– А, черт… – ворчал Пепко, время от времени делая передышку.

Я боялся, что он попросит у меня несуществующие десять крейцеров, и молчал. Наконец, мучения Пепки перешли всякие границы, и он проговорил мрачным голосом:

– Есть десять крейцеров?

– Увы, нет…

Пепко заскрипел зубами от молчаливого отчаяния.

Какая это ужасная вещь – голод, особенно в молодые годы, когда организм так настойчиво предъявляет свои права на питание. Средним числом мне пришлось прожить впроголодь около десяти лет, и я отлично понимаю, что значит вечно недоедать. Теперь мне кажется странным, почему нам тогда не пришла самая простая мысль, именно – готовить обед самим… Стоило купить какой-нибудь крупы и заварить великолепную кашу. Питание сухоястием было втрое

дороже и не достигало цели. Даже рубец в нашем меню является большой роскошью… Удивительнее всего то, что студенты-медики на голодный желудок изучали свою гигиену, которая так любезно предлагает самые рациональные методы питания, а относительно самой обыкновенной русской каши глухо молчит. Впрочем, мы, как мужчины, могли и не догадаться, а вот почему тут же рядом молчаливо голодали наши медички, тогда как по своей женской части могли обсудить вопросы питания более практическим способом.

Итак, Пепко заскрипел с голода зубами. Он глотал слюну, челюсти Пепки сводила голодная позевота. И все-таки десяти крейцеров не было… Чтобы утишить несколько муки голода, Пепко улегся на кровать и долго лежал с закрытыми глазами. Наконец, его осенила какая-то счастливая идея. Пепко быстро вскочил, нахлобучил свою шляпу, надел пальто и бомбой вылетел из комнаты. Минут через десять он вернулся веселый и счастливый.

– Эврика! – проговорил он, добывая из кармана полфунта ржаного хлеба и полфунта дешевой лавочной колбасы. – Я перехитрил fortunam adversam…[7] Предадимся чревоугодию…

Пепко съел все с жадностью наголодавшегося волка, облегченно вздохнул и даже расстегнул свой пиджак, причем я убедился в отсутствии жилета.

– Проклятый закладчик дал всего десять крейцеров… – конфузливо проговорил Пепко на мой немой вопрос. – Ну, да это все равно: не в деньгах счастье.

Насытившись, Пепко сейчас же впал в самое радужное настроение. В такие минуты он обыкновенно доставал из своей библиотеки какой-нибудь женский роман и начинал его читать, иронически подчеркивая все особенности женского творчества. Нужно оказать ему справедливость, Пепко читал мастерски, а сегодня в особенности. Я хохотал до слез, поддаваясь его веселому настроению.

– «Он был среднего роста, с тонкой талией, обличавшей серьезную силу и ловкость»… Есть!.. «Но в усталых глазах (почему в усталых?) преждевременно светился недобрый огонек…» Невредно сказано: огонек! «Меланхолическое выражение этих глаз сменялось неопределенно-жесткой улыбкой, эти удивительные глаза улыбались, когда все лицо оставалось спокойным». Вот учись, как пишут…

Мы очень весело провели наш вечерний чай, позанимались еще часа два и, по программе, в девять часов улеглись спать.

– Я чувствую себя в положении боа-констриктора,[8] который только что сожрал целого теленка, – объяснял Пепко, кутаясь в заношенном байковом одеяле. – Да… И вот страдания двадцать первого сентября закончились.

Пепко жестоко ошибся: страданиям не суждено было закончиться.

Мы только что потушили свои лампы и приготовились заснуть, как было назначено в нашей программе, но именно в этот критический момент в коридоре послышались легкие женские шаги, а затем осторожный стук в двери черкеса. «Войдите», – отвечал грубоватый мужской голос, а затем прибавил уже вполголоса совсем другим тоном: «Ах, это вы»… Дальше послышался сдержанный шепот и что-то вроде поцелуя…

– А, черт… – обругался Пепко в пространство, тяжело ворочаясь на своей кровати.

Благодаря тонкой дощатой стенке, отделявшей нашу комнату от комнаты черкеса, мы сделались настоящими мучениками. Стоявшая мертвая тишина чутко подхватывала малейший

шорох, точно наша комната превратилась в громадный резонатор. А шепот продолжался, и ему аккомпанировал смущенно-счастливый смех… Я напрасно прятал голову в подушку, напрасно Пепко прятался с головой под одеяло, – мы были беззащитны. Если бы в соседней комнате кричали и хохотали во все горло, было бы лучше, чем этот раздражавший полушепот, тихий смех и паузы.

– А, черт… – еще раз обругался Пепко, зажигая лампу. – Нет, это невозможно! Эти проклятые восточные человеки думают только о себе…

Обозленный Пепко надел сапоги и в виде демонстрации зашагал по комнате, стуча каблуками. Но и это не помогло… Остановившись и прислушавшись, Пепко поднял высоко плечи и заявил:

– Ведь то же самое было и третьего и четвертого дня, когда ты уходил из дому… Но тогда приходили другие – я в этом убежден. По голосу слышу… О, проклятый черкес!.. Ты только представь себе, что вместо нас в этой комнате жила бы Анна Петровна?..

Пепко принял позу «последнего римлянина» к трагически воздел руки горе. Кстати, в этой позе Пепко видел все свои права на блестящее будущее и гордился ей.

# VII

Первые печатные строки… Сколько в этом прозаическом деле скрытой молодой поэзии, какое пробуждение самостоятельной деятельности, какое окрыляющее сознание своей силы! Об этом много было писано, как о самом поэтическом моменте, и эти первые поцелуи остаются навсегда в памяти, как полуистлевшие от времени любовные письма.

– Сегодня ты отправляешься в Энтомологическое общество от «Нашей газеты», – сурово заявил мне Пепко в одно совсем непрекрасное «после-обеда».

– Что же я там буду делать? – откровенно недоумевал я.

– Будешь сидеть в заседании, запишешь доклад и прения, а завтра к утру составишь отчет… Самое простое дело.

– Но ведь я по части энтомологии ни бельмеса не смыслю… Что-то такое о жучках, бабочках, козявках…

– Именно, наука о козявках, мушках и таракашках, а в сущности – вздор и ерунда. Еще лучше, что ты ничего не смыслишь: будет свежее впечатление… А публике нужно только с пылу, горячего.

– Однако что же я буду писать, если незнаком даже с научной терминологией?

– Э, вздор… А впрочем, мне некогда.

Обстоятельства Пепки круто изменились к лучшему, и поэтому он относился свысока и ко мне и к Федосье. Он где-то напечатал свою «Петлю» и, кроме того, какие-то стишки, – последнее для меня было неожиданным открытием. Я не подозревал, что в Пепке самым скромным образом скрывался поэт… У меня даже явилось чувство зависти, когда Пепко принес номер уличного листка и показал мне свое произведение. Есть какое-то мистическое уважение к печатному слову, и я смотрел на стихи Пепки почти с благоговением, как и на его маленькие рассказы. Благодаря нахлынувшему богатству Пепко, во-первых, выкупил свой жилет, во-вторых, отправился в ресторан обедать и по пути напился и, в-третьих, возвращаясь домой,

увидел в окне табачной лавочки гитару, которую и приобрел немедленно, как вещь необходимую в эстетическом обиходе «Федосьиных покровов». Оказалось, что Пепко, кроме поэтического жара, владел сладким искусством тренькать на гитаре какие-то ветхозаветные романсы и под аккомпанемент этого треньканья распевал «пшеничным тенорком» очень жалобные и чувствительные строфы.

– Эстетика в жизни все, – объяснял Пепко с авторитетом сытого человека. – Посмотри на цветы, на окраску бабочек, на брачное оперение птиц, на платье любой молоденькой девушки. Недавно я встретил Анну Петровну, смотрю, а у нее голубенький бантик нацеплен, – это тоже эстетика. Это в пределах цветовых впечатлений, то есть в области сравнительно грубой, а за ней открывается царство звуков… Почему соловей поет?..

– Послушай, Пепко, а в чем же я пойду в Энтомологическое общество? – спрашивал я, прерывая эту философию эстетики. – У меня, кроме высоких сапог и пестрой визитки, ничего нет…

– Э, вздор! Можешь надеть мои ботинки и мои штаны. Если тебя смущает твоя пестрая визитка, то пусть другие думают, что ты оригинал: все в черном, а ты не признаешь этого по твоим эстетическим убеждениям. Только и всего…

Это было еще то блаженное время, когда студенты могли ходить в высоких сапогах, и на этом основании я не имел другой, более эстетической обуви. Когда смущавший меня костюмерский вопрос был разрешен предложенным Пепкой компромиссом, я опять повергся в бездну малодушия, сознавая свою полную несостоятельность по части энтомологии. Пепко и тут оказался на высоте призвания: он относился к ученым свысока. Единственным основанием для этого могло служить только то, что он в течение трех лет своего студенчества успел побывать в технологическом институте, в медицинской академии, а сейчас слушал лекции в университете, разом на нескольких факультетах, потому что не мог остановиться окончательно ни на одной специальности. Самый способ слушания лекций у Пепки превращался в жестокую критику профессоров, причем он любил выражаться довольно энергично: «балда», «старая подошва», «прохвост» и т. д. Пепко был вообще строг к ученым людям и, отправляя меня на заседание Энтомологического общества, говорил в назидание:

– Я тебе открою секрет не только репортерского писания, но и всякого художественного творчества: нужно считать себя умнее всех… Если не можешь поддерживать себя в этом настроении постоянно, то будь умнее всех хотя в то время, пока будешь сидеть за своим письменным столом.

Все это, может быть, было и остроумно и справедливо, но я испытывал гнетущее настроение, отправляясь на свою первую репортерскую экскурсию. Я чувствовал себя прохвостом, который забирается самым нахальным образом прямо в храм чистой науки. Вдобавок шел дождь, и это ничтожное обстоятельство еще больше нагоняло уныние.

Энтомологическое общество заседало у Синего моста, в помещении министерства. Сановитый и представительный швейцар с молчаливым презрением принял мое мокрое верхнее пальто с большим изъяном по части подкладки и молча ткнул пальцем куда-то наверх. Зачем существуют пестрые пиджаки и скверные осенние пальто с продырявленной подкладкой? Ах, сколько незаслуженных неприятностей я перенес именно от этих невиннейших по существу подробностей мужской костюмировки… Памятуя наставления своего друга, я принял вид оригинала, когда взбирался по широкой министерской лестнице во второй этаж. С этим же видом я подошел к какому-то начинающему молодому человеку, фигурировавшему в роли секретаря, и вручил ему свою верительную грамоту от редакции «Нашей газеты». Он так же

молча, как швейцар, указал мне на отдельный стол. Как новичок, я забрался слишком рано и в течение целого часа мог любоваться лепным потолком громадной министерской залы, громадным столом, покрытым зеленым сукном, листами белой бумаги, которые были разложены по столу перед каждым стулом, – получалась самая зловещая обстановка готовившегося ученого пиршества. У меня что-то заныло под ложечкой, и я начал чувствовать, что постепенно теряю свою оригинальность, как человек, попавший на холод, теряет постепенно живую теплоту собственного тела.

Прошло с четверть часа, пока я осмотрелся и заметил двух молодых людей, шушукавшихся в углу залы. Это были, видимо, начинающие ученые, которые забрались в качестве новичков тоже раньше других. Потом явились еще и еще, и я мог наблюдать, как наука росла на моих глазах. Потом явились среднего возраста жрецы науки, которые держали себя уже своими людьми. Они разговаривали громко, фамильярно подавали руку секретарю и вообще проявляли такую развязность, которая заставляла меня только завидовать, как неудавшегося оригинала. Заседание открылось только с прибытием ученой женщины, солидно занявшей главное место. Я не помню, как около моего столика точно из земли вырос какой-то юркий молодой человек в золотых очках, который спросил меня без всяких предисловий:

– Вы от какой газеты? Прежде от «Нашей газеты» приходил сюда Молодин.

Шустрый молодой человек оказался представителем большой распространенной газеты и поэтому держал себя с соответствующим апломбом. Затем явились еще два репортера – один прилизанный, чистенький, точно накрахмаленный, а другой суровый, всклокоченный, с припухшими веками. Это уже было свое общество, и я сразу успокоился.

Не буду описывать ход ученого заседания: секретарь читал протокол предыдущего заседания, потом следовал доклад одного из «наших начинающих молодых ученых» о каких-то жучках, истребивших сосновые леса в Германии, затем прения и т. д. Мне в первый раз пришлось выслушать, какую страшную силу составляют эти ничтожные в отдельности букашки, мошки и таракашки, если они действуют оптом. Впоследствии я постоянно встречал их в жизни и невольно вспоминал доклад в Энтомологическом обществе.

Тут же в первый раз я имел удовольствие видеть специально ученую ложь, уснащенную стереотипными фразами: «беру на себя смелость сделать одно замечание уважаемому докладчику», «наш дорогой Иван Петрович высказал мнение», «не полагаясь на свой авторитет, я решаюсь внести маленькую поправку» и т. д. Меня удивляло это обилие никому не нужных канцелярских слов и торжественно-похоронное выражение лиц всех этих Иванов Петровичей, фигурировавших здесь в роли столпов науки и отцов отечества. Сколько ненужной лжи и дрянных, ненужных слов, интимной подкладкой которой служило только то, что молодые подающие надежды энтомологи-черви скромно подтачивали старые пни и гнилые колоды родной науки. Приблизительно происходило то же, что с немецким лесом, который был съеден ничтожными жуками.

Записал я все, что происходило, очень плохо, потому что отчасти был занят совершенно посторонними наблюдениями, а отчасти потому, что не умел еще быстро схватывать сущность доклада и прений. Поэтому, возвращаясь домой, я испытывал прилив самого мрачного отчаяния… Какой я репортер для ученых обществ?.. Что я буду писать и о чем? Никто не будет печатать мою галиматью, а если «Наша газета» напечатает, то будет еще хуже, потому что появится возражение. Одним словом, скверно, а всего сквернее то, что я никак не мог вообразить себя умным человеком.

Вернувшись домой, я застал Пепку уже в постели. Он спал сном младенца, и меня это

огорчило: мне не с кем было даже поделиться своим отчаянием. Вообще скверно… Я мог только попросить Федосью разбудить меня завтра в шесть часов утра.

Утро было ужасное. Отчет должен был быть готов к восьми часам, и я работал, как приговоренный к смертной казни. Нужно было вылепить из отрывочных замечаний, занесенных в репортерскую книжку, хоть что-нибудь осмысленное и до известной степени целое. Это была жестокая практика… Убивало главным образом то, что нужно было кончить к восьми часам.

Пробило и восемь часов. Отчет был готов.

– Теперь неси его к Фрею, – говорил Пепко. – Его найдешь в трактире у Симеониевского моста… Я сегодня туда не пойду.

Предстояло новое испытание. Мне казалось, что Фрей отнесется ко мне с презрением и засмеется прямо в лицо. Но Фрей не высказал никаких особливых враждебных чувств, а молча просмотрел мой первый опыт, молча сунул его себе в карман и самым равнодушным тоном проговорил:

– Хорошо…

«Академия» тоже встретила меня равнодушно, точно я всю жизнь только и делал, что писал отчеты о заседаниях Энтомологического общества.

Какой тяжелый день, какая тяжелая ночь! Нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания. Я даже во сне видел, как за мной гнались начинающие энтомологи, гикали и указывали на меня пальцами и хохотали, а вся земля состояла из одних жучков…

Наступило утро, холодное, туманное петербургское утро, пропитанное сыростью и болотными миазмами. Конечно, все дело было в том номере «Нашей газеты», в котором должен был появиться мой отчет. Наконец, звонок, Федосья несет этот роковой номер… У меня кружилась голова, когда я развертывал еще не успевшую хорошенько просохнуть газету. Вот политика, телеграммы, хроника, разные известия.

– Напечатан? – спрашивает Пепко.

От волнения я пробегаю мимо своего отчета и только потом его нахожу. «Заседание Энтомологического общества». Да, это моя статья, моя первая статья, мой первородный грех. Читаю и прихожу в ужас, какой, вероятно, испытывает солдат-новобранец, когда его остригут под гребенку. «Лучшие места» были безжалостно выключены, а оставалась сухая реляция, вроде тех докладов, какие делали подающие надежды молодые люди. Пепко разделяет мое волнение и, пробежав отчет, говорит:

– Ничего…

– Как ничего?.. А что скажут господа ученые, о которых я писал? Что скажет публика?.. Мне казалось, что глаза всей Европы устремлены именно на мой несчастный отчет… Весь остальной мир существовал только как прибавление к моему отчету. Роженица, вероятно, чувствует то же, когда в первый раз смотрит на своего ребенка…

– Ничего… – тянул из меня душу Пепко. – Завтра ты отправляешься в университет, на ученый диспут; какой-то черт написал целую диссертацию о греческих придыханиях…

Как же это так, вдруг: вчера жучки, а завтра греческие придыхания? Я только тут в первый раз почувствовал себя литературным солдатом, который не имеет права отказываться даже самым вежливым образом…

# VIII

Мое репортерство быстро пошло в ход, и в какой-нибудь месяц я превратился в заурядного газетного сотрудника. Меня уже не смущала больше моя пестрая визитка, потому что были и другие репортеры, которые настойчиво желали быть оригиналами. Громадное неудобство этой работы заключалось в том, что она отнимала ужасно много времени. Приходилось в день заседания уходить из дому часов в семь вечера и возвращаться в час, а затем утром писать отчет и нести его в трактир. Одним словом, уходил почти целый день. Такая работа в результате давала в среднем от рубля до двух за отчет. Считая от десяти до пятнадцати ученых заседаний в месяц, мой заработок колебался между двадцатью и тридцатью рублями. Цифра для меня являлась громадной, особенно принимая во внимание, что это были первые заработки, дававшие известную самостоятельность и даже некоторое уважение к собственной особе. Да, я уже являлся составной частью того живого целого, которое называется ежедневной газетой. Про себя я очень гордился своей первой литературной работой и был рад, что начал службу простым рядовым. Теперь для меня раскрывалась другая сторона газетного дела, которая для обыкновенного газетного читателя не существует, – за этими печатными строчками открывался оригинальный живой мир, органически связанный вот именно с таким печатным листом бумаги. Настоящий газетный сотрудник, в общежитейском смысле, погибший человек, потому что после пяти-шести лет газетной работы он настолько въедается в свое дело, что теряет всякую способность к другой работе. Я видел настоящих фанатиков газетного дела, как тот же полковник Фрей. Меня поражала прежде всего его изумительная аккуратность – аккуратность настоящего старого газетного солдата, который знал только одно, что «газета не ждет». Мне пришлось проработать с ним вместе около трех лет, и не было случая, когда бы он опоздал хоть на пять минут.

Газетное братство распадалось на целый ряд категорий: передовики, фельетонисты, хроникеры, заведывающие отделами вообще и просто мелкая газетная сошка. В сущности получалось две неравных «половины»: с одной стороны – газетная аристократия, как модные фельетонисты, передовики и «наши уважаемые сотрудники», а с другой – безыменная газетная челядь, ютившаяся на последних страницах, в отделе мелких известий, заметок, слухов и сообщений. Особенно сильная борьба шла именно в этом последнем отделе газетных микроорганизмов, где каждая напечатанная строка являлась синонимом насущного хлеба. Я быстро понял эту газетную философию: каждая напечатанная мной строка отнимала у кого-то его кусок хлеба. Отсюда своя подводная борьба за существование, свои бури в стакане воды, свои интриги, симпатии и антипатии. Типичным человеком в этом отношении являлся полковник Фрей, который со всеми был знаком и доставлял работу. На его голову сыпались самые тяжелые обвинения, его упрекали чуть не в воровстве, ему устраивали неприятные сцены, и он все выносил, оставаясь на своем посту. Лично я с особенным удовольствием вспоминаю о нем, как о человеке, который так просто отнесся ко мне с первого раза и так до конца. И прочие члены «академии» тоже относились хорошо, и мне делается грустно, что их уже нет – последним умер полковник Фрей.

Что же свело их в преждевременную могилу? Ответ довольно грустный: пьянство… Происходило это и от беспорядочности самой работы, и от периодических голодовок, и, может быть, по установившейся годами традиции. Я уже описал свою первую встречу с «академией»; последующие встречи были только повторением. Утром «академия» заседала в трактире Агапыча, а вечером перекочевывала в соседнюю портерную. Здесь раздавалась работа, здесь

обсуждались свои газетные дела, здесь проходила вся жизнь под давлением винных паров. Это была самая грустная страница в жизни нашей газетной богемы… Мы с Пепкой не могли избавиться от установившегося режима и время от времени сильно напивались. Происходило это без предварительного намерения, а как-то само собой, как умеет напиваться русский человек в обществе другого хорошего русского человека. Мало-помалу это вошло даже в привычку, особенно в трудную минуту, когда дома есть было нечего, а тут Агапыч открывал маленький кредит и портерная тоже.

После каждого излишества Пепко испытывал припадки самого жестокого раскаяния, хотя и называл каждый случай пьянства «ошибкой» или описательно – «мы немного ошиблись». Было тяжело смотреть на него в эти минуты.

– Смотри и молча презирай меня! – заявлял Пепко, еще лежа утром в постели. – Перед тобой надежда отечества, цвет юношества, будущий знаменитый писатель и… Нет, это невозможно!.. Дай мне орудие, которым я мог бы прекратить свое гнусное существование. Ах, Боже мой, Боже мой… И это интеллигентные люди? Чему нас учат, к чему примеры лучших людей, мораль, этика, нравственность?..

– Да будет тебе, Пепко! Надоел… Причитаешь, как наемная плакальщица.

– Нет, ты посмотри на мою рожу… Глаза красные, кожа светится пьяным жиром – вообще самый гнусный вид кабацкого пропойцы.

За этим немедленно следовал целый реестр искупающих поступков, как очистительная жертва. Всякое правонарушение требует жертв… Например, придумать и сказать самый гнусный комплимент Федосье, причем недурно поцеловать у нее руку, или не умываться в течение целой недели, или – прочитать залпом самый большой женский роман и т. д. Странно, чем ярче было такое раскаяние и чем ужаснее придумывались очищающие кары, тем скорее наступала новая «ошибка». В психологии преступности есть своя логика…

Прилив средств и необходимость деловых сношений с «академией» совершенно нарушали всю программу нашей жизни, хотя мы и давали каждый день в одиночку и сообща самые торжественные клятвы, что это последняя «ошибка» и ничего подобного не повторится. Но эти добрые намерения принадлежали, очевидно, к тем, которыми вымощен ад.

– Что же это такое? – взывал Пепко, изнемогая в борьбе с собственною слабостью. – Еще один маленький шаг, и мы превратимся в настоящих трактирных героев… Мутные глаза, сизый нос, развинченные движения, вечный запах перегорелого вина – нет, благодарю покорно! Не согласен… К черту всю «академию»! Я еще молод и могу подавать надежды, даже очень просто… Наконец, благодарное потомство ждет от меня соответствующих поступков, черт возьми!..

Пока Пепко предавался своему унылому самоедству, судьба уже приготовила корректив.

Произошло это совершенно неожиданно, как происходят только серьезные вещи в жизни.

Дело происходило на святках. Ученые общества прекратили свою деятельность, и мы могли воспользоваться по усмотрению своей голодной свободой. Семейных знакомств у нас не было, да и не могло быть благодаря отсутствию приличных костюмов. Все это было очень грустно, особенно в такие семейные праздники, как святки. Все веселились, у всех был свой семейный угол, и мы особенно ярко чувствовали свое унылое одиночество. Пепко с каким-то ожесточением решительно ничего не делал, валялся целые дни на кровати и зудил на гитаре до тошноты, развивая в себе и во мне эстетический вкус. Иногда, достигнув конечного предела

одурения, он вскакивал, кого-то ругал в пространство, убегал из дому и через десять минут возвращался с сильным запахом водки.

– А, черт… – ворчал он, хватаясь опять за гитару.

Произошла очень печальная история, которая случается при совместном сожительстве: мы надоели друг другу… Все разговоры были переговорены, интересы исчерпаны, откровения сделаны – оставалось только скучать. Все привычки, недостатки и достоинства были известны взаимно, как платье, физиономии, жесты, интонации голоса и т. д. Незаметно мы старались не видеть друг друга, уходя из дому на целые дни. Это было самое лучшее, что можно было сделать в нашем положении. Именно в один из таких тяжелых дней, когда я скрылся из дому к знакомому студенту-технологу, и произошло то, что перевернуло жизнь Пепки наирадикальнейшим образом.

Как отчетливо я помню этот проклятый зимний день, гнилой, серый, тоскливый! Вместо снега на мостовой лежала какая-то жидкая каша. Я нарочно засиделся у своего знакомого подольше, чтобы вернуться домой, когда Пепко уже спит, – от скуки он в праздники заваливался спать с десяти часов. Я возвращался в самом скверном настроении, проклиная погоду, праздники, собственную молодость. На мостках через Неву меня продуло самым беспощадным образом, точно самые стихии ополчились на беззащитного молодого человека. Наконец, вот и наш дом, наш флигелек. На звонок вышла Федосья и встретила меня загадочной улыбкой, – она умела улыбаться самым глупым образом.

– Что такое случилось, Федосья Ниловна?

Вместо ответа Федосья только фыркнула и мотнула головой по направлению нашей комнаты, откуда раздавались звуки польки-трамблян. Значит, еще Пепко не спал… Отворяю дверь и от изумления превращаюсь в знак вопроса. Представьте себе совершенно невероятную картину: на моей кушетке сидел Пепко с гитарой, приняв какую-то особую позу жуирующего молодого человека, а перед ним… Нет, это нужно писать другим пером и другими чернилами… В нашей комнате кружились две пары самых очаровательных масок: два «турка», цыганка и «Ночь». «Турки» были своего домашнего приготовления, и не нужно было особенной проницательности, чтобы угадать в них переодетых девушек. Да, это были настоящие маски, тот милый маскарад, который не требовал объяснений. И все-таки я решительно ничего не понимал… На столе, где лежали мои рукописи, стояли три пустых бутылки из-под пива, две тарелки с объедками колбасы и сыра, два веера и перчатки не первой молодости.

– Рекомендую: мой друг, – рекомендовал меня Пепко. – Отличный парень, а главное – замечательный талант.

– В каком смысле? – осведомилась Ночь, подавая мне холодную, длинную и худую руку.

– Во всяком, милая Ночь…

Маски сбились в одну кучку и о чем-то шушукались. Очевидно, мое появление нарушило трогательный семейный праздник. Впрочем, скоро все уладилось само собой. Храбрее всех оказались «турки», которые первыми сняли маски, а их примеру последовала цыганка. В результате этого разоблачения оказались три молодых, довольно миловидных рожицы, улыбавшихся и хихикавших самым задорным образом. Упорнее всех оказалась Ночь, которая ни за что не хотела снимать маску. Пепко пустил в ход какой-то дипломатический подвох, чтобы «обнаружить прелестную незнакомку», которая оказалась девушкой средних лет, с какими-то испуганными темными глазами.

– Ну, вот и отлично! – одобрял Пепко, принимаясь за свою гитару.

– Что это значит? – спросил я, продолжая не понимать.

– Что значит? В нашем репертуаре это будет называться: месть проклятому черкесу… Это те самые милые особы, которые так часто нарушали наш проспект жизни своим шепотом, смехом и поцелуями. Сегодня они вздумали сделать сюрприз своему черкесу и заявились все вместе. Его не оказалось дома, и я пригласил их сюда! Теперь понял? Желал бы я видеть его рожу, когда он вернется домой…

У нас открылся настоящий бал. Появилось новое пиво, а с ним разлилось и новое веселье. Наши маски оказались очень милыми и веселыми созданиями, а Пепко проявил необыкновенную галантность – нечто среднее между турецким пашой и французским маркизом конца грешного восемнадцатого века.

– Гризетки из Латинского квартала, – резюмировал Пепко свои впечатления и как-то особенно глупо захохотал; я его видел в женском обществе в первый раз.

Говоря откровенно, девушки были очень недурны и дурачились так мило, точно разыгравшиеся котята. Мы танцевали кадриль, польки, вальсы – вообще развеселились. Потом начались святочные игры, пение, все те маленькие глупости, которые проделываются молодежью с таким усердием. Пепко проявлял все свои таланты, и наши дамы хохотали над ним до слез. Он сам вошел в свою роль и тоже хохотал.

– Позвольте, однако, mesdames, как вас зовут? – спохватился Пепко немножко поздно.

– Угадайте…

Пепко посмотрел на них и по какому-то наитию проговорил с полной уверенностью:

– Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья-премудрость…

По странной случайности оказалось, что это было именно так, и Пепко, увлекшись своей ролью прорицателя, подошел к Ночи, взял ее за руку и проговорил:

– А ты – Любовь, то есть любовь и в частности и вообще.

# IX

– Что такое женщина? – спрашивал Пепко на другой день после нашего импровизированного бала. – За что мы любим эту женщину? Почему, наконец, наша Федосья тоже женщина и тоже, на этом только основании, может вызвать любовную эмоцию?.. Тут, брат, дело поглубже одной физики…

Затем Пепко сделал рукой свой единственный жест, сладко зажмурил глаза и кончил тем, что бросился на свою кровать. Это было непоследовательно, как и дальнейшие внешние проявления собственной Пепкиной эмоции. Он лежал на кровати ничком и болтал ногами; он что-то бормотал, хихикал и прятал лицо в подушку; он проявлял вообще «резвость дитяти».

– Что с тобой, Пепко?

– Со мной? Что со мной?.. Я влюблен в Федосью… Ххе!.. По-моему, она бальзаковская женщина с очень колоритным темпераментом, и я посвящу ей стихи.

Пепко вскочил со своего ложа, остановился посреди комнаты и совершенно неожиданно захохотал, сделав глупое лицо.

– Что такое женщина?.. О, ты не знаешь, что такое женщина!

По всем признакам Пепко мучился желанием рассказать мне что-то очень пикантное и вместе с тем не решался. Я мог сделать довольно основательное предположение по адресу вчерашних масок, – мы их провожали вместе, а потом разлучились; на мою долю досталось провожать двух сестер, Веру и Надежду, а Пепко провожал Ночь и мать, премудрость Софью. Домой вернулся он очень поздно, когда я уже спал, и утром не желал поделиться своими впечатлениями. Настоящий разговор происходил уже после обеда, когда на Пепку напала томящая жажда соткровенничать.

– Если не ошибаюсь, тебя угнетает какая-то тайна? – заметил я, подавая реплику.

– О, ты проник на самое дно моей души, мой друг… Да, величайшая тайна, больше – тайна женщины. А впрочем, подозрение да не коснется жены цезаря![9]

– Где цезарь, Пепко?

– Цезарь – это я, то есть цезарь пока еще в возможности, in spe. Но я уже на пути к этому высокому сану… Одним словом, я вчера лобзнул Ночь и Ночь лобзнула меня обратно. Привет тебе, счастливый миг… В нашем лице человечество проявило первую попытку сделать продолжение издания. Ах, какая девушка, какая девушка!..

– По-моему, она очень некрасива…

– А глаза?.. И мир, и любовь, и блаженство… В них для меня повернулась вся наша грешная планетишка, в них отразилась вся небесная сфера, в них мелькнула тень божества… С ней, как говорит Гейне, шла весна, песни, цветы, молодость.

Освободившись от своей тайны, Пепко, кажется, почувствовал некоторое угрызение совести, вернее сказать, ему сделалось жаль меня, как человека, который оставался в самом прозаическом настроении. Чтобы несколько стушевать свою бессовестную радость, Пепко проговорил каким-то фальшивым тоном, каким говорят про «дорогих покойников»:

– А эта белокуренькая Надежда ничего… Этакой пухленький чертенок. Я заметил, как она посматривала на тебя. И ты в свою очередь…

– Нельзя ли меня оставить в покое.

– Гм, твое дело… Если не ошибаюсь, Вера и Надежда – сестры, и, если не ошибаюсь, у них есть мамаша, то есть они живут при мамаше?

– Да, что-то в этом роде… Они приглашали нас к себе как-нибудь в воскресенье. Очень милые девушки вообще…

– Да, милые… А Горгедзе?..

– Он просто знакомый… Бывает у них. Ничего особенного…

– Гм, да… Вещь обыкновенная.

Пепко вдруг замолчал и посмотрел на меня, стиснув зубы. В воздухе пронеслась одна из тех

невысказанных мыслей, которые являются иногда при взаимном молчаливом понимании. Пепко даже смутился и еще раз посмотрел на меня уже с затаенной злобой: он во мне начинал ненавидеть свою собственную ошибку, о которой я только догадывался. Эта маленькая сцена без слов выдавала Пепку головой… Пепко уже раскаивался в своей откровенности и в то же время обвинял меня, как главного виновника этой откровенности.

Мне приходится сделать маленькое отступление и вернуться назад. Дело в том, что у Пепки была настоящая тайна, о которой он не говорил, но относительно существования которой я мог догадываться по разным аналогиям и логическим наведениям. Познакомившись с ним ближе, я, во-первых, открыл существование в его инвентаре нескольких вещей, настолько ненужных, что их даже нельзя было заложить, и которые Пепко тщательно прятал: вышитая шелком закладка для книг, таковая же перотерка и т. д.; во-вторых, я сделался невольным свидетелем некоторых поступков, не соответствовавших общему характеру Пепки, и, наконец, в-третьих, время от времени на имя Пепки получались таинственные письма, которые не имели ничего общего с письмами «одной доброй матери» и которые Пепко, не распечатывая, торопливо прятал в карман. Не нужно было особенной проницательности, чтобы догадаться о существовании какой-то невидимой женской руки, протягивавшейся в «Федосьины покровы» прямо к сердцу Пепки. Федосья была убеждена в существовании этой таинственной особы и с ехидством обезьяны каждый раз сама приносила письма Пепке.

– Опять письмо… – говорила она, пожирая глазами Пепку.

– А, черт!.. – ругался Пепко.

Было раз даже так, что Федосья вошла в нашу комнату на цыпочках и проговорила змеиным сипом:

– Вас спрашивает какая-то дама…

Пепко вылетел в коридор, как бомба. Там действительно стояла дама, скрывавшая свое лицо под густой вуалью. Произошел короткий диалог, и дама ушла, а Пепко вернулся взбешенный до последней степени. Его имя компрометировалось пред лицом всех обитателей «Федосьиных покровов».

Именно этот эпизод с таинственной незнакомкой и промелькнул перед нашими внутренними очами после сделанного Пепкой признания о лобзании. Мужчина, обманывающий женщину, вообще гадок, а Пепко еще не был настолько испорченным, чтобы не чувствовать сделанной гадости. Мучила молодая совесть…

Когда Пепко после утренней откровенности вышел, в комнату заявилась Федосья. Она как-то особенно старательно вытирала пыль и кончила тем, что обратилась ко мне с следующим воззванием:

– Самый невероятный Фома!..

– Кто?..

– А сам-то Агафон Павлыч… Разве это хорошо: и даму обманывает и девушку хочет обмануть. Конечно, она глупая девушка…

– Какую даму?

– А та, которая с письмами… Раньше-то Агафон Павлыч у ней комнату снимал, ну, и обманул.

Она вдова, живет на пенсии… Еще сама как-то приходила. Дуры эти бабы… Ну, чего лезет и людей смешит? Ошиблась и молчи… А я бы этому Фоме невероятному все глаза выцарапала. Вон каким сахаром к девушке-то подсыпался… Я ее тоже знаю: швейка. Дама-то на Васильевском острове живет, далеко к ней ходить, ну, а эта ближе…

«Фома неверный», переделанный Федосьей в «Фому невероятного», получил специальное значение в смысле вообще неверности. Я выслушал Федосью молча, а потом ответил:

– Меня удивляет, Федосья Ниловна, ваша слабость говорить о том, чего вы не знаете…

– Я-то не знаю?!.

Федосья сделала носом какой-то шипящий звук, взмахнула тряпкой и вышла из комнаты с видом оскорбленной королевы. Я понял только одно, что благодаря Пепке с настоящего дня попал в разряд «Фомы невероятного».

События полетели быстрой чередой. Пепко имел вид заговорщика и в одно прекрасное февральское утро заявил мне, что в следующее воскресенье мы отправимся к Вере и Надежде.

– У этих милых девушек один недостаток: надежда должна быть старше веры, eo ipso,[10] а в действительности Вера старше Надежды. Но с этой маленькой хронологической неточностью можно помириться, потому что она умеет так хорошо улыбаться и смотреть такими светлыми глазками…

– Надеюсь, что твоя Ночь будет там?

– Ну, этого я не знаю, – откровенно соврал Пепко. – Может быть…

Вера и Надежда обитали в глубинах Петербургской стороны. Когда мы шли к ним вечером в воскресенье, Пепко сначала отмалчивался, а потом заговорил, продолжая какую-то тайную мысль:

– Да вообще, ежели рассудить…

– Что рассудить?

– А вот хоть бы то, что мы сейчас идем. Ты думаешь, что все так просто: встретились случайно с какими-то барышнями, получили приглашение на журфикс и пошли… Как бы не так! Мы не сами идем, а нас толкает неумолимый закон… Да, закон, который гласит коротко и ясно: на четырех петербургских мужчин приходится всего одна петербургская женщина. И вот мы идем, повинуясь закону судеб, влекомые наглядной арифметической несообразностью…

– А ты не можешь без философии?

– Самому дороже стоит…

Квартира наших новых знакомых помещалась во втором этаже довольно гнусного флигеля. Первое впечатление получалось довольно невыгодное, начиная с темной передней, где стоял промозглый воздух маленькой тесной квартирки. Дальше следовал небольшой зал, обставленный с убогой роскошью. В ожидании гостей все было прибрано. Нас встретила довольно суровая дама, напоминавшая нашу собственную Федосью. Впоследствии она оказалась матерью Веры и Надежды. Это было, как пишут в афишах, лицо без речей. В зале уже сидел какой-то офицер, то есть не офицер, а интендантский чиновник в военной форме,

пожилой, лысый, с ласково бегавшими маслеными глазами.

– Люба обещала прийти… – заметила белокурая Надежда, поглядывая на Пепку улыбавшимися глазками.

– Я не знаю, как ты решилась ее пригласить, – брезгливо ответила Вера, пожимая плечами. – Мы с ней познакомились в Немецком клубе перед рождеством. Впрочем, я это так…

Мы чувствовали себя не в своей тарелке, пока не подан был самовар; прислуги не было, и «отвечала за кухарку» все та же мамаша. Некоторое оживление внес седой толстый старик фельдшер с золотой цепочкой, который держал себя другом дома. Он называл девиц попросту Верочкой и Наденькой. Они почему-то хихикали, переглядывались и даже толкали смешного старика. Разговор шел о Немецком клубе и неизвестных нам общих знакомых. Я молчал самым глупым образом, а Пепко что-то врал о провинциальных клубах, в которых никогда не бывал. В общем все-таки ничего интересного не получалось. Самая обыкновенная кисленькая чиновничья вечеринка. Пепко уже несколько раз с тоской посматривал на дверь, вызывая улыбку Нади. Она говорила ему глазами: «придет, не беспокойтесь».

Сами по себе барышни были среднего разбора – ни хороши, ни худы, ни особенно молоды. Мне нравилось, что они одевались очень скромно, без всяких претензий и без помощи портнихи. Младшая, Надежда, белокурая и как-то задорно здоровая, мне нравилась больше старшей Веры, которая была красивее, – я не любил брюнеток.

– Ну, братику, мы попали в небольшое, но избранное общество, – шепнул мне Пепко, отводя в сторону. – От скуки челюсти свело… Недостает еще отца дьякона, гитары и домашней наливки, которая пахнет кошкой.

Мне тоже казалось что-то подозрительное во всей обстановке. Чего-то недоставало и что-то было лишнее, как лысая интендантская голова и эта мамаша без слов. К числу действующих лиц нужно еще прибавить ветхозаветное фортепиано красного дерева, которое имело здесь свое самостоятельное значение, – «мамаша без слов» играла за тапера и аккомпанировала Верочке, исполнявшей с большим чувством самые модные романсы. Под это фортепиано мы с Пепкой много танцевали впоследствии, так что я сейчас вспоминаю о нем, как о живом свидетеле наших хореографических упражнений. Увы! – нынче такие цимбалы исчезли даже в глубинах Петербургской стороны, а с ними исчезло и дешевенькое веселье.

Скучавший Пепко не подозревал, какой сюрприз готовила ему роковая судьба. Он вздрогнул, когда в передней забренчал звонок. Это была она… Надя посмотрела на Пепку улыбавшимися глазами и выскочила встречать гостью. Послышались поцелуи, говор и молодой смех. Она вошла в сопровождении какого-то очень франтоватого молодого человека иудейского происхождения. Он отрекомендовался помощником провизора, и Пепко побледнел, пожираемый муками ревности. А она была сегодня почти красива, что можно было объяснить быстрой ходьбой, а быть может – обществом интересного кавалера. Юркий еврейчик держал себя с большой развязностью, и барышни чувствовали его своим человеком.

– Я его убью… – сообщил мне Пепко по секрету. – Посмотри, какая отвратительная морда!

Ослепленный страстью, Пепко был несправедлив, потому что еврейчик мог сойти за очень красивого молодого человека, а особенно хороши были горячие темные глаза. Общее впечатление портила только эта специально провизорская юркость. Впрочем, Пепко скоро примирился с своею участью, чему отчасти способствовала поданная во-время закуска. Девица Любовь держала себя с большим тактом, и я подозреваю, что она явилась в сопровождении

своего кавалера с заранее обдуманным намерением, именно, чтобы подвинтить в Пепке ревнивое чувство.

После ужина последовали танцы, причем Пепко лез из кожи, чтобы затмить проклятого провизора. Танцевал он очень недурно. Потом следовала вокальная часть, – пела Верочка модные, только что вышедшие романсы: «Только станет смеркаться немножко», «Вьется ласточка» и т. д. Фельдшер не пел и не танцевал, а поэтому исполнил свой номер отдельно.

– Илья Самсоныч, пожужжите, – приставала к нему Надя.

Старик поломался, выпил залпом две рюмки водки и принялся жужжать пчелой. Барышни хохотали до слез, да и все остальные почувствовали себя как-то легче. Интендантский чиновник хотя и танцевал, но должен был изображать спящую на диване болонку, что выходило тоже смешно. Это разнообразие талантов возбудило в Пепке зависть.

– Господа, у кого есть пятиалтынный? – спрашивал он.

Пятиалтынный нашелся, и Пепко согнул его двумя пальцами, – у него была страшная сила в руках. Этот фокус привел фельдшера в восторг, и он расцеловал подававшего надежды молодого человека.

– О, вы далеко пойдете! – повторял старик.

Вечер закончился полной победой Пепки: он провожал свою Любовь и этим уже уничтожал провизора. Я никого не провожал, но тоже чувствовал себя недурно, потому что в передней Надя так крепко пожала мою руку и прошептала:

– Вы приходите как-нибудь один…

Странно, что, очутившись на улице, я почувствовал себя очень скверно. Впереди меня шел Пепко под ручку с своею дамой и говорил что-то смешное, потому что дама смеялась до слез. Мне почему-то вспомнилась «одна добрая мать». Бедная старушка, если бы она знала, по какой опасной дороге шел ее Пепко…

## X

Мои занятия шли своим чередом. Все свободное время, которое у меня оставалось, шло на писание романа. То была работа Сизифа, потому что приходилось по десяти раз переделывать каждую главу, менять план, вводить новых лиц, вставлять новые описания и т. д. Недоставало прежде всего знания жизни и технической опытности. Я знал, как смотрит на мою работу Пепко, и старался писать, когда его не было. Кстати, теперь он часто исчезал из дому, особенно по вечерам. Сначала он подыскивал какие-нибудь предлоги для этих таинственных путешествий, обманывая больше всего самого себя, а потом начал пропадать уже без всяких предлогов. Я делал вид, что ничего не замечаю и не интересуюсь его поведением, и продолжал катить свой камень. У этого первого произведения было всего одно достоинство: оно дало привычку к упорному самостоятельному труду. Да, труда было достаточно, а главное – была цель впереди, для которой стоило поработать. Время от времени наступали моменты глухого отчаяния, когда я бросал все. Ну, какой я писатель? Ведь писатель должен быть чутким человеком, впечатлительным, вообще особенным, а я чувствовал себя самым заурядным, средним рабочим – и только. Я перечитывал русских и иностранных классиков и впадал в еще большее уныние. Как у них все просто, хорошо, красиво и, главное, как легко написано, точно взял бы и сам написал то же самое. И как понятно – ведь я то же самое думал и чувствовал, что

они писали, а они умели угадать самые сокровенные движения души, самые тайные мысли, всю ложь и неправду жизни. Что же писать после этих избранников, с которыми говорила морская волна и для которых звездная книга была ясна…

Первоначальная форма романа была совершенно особенная, без глав и частей. Кажется, чего проще – разбить поэму на части и главы, а между тем это представляло непреодолимые трудности, – действующие лица никак не укладывались в предполагаемые рамки, и самое действие не поддавалось расчленению. Одним словом, мне приходилось писать так, как будто это был первый роман в свете и до меня еще никто не написал ничего похожего на роман. Действие получалось самое запутанное, так что из каждой главы можно было сделать самостоятельный роман. А затем действующие лица так мало походили на живых людей, начиная с того, что резко разграничивались на два разряда – собственно героев и мерзавцев по преимуществу. Это было то же, если бы в мире было всего два цвета – белый и черный, а спектр не существовал. Настоящая жизнь еще не давала красок. Да и какая это была жизнь: описать свое родное гнездо, когда Гоголь уже навеки описал юг, описывать свою школу, студенчество, репортеров, Федосью, Пепку, фельдшера, как он жужжит мухой, пухленькую Надю, – все это было так серо, заурядно и не давало ничего. Вообще было достаточно оснований для отчаяния… Пепко был прав, когда говорил об отсутствии у нас жизни: она шла где-то там, далеко, вне поля нашего зрения. Да и что можно было написать, сидя в своей проклятой мурье? Я начал ненавидеть свою комнату, Федосью, всех квартирантов; это была та стена, которая заслоняла от меня настоящую жизнь. Оставалась надежда на будущее, и я хватался за нее, как утопающий хватается за соломинку.

Впрочем, была одна область, в которой я чувствовал себя до известной степени сильным и даже компетентным: это – описание природы. Ведь я так ее любил и так тосковал по ней, придавленный петербургской слякотью, сыростью и вообще мерзостью. У меня в душе жили и южное солнце, и высокое синее небо, и широкая степь, и роскошный южный лес… Нужно было только перенести все это на бумагу, чтобы и читатель увидел и почувствовал величайшее чудо, которое открывается каждым восходящим солнцем и к которому мы настолько привыкли, что даже не замечаем его. Вот указать на него, раскрыть все тонкости, всю гармонию, все то, что благодаря этой природе отливается в национальные особенности, начиная песней и кончая общим душевным тоном. Свои описания природы я начал с подражаний тем образцам, которые помещены в хрестоматиях, как образцовые. Сначала я писал напыщенно-риторическим стилем a la Гоголь, потом старательно усвоил себе манеру красивых описаний a la Тургенев и только под конец понял, что к гоголевская природа и тургеневская – обе не русские, и под ними может смело подписаться всякая другая природа, за очень немногими исключениями. Настоящая равнинная Русь чувствуется только у Л. Толстого, а горная – у Лермонтова, – эти два автора навсегда остались для меня недосягаемыми образцами. Над выработкой пейзажа я бился больше двух лет, причем мне много помогли русские художники-пейзажисты нового реального направления. Я не пропускал ни одной выставки, подробно познакомился с галереями Эрмитажа и только здесь понял, как далеко ушли русские пейзажисты по сравнению с литературными описаниями. Они схватили ту затаенную, скромную красоту, которая навевает специально-русскую хорошую тоску на севере; они поняли чарующую прелесть русского юга, того юга, который в конце концов подавляет роскошью своих красок и богатством светотени. И там и тут разливалась специально наша русская поэзия, оригинальная, мощная, безграничная и без конца родная… Красота вообще – вещь слишком условная, а красота типичная – величина определенная. Северные сумерки и рассветы с их шелковым небом, молочной мглой и трепетным полуосвещением, северные белые ночи, кровавые зори, когда в июне утро с вечером сходится, – все это было наше родное, от чего ноет и горит огнем русская душа; бархатные синие южные ночи с золотыми звездами, безбрежная даль южной степи, захватывающий простор синего южного моря – тоже наше и тоже с

оттенком какого-то глубоко неудовлетворенного чувства. Бледная северная зелень-скороспелка, бледные северные цветики, контрастирующая траурная окраска вечно зеленого хвойного леса с его молитвенно-строгими готическими линиями, унылая средне-русская равнина с ее врачующим простором, разливы могучих рек, – все это только служило дополнением могучей южной красоты, горевшей тысячью ярких живых красок-цветов, смуглой, кожистой, точно лакированной южной зеленью, круглившимися купами южных деревьев. С каким удовольствием я проверял свои описания природы по лучшим картинам, сравнивал, исправлял и постепенно доходил до понимания этого захватывающего чувства природы. Мне много помогло еще то, что я с детства бродил с ружьем по степи и в лесу и не один десяток ночей провел под открытым небом на охотничьих привалах. Под рукой был необходимый живой материал, и я разрабатывал его с упоением влюбленного, радуясь каждому удачному штриху, каждому удачному эпитету или сравнению.

Работа в газете шла чередом. Я уже привык к ней и относился к печатным строчкам с гонорарной точки зрения. Во всяком случае, работа была интересная и очень полезная, потому что вводила в круг новых знаний и новых людей. Своих товарищей-репортеров я видал очень редко, за исключением неизменного Фрея. «Академия» попрежнему сходилась в трактире Агапыча или в портерной. Прихожу раз утром, незадолго до масленицы, с отчетом в трактир.

– Их нет-с… – заявил Агапыч, осклабляясь.

– Как нет?

– Точно так-с: были да все вышли-с. А промежду прочим вы их найдете в портерном заведении…

Я инстинктивно почувствовал, что случилось что-то особенное, если даже Фрей изменил насиженному месту. Прихожу в портерную и нахожу всю «академию» in corpore.[11] Был налицо даже Порфир Порфирыч, пропадавший бесследно в течение нескольких месяцев. Несмотря на ранний час, все были уже пьяны, и даже Фрей покраснел вместе с шеей. Мое появление вызвало настоящую бурю, потому что все были рады поделиться с новым человеком новостью.

– Ау, братику! – крикнул Гришук, размахивая длинными руками.

– Не в этом дело, юноша… – бормотал Порфир Порфирыч, ухватив меня за руку. – Не в этом дело-с, а впрочем, весьма наплевать…

– Что такое случилось, господа?..

Фрей разъяснил все одной фразой:

– «Наша газета» приказала долго жить… Приостановка на три месяца. Да…

– Почему? как?..

– А мы с одним министерством будировали, ну, нас и по шапке. Дрянь дело, вообще…

Все было ясно «и даже очень просто», как объяснил Порфир Порфирыч, причмокивая и притопывая, – он был специально пьян по случаю закрытия газеты.

– Ох, и мер же я все это время, юноша, – объяснял он мне, подмигивая. – Вот как мер… Даже распух с голоду. Работать не мог, все болит, башка пустая – ложись и помирай. А тут хозяйка за

квартиру требует, из дому выйти не в чем… Не в этом дело, юноша! Ибо не подох, а жив, и жива душа моя. Учись, о юноша, житейской философии… Например, некоторый пьяница не хотел умирать с голоду, а посему отправился к некоторому добродетельному гробовщику со слезницей, – «так и так, выручай». Ну, гробовщик осмотрел натуру оного пьяницы и предложил ему преломить хлеб, а затем облек в этакую подлую похоронную хламиду, дал в руки черный фонарь и рек: «Иди факельщиком и получай мзду, даже до двух двугривенных». – «А как же вы, милостивец, другим факельщикам даете по полтине?» – «У других натура выше, а с тебя и сорока копеек достаточно». И пьяница шел по Невскому с фонарем, скрывая свой срам воротником… Это раз. Второе: тот же гробовщик пожалел пьяницу и пристроил его в оперу «народом», и пьяница ходил по сцене с бумажной трубой, изображал ногами морскую бурю, ползал черепахой и паки и паки получал мзду. Да, юноша, труден и тернист путь, а отрада обходится дорого… Но не в этом дело, ибо истинный мудрец смеется над собственными несчастиями, ибо выше их.

Искусственная пьяная бодрость не могла скрыть общего тяжелого настроения. Положение во всяком случае получалось критическое, потому что впереди предстояли три голодных месяца. Было о чем подумать, тем более что все жили одной литературной поденщиной. Рабочая машина остановилась на полном ходу, и все очутились на улице. В других газетах места были, конечно, заняты, и нечего было думать устроиться даже в приблизительной форме. Главным страдающим лицом от приостановки издания являлись именно мы, мелкая сошка. Главари могли выждать три месяца, а нам «кусать» было нечего.

– Скверно! – резюмировал Фрей общее положение дел, как капитан севшего на мель корабля. – Да… Человек, кружку!..

Не получив утром газеты, Пепко тоже прилетел в «академию», чтобы узнать новость из первых рук. Он был вообще в скверном настроения духа и выругался за всех. Все чувствовали, что нужно что-то такое предпринять, что-то устроить, вообще вывернуться Фрей сердито кусал свои усы и несколько раз ударял кулаком по столу, точно хотел вышибить из него какую-то упрямую мысль, не дававшуюся добром.

– Молодой человек, ведь вам к экзамену нужно готовиться? – обратился он ко мне. – Скверно… А вот что: у вас есть богатство. Да… Вы его не знаете, как все богатые люди: у вас прекрасный язык. Да… Если бы я мог так писать, то не сидел бы здесь. Языку не выучишься – это дар божий… Да. Так вот-с, пишете вы какой-то роман и подохнете с ним вместе. Я не говорю, что не пишите, а только надо злобу дня иметь в виду. Так вот что: попробуйте вы написать небольшой рассказец.

– Право, я не знаю… Ничего не выйдет.

– А вы попробуйте. Этак в листик печатный что-нибудь настрочите… Если вас смущает сюжет, так возьмите какую-нибудь уголовщину и валяйте. Что-нибудь слышали там, у себя дома. Чтобы этакий couleur locale[12] получился… Есть тут такой журналец, который платит за убийства. Все-таки передышка, пока что…

– Попробую…

– Спасибо после скажете.

Порфир Порфирыч с своей стороны давал советы Пепке. Общее несчастие еще теснее сблизило всех.

– Есть у меня некоторый содержатель хора певиц, – рассказывал старик. – Он такой же запойный, как и я. Ну, в одной трущобе познакомились… У него такая уж зараза: как попала вредная рюмочка – все с себя спустит дотла. А человек талантливый: на музыку кладет цыганские романсы. Ну и предлагает мне написать романс и предлагает по четвертаку за строку… А я двух стихов не слеплю, тем более что тут особенное условие: нужно, чтобы везде ударение приходилось на буквы а, о и е. Только и всего. Даже смысла не нужно, а этакое поэтическое… Ну, да ты пописываешь стишки, так понимаешь. Дело отменное во всяком случае…

Пепко размыслил и изъявил согласие познакомиться с таинственным хормейстером. Он и не подозревал, что этой работой предвосхищает поэзию последующих декадентов.

– А, черт, все равно! – ворчал он, сердито ероша волосы. – Будем писать а, о и е.

Все наперерыв строили планы нового образа жизни и советовали друг другу что-нибудь. Меньше всего каждый думал, кажется, только о самом себе. Товарищеское великодушие выразилось в самой яркой форме. В портерной стоял шум и говор.

– Ну, а вы что думаете, полковник? – приставали к Фрею.

– Я? А не знаю… Впрочем, кажется, придется обратиться к Спирьке.

– Э, да вон и сам он, легок на помине!

В портерную входил среднего роста улыбавшийся седой старик купеческой складки с каким-то иконописным лицом и сизым носом.

– Про волка промолвка, а волк в хату, – весело заговорил купец, здороваясь. – Каково прыгаете, отцы? Газетину-то порешили… Ну, что же делать, случается и хуже. Услыхал я и думаю: надо поминки устроить упокойнице… хе-хе!..

– Уж пронюхал, Спиридон Иваныч, где жареным пахнет!..

– Жареное-то впереди… К Агапычу, што ли, отцы?..

Решено было справить тризну у Агапыча. Дорогой, когда мы шли из портерной, Спирька взял меня под руку и проговорил:

– Приятно познакомиться, молодой человек, а ежели что касаемо, например, денег… Сколько вам нужно?..

Я отказался и даже обиделся. Но Пепко разъяснил мне на лестнице:

– Денег предлагал Спирька? Не беспокойся, не даст… Этот фокус он проделывает с каждым новичком, чтобы пофорсить. Вот по части выпивки – другое дело. Хоть обливайся… А денег не даст. Продувная бестия, а впрочем, человек добрый. Выбился в люди из офеней-книгонош, а теперь имеет лавчонку с книгами, делает издания для народа и состоит при собственном капитале. А сейчас он явился, чтобы воспользоваться приостановкой газеты и устроить дешевку… Ему нужны какие-нибудь книжонки.

Тризна вышла на славу. Мне еще в первый раз приходилось видеть в таком объеме трактирную роскошь. Спирька все время улыбался, похлопывал соседа по плечу и, когда все подвыпили, устроил зараз несколько дел.

– Ты мне, полковник, оборудуй роман, да чтобы заглавие было того, позазвонистее, – говорил Спирька. – А уж насчет цены будь спокоен… Знаешь, я не люблю вперед цену ставить, не видавши товару.

– Ладно, знаю, – сумрачно отвечал полковник. – Опять надуешь…

– Я? надую? Да спроси Порфирыча, сколько он от меня хлеба едал… Я-то надую?.. Ах ты, братец ты мой, полковничек… Потом еще мне нужно поправить два сонника и «Тайны натуры». Понимаешь? Работы всем хватит, а ты: надуешь. Я о вас же хлопочу, отцы… Название-то есть для романа?

– Есть: «Тайны Петербурга».

– Тайны? Ну, оно, пожалуй, начетисто нынче с тайнами-то: у меня уж есть «Тайны Мадрита», «Тайны Варшавы»… А промежду прочим увидим… хе-хе…

# XI

Спиридон Иваныч Редкин был типичным дополнением «академии». Он являлся в роли шакала, когда чуял легкую добычу, как в данном случае. Заказывая романы, повести, сборники и мелкие брошюры, он вопрос о гонораре оставлял «впредь до усмотрения». Когда приносили совсем готовую рукопись, Спирька чесал в затылке, морщился и говорил:

– А ведь мне не нужно твоего романа…

– Как не нужно? Ведь вы же заказывали, Спиридон Иваныч…

– Разве заказывал? Как будто и не упомню… Куды мне с твоим романом, когда своего хлама не могу сбыть.

Это было стереотипное вступление, а затем, поломавшись по положению, Спирька говорил:

– Ну, уж для тебя только возьму… На затычку уйдет.

Под рукопись выдавался такой микроскопический аванс, что даже самая скромная бактерия наверно умерла бы с голоду. Остальные деньги следовали «по напечатании» и тоже выдавались аптекарскими дозами, причем Спирька любил платить натурой, то есть предметами первой необходимости, как шуба, пальто, сапоги и другие принадлежности костюма, причем в его пользу оставался известный процент, по соглашению с лавочником. Платить наличными деньгами Спирька терпеть не мог и вытягивал жилы мелкими подачками. И все-таки в минуту жизни трудную Спирька являлся для «академии» якорем спасения, и все его любили. Вот по части угощения Спирька ничего не жалел, и его появление служило синонимом дарового праздника. Спирька систематически спаивал всю «академию».

Меня удивило открытие, что Фрей пишет романы, – я не подозревал за ним этого таланта.

– Ну, это дело особенное, – объяснил Пепко, – Фрей знает три языка… Выберет что-нибудь из бульварной литературы, переставит имена на русский лад, сделает кое-где урезки, кое-где вставки, – и роман готов. За роман в десять листов он получит со Спирьки рублей семьдесят, а то и все сто. Ничего, можно работать на голодные зубы… Все-таки хоть что-нибудь. Это не то, что мои романсы с а, о и е. Вот подлая вещь… И как это в жизни все происходит роковым образом: прижало человека к стене, а тут враг человеческого рода в лице Порфирыча и подкатится горошком. На, продавай себя в размен…

Пепко находился в ожесточенно-мрачном настроении еще раньше закрытия «Нашей газеты». Он угнетенно вздыхал, щелкал пальцами, крутил головой и вообще обнаруживал несомненные признаки недовольства собой. Я не спрашивал его о причине, потому что начинал догадываться без его объяснений. Раз вечером он не выдержал и всенародно раскаялся в своих прегрешениях.

– То есть такого подлеца, как я, кажется, еще и свет не производил!.. – объяснял Пепко, ударяя себя в грудь. – Да… Помнишь эту девушку с испуганными глазами?.. Ах, какой я мерзавец, какой мерзавец… Она теперь в таком положении, в каком девушке не полагается быть.

– Что же, дело, кажется, очень просто: тебе нужно жениться…

– Жениться? А если я ее не люблю?..

– Об этом следовало, кажется, подумать немного раньше.

– Разве тут думают, несчастный?.. Ах, мерзавец, мерзавец… Помнишь, я говорил тебе о роковой пропорции между количеством мужчин и женщин в Петербурге: перед тобой жертва этой пропорции. По логике вещей, конечно, мне следует жениться… Но что из этого может произойти? Одно сплошное несчастие. Сейчас несчастие временное, а тогда несчастие на всю жизнь… Я возненавижу себя и ее. Все будет отравлено…

Пепко ломал руки и бегал по комнате, как зверь, в первый раз попавшийся в клетку. Мне было и досадно за легкомыслие Пепки, и обидно за него, и жаль несчастной девушки с испуганными глазами.

Пепко волновался целых три дня. Я делал вид, что ничего не замечаю, и это еще больше его смущало. Он, видимо, жаждал какой-нибудь искупительной жертвы за свое грехопадение, а жертвы не было. Я уверен, что он был бы счастлив, если бы кто-нибудь бранил его, оскорблял и особенно если бы кто-нибудь был несправедлив к нему. В последнем случае для него являлась бы некоторая лазейка для самозащиты. Но я хранил упорное молчание, испытывая какое-то болезненное чувство, – пусть Пепко мучится молча и пусть он чувствует, что до его мучений никому нет дела. Есть вещи, которые творятся только с глазу на глаз.

– А, черт… – повторял Пепко, шагая из угла в угол. – Хоть бы нашелся мерзавец, который задушил бы меня.

Затем настроение Пепки вдруг пало. Случилось это утром, когда Федосья подала газету. Пепко пробежал номер, бросил его на пол и заговорил:

– Какие глупости, ежели разобрать…

– Что разобрать?

– Да все… Ведь земля еще вращается на своей оси, солнце еще светит, – следовательно, нет такого положения, из которого не было бы выхода. Во-первых, нужно принять во внимание время, которое является всеисцеляющим врачом и затем, по итальянской пословице, самым справедливым человеком. Да… Затем, я займусь специально самосозерцанием по буддийскому методу. Это, брат, штука… Во мне вселенная и, следовательно, во мне же вся правда и вся неправда целого мира; а если это во мне, то я могу быть хозяином того и другого. В-третьих, то есть, наконец, всякое настроение можно уравновесить внешними впечатлениями. Это третье является единственным средством, и поэтому…

Пепко поднял газету с полу и прочитал:

– «Прощальный бенефис дивы… Патти.[13] уезжает… Идет опера „Динора“[14] Знаменитый дуэт Патти и Николини[15]». Как ты полагаешь относительно этого?

– Ничего я не полагаю, потому что у нас нет ни билетов, ни денег.

– Вздор!.. Все это вещи и понятия относительные. У меня есть два рубля…

– У меня около этого…

– И отлично. Четыре целковых обеспечивают вполне порядочность… Сегодня же мы будем слушать «Динору», черт возьми, или ты наплюй мне в глаза. Чем мы хуже других, то есть людей, которые могут выбрасывать за абонемент сотни рублей? Да, я буду слушать Патти во что бы то ни стало, хоть бы земной шар раскололся на три половины, как говорят институтки.

Психология Пепки отличалась необыкновенно быстрыми переходами от одного настроения к другому, что меня не только поражало, но до известной степени подчиняло. В нем был какой-то дремавший запас энергии, именно то незаменимое качество, когда человек под известным впечатлением может сделать что угодно. Конечно, все зависело от направления этой энергии, как было и в данном случае.

Вечером мы отправились в Большой театр, где играла итальянская труппа. Билетов у нас не было, но мы шли с видом людей, у которых есть абонемент. Прежде всего Пепко отправился в кассу, чтобы получить билет, – расчет был настолько же верный, как возвращение с того света.

– А, черт… – обратился Пепко. – Идем в пятый ярус!

Мы поднялись по бесчисленным лестницам к знаменитой «коробке», где изнывали счастливцы, получившие билеты ценой целонощного стояния в цепи у кассы. Пепко довольно развязно обратился к расшитому капельдинеру.

– Можно-с… – ответил театральный холуй, меряя нас взглядом с ног до головы. – Пять рублей с персоны…

– За что?

– А постоять у двери… Все будет слышно.

У нас было на двоих всего четыре рубля, и поэтому предложение капельдинера не могло быть осуществимо. Пепко заскрипел от ярости зубами, обругал капельдинера, и мы быстро ретировались во избежание дальнейших недоразумений.

– А я все-таки буду в театре, – повторял Пепко, спускаясь по лестнице. – Ведь другие будут же слушать… Затем, два рубля тоже что-нибудь значат.

Спустившись, мы остановились у подъезда и начали наблюдать, как съезжается избранная публика, те счастливцы, у которых были билеты. Большинство являлось в собственных экипажах. Из карет выходили разряженные дамы, офицеры, привилегированные мужчины. Это был совершенно особенный мир, который мы могли наблюдать только у подъезда. У них были свои интересы, свои разговоры, даже свои слова.

– Ах, какая красавица… – восхищался Пепко, наблюдая каждую даму.

– Идем домой, Пепко…

– Нет, я должен быть там, в театре…

Мы простояли на подъезде с полчаса, и только с неба могла свалиться возможность попасть в заколдованный круг. И такая возможность пришла в лице простого мужика в нагольном полушубке.

– Вам госпожу Патти желательно посмотреть? – заговорил мужик, обращаясь к нам.

– Да…

– В лучшем виде: полтора целковых с рыла.

– У тебя есть билеты?

– Какие там билеты… Прямо на сцену проведу. Только уговор на берегу, а потом за реку: мы поднимемся в пятый ярус, к самой «коробке»… Там, значит, есть дверь в стене, я в нее, а вы за мной. Чтобы, главное дело, скапельдинеры не пымали… Уж вы надейтесь на дядю Петру. Будьте, значит, благонадежны. Прямо на сцену проведу и эту самую Патти покажу вам, как вот сейчас вы на меня смотрите.

Предложение было более чем соблазнительно, и мы покорно последовали за дядей Петрой опять в пятый ярус.

Второй подъем даже для молодых ног на такую фатальную высоту труден. Но вот и роковой пятый ярус и те же расшитые капельдинеры. Дядя Петра сделал нам знак глазами и, как театральное привидение, исчез в стене. Мы ринулись за ним согласно уговору, причем Пепко чуть не пострадал, – его на лету ухватил один из капельдинеров так, что чуть не оторвал рукав.

– А, черт… Чуть на язык не наступил, – ругался Пепко, шагая в темноте по узкой чердачной лестнице.

Еще одно мгновение, и мы на потолке Большого театра, представлявшем собой громадный сарай размером в хороший манеж. Посредине из широкого отверстия воронкой шел свет от главной люстры. Несколько рабочих толпились около этого отверстия, точно сказочные гномы.

– Теперь, брат, шабаш!.. – заявлял торжествовавший дядя Петра. – Теперь вот скапельдинерам…

Он показал рукой символически-обидную фигуру и хрипло захохотал. «Скапельдинеры» были посрамлены, а мы торжествовали.

– Валяй, братцы, за мной, – командовал дядя Петра, шагая мимо рабочих. – Прямо на колосники предоставлю.

Наше похождение принимало фантастический характер, напоминая бегство из какой-нибудь средневековой тюрьмы. Мы шли по потолку, испытывая странное ощущение: вот сейчас под нашими ногами три тысяча избраннейшей публики, тот «весь Петербург», который пользуется всевозможными привилегиями на существование, любезно предоставляя остальному Петербургу скорлупки безвестного существования. В отверстие спущенной люстры доносился глухой, подавленный гул тысячной толпы, – мы точно шли по крышке котла с начинавшей уже кипеть водой.

– Сюды!.. – кричал дядя Петра, скрываясь в дальнем конце потолка, где было совершенно темно. – Надейтесь на дядю Петру. Левее держи…

Дальнейшее путешествие приняло несколько фантастический характер. Мы очутились на краю какой-то пропасти. Когда глаз несколько привык к темноте, можно было различить целый ряд каких-то балок и дядю Петру, перелезавшего через них.

– Послушай, куда ты нас ведешь? Ведь этак шею можно сломать!

– Держи направо, – слышался голос дяди Петра, – самого его уже не было видно.

Мы ползли в темноте, цепляясь за какие-то бревна, доски и выступы. В некоторых местах приходилось в буквальном смысле ползти на четвереньках.

– А, черт… Коленку ушиб, – ругался Пепко.

– Забирай левее! – командовал дядя Петра.

Наконец, мы увидели сцену, то есть слабое светлое пятно, которое чуть брезжило на дне пропасти. Спуститься в темноте с высоты пятого яруса было делом нелегким и рискованным, но молодость счастлива тем, что не рассуждает в таких случаях. Через десять минут головоломного путешествия в темноте мы, наконец, достигли «колосников». Это была узкая галерея, которая проходила над сценой сбоку. Кругом нас висел целый лес декораций, деревянные валы, которыми поднимали и опускали эти декорации, и целая сеть веревок, точно на каком-то корабле. Самая сцена была сейчас у нас под ногами. Там происходила ужасная суматоха, потому что устанавливали учениц и учеников театрального училища в красивые группы.

– Сейчас занавес дадут, – объяснял дядя Петра. – Вот он, Адам-то Адамыч бегает… седенький… Это наш машинист. Нет, брат, шалишь: «Динора» эта самая наплевать, а вот когда «Царь Кандавл[16]» идет, ну, тогда уж его воля, Адама Адамыча. В семь потов вгонит… Балеты эти проклятущие, нет их хуже.

Поднялся занавес, заиграл оркестр, хор что-то запел.

– Вот она, Патти, за кулисой сидит… платочком закрывается.

Это была она, знаменитая дива… С высоты колосников можно было видеть маленькую женскую фигурку, кутавшуюся в теплый платок. Ее появление на сцене вызвало настоящую бурю аплодисментов. Говорить о том, как поет Патти, – излишне. Особенно хороши были дуэты с Николини. Увы! нынче уж так не поют…

Мы добились цели и прослушали всю оперу. После спектакля на бесчисленные вызовы Патти исполнила знаменитого «Соловья» и еще какие-то номера.

– Теперь валяй за мной на сцену, – командовал дядя Петра.

Мы повиновались. Спуск с колосников шел по винтовой железной лестнице. В зале буря не смолкала. Мы шли по сцене, прошли к тому месту, где сидела дива. Мы остановились в двух шагах. Худенькая, смуглая, почти некрасивая женщина очень небольшого роста. Рядом с ее стулом стоял представительный господин во фраке.

– Это Патти, – указывал дядя Петра на диву, – а это ейный муж… По-русски ничего не

понимают. А поправее-то господин Николини…

Из-за декоративного куста роз мы с Пепкой могли любоваться всей зрительной залой. Да, вот он, этот весь Петербург, те избранники, которые наслаждаются всеми благами жизни. Я посмотрел на Пепку, – у него было самое мрачное выражение, губы стиснуты, брови нахмурены. Для меня было ясно, о чем он думал: мы должны завоевать этот весь Петербург и прорваться в этот круг избранников и баловней судьбы. Я почему-то припомнил старика фельдшера, жужжавшего мухой, бойкого провизора, нашу «академию», «Федосьины покровы», наших новых знакомых девиц, – все это было так мизерно, жалко, ничтожно… В душе шевельнулось нехорошее завистливое чувство, – это была та ржавчина, которая въедается в молодое сердце…

# XII

Ввиду надвигавшихся экзаменов мне приходилось серьезно подумать о средствах, чтобы обеспечить себе свободных месяца два. Я ухватился за совет Фрея, хотя при этом приходилось вступить в некоторую сделку с самим собой, даже почти изменить себе, то есть изменить роману. Вместо идейной вещи приходилось писать на заказ, писать из-за куска хлеба. Чтобы успокоить себя до некоторой степени, я закончил вторую часть романа и в этом виде снес рукопись в редакцию одного «толстого» журнала. Нужно сознаться, что я испытывал сильное волнение, отдавая свое детище на нелицеприятный суд редакции. Это совершенно особенное чувство: ведь ничего дурного нет в том, что человек сидит и пишет роман, ничего нет дурного и в том, что он может написать неудачную вещь, – от неудач не гарантированы и опытные писатели, – и все-таки являлось какое-то нехорошее и тяжелое чувство малодушия. Я скрыл от Пепки свой решительный шаг и мучился в одиночку. Что-то будет?.. Вообще нет ничего тяжелее и мучительнее ожидания, а тут приходилось ждать целый месяц, – редакция была завалена рукописями.

«Э, все равно! – храбрился я про себя. – Не боги горшки обжигают…»

Сделав один решительный шаг, я сейчас же отважился на другой и засел писать рассказ по рецепту Фрея.

– Вот что, молодой человек, – советовал полковник, интересовавшийся моей работой, – я давно болтаюсь около литературы и выработал свою мерку для каждой новой вещи. Возьмите страницу и сосчитайте сколько раз встречаются слова «был» и «который». Ведь в языке – весь автор, а эти два словечка рельефно показывают, какой запас слов в распоряжении данного автора. Языку, конечно, нельзя выучиться, но нужно относиться к нему с крайней осторожностью. Нужна строгая школа, то, что у спортсменов называется тренировкой.

Воспользовавшись фабулой одного уголовного происшествия, я приступил к работе. Пепко опять пропадал, и я работал на свободе. Через три дня рукопись была готова, и я ее понес в указанный Фреем маленький еженедельный журнальчик. Редакция помещалась на Невском, в пятом этаже. Рукописи принимал какой-то ветхозаветный старец, очень подержаный и забитый. Помещение редакции тоже было скромное и какое-то унылое.

– Зайдите через недельку, – проговорил старец каким-то затхлым голосом.

Еще ожидание… Впрочем, терпеть зараз всегда легче, и неделя прошла быстрее, чем я ожидал. Прихожу за ответом. Старец узнал меня, пригласил сесть и сказал:

– Иван Иваныч хотел переговорить с вами.

Иван Иваныч был сам редактор, и у меня екнуло сердце, как у рыбака, когда крупная рыба пошевелит поплавок. Через минуту в редакцию вошел высокий, полный господин лет пятидесяти. Он смерял меня с ног до головы, обратил особое внимание на мои высокие сапоги и проговорил:

– Это ваш рассказец?

– Да, мой…

– Первая вещь, если не ошибаюсь?

– Да…

– Так-с…

Он взял со стола рукопись, как-то презрительно взвесил ее на руке и проговорил:

– У меня материалу, батенька, на три года вперед… Да. Недавно мне одна барыня принесла повестушку… Повестушка-то так себе, а вот название ядовитое: «Поцелуй Иуды». Как это вам нравится? Хе-хе… Вот так барыня!

Взвесив еще раз мое произведение, он проговорил устало-равнодушным тоном:

– Ваша вещица… гм… ничего, уйдет на затычку; какие ваши условия?

– Право, не знаю… Как хотите.

Моя беззащитность, видимо, тронула принципала, и он решил:

– Тридцать рублей за печатный лист…

– Хорошо.

У меня колесом вертелась в голове роковая фраза: «на затычку»; я чувствовал, что начинаю краснеть, и поэтому поспешил откланяться.

– Послушайте, господин Попов, – остановил меня редактор. – Дело к празднику идет, вы, наверно, нуждаетесь в деньгах, и я могу вам заплатить вперед… Петр Васильич, подсчитайте.

Ветхозаветный старец быстро принялся считать строки и буквы моей рукописи, слюнявя пальцы.

– Вы студент? Так-с… – занимал меня Иван Иваныч. – Что же, хорошее дело… У меня был один товарищ, вот такой же бедняк, как и вы, а теперь на своей паре серых ездит. Кто знает, вот сейчас вы в высоких сапогах ходите, а может быть…

– Тридцать рублей-с, – прервал старец готовившееся предсказание. – Ровно-с печатный лист…

– Выдайте деньги молодому человеку… Да, так своя пара серых, а был беден, как Иов. Бывает…

Получив деньги, я выскочил из редакции в каком-то чаду. Целых тридцать рублей, первый настоящий литературный гонорар, – я даже простил Ивану Иванычу его «на затычку». Дело происходило за три дня до пасхи, когда весь Петербург охвачен радостной тревогой. Окна всех магазинов декорированы самыми соблазнительными вещами, публика спешит с разными

свертками и коробками, в самом воздухе чувствуется какая-то радость, обидная для тех, кто не может принять в ней участия даже косвенным образом. Именно в таком настроении я шел в редакцию, а возвращался крезом, сжимая в кулаке право на существование. Да здравствует милый Иван Иванович!.. Много прошло времени с этого решительного момента, через мои руки прошло немало денег, но никогда они не были мне так дороги, как именно эти тридцать рублей. Говорят, что первая ласточка не делает весны, – это глубоко несправедливо…

С деньгами я отправился прямо в портерную, где и сообщил «академии» о неожиданно свалившемся счастье.

– Удивительно, как это расступился Иван Иваныч, – заметил сдержанно Фрей. – Говоря между нами, он порядочная собачья жила… А впрочем, хорошо то, что хорошо кончается.

В качестве счастливчика, которому покровительствовала сама судьба, я должен был выставить «академии» целую дюжину пива. Эта жертва была принята с благодарностью. Откуда-то явился Порфир Порфирыч, слышавший верхним чутьем, где пьют.

– Alea jacta est,[17] – проговорил он. – Посвящается раб Божий Василий во псаломщика от литературы… Дай Бог нашему теляти волка поймати. А впрочем, не в этом дело, юноша… Блюди, юноша, дух прав и сердце смиренно. Одним словом – ура!..

Мне сделалось даже совестно фигурировать в роли именинника, потому что другие сидели без работы; это было черной точкой на моем литературном горизонте.

Воспользовавшись нахлынувшим богатством, я засел за свои лекции и книги. Работа была запущена, и приходилось работать дни и ночи до головокружения. Пепко тоже работал. Он написал для пробы два романса и тоже получил «мзду», так что наши дела были в отличном положении.

– Продажный поэт… – с горечью карал самого себя Пепко. – Да, продажа священного вдохновения по мелочам… Э, все равно!..

В разгар этой работы истек, наконец, срок моего ожидания ответа «толстой» редакции. Отправился я туда с замирающим сердцем. До некоторой степени все было поставлено на карту. В своем роде «быть или не быть»… В редакции «толстого» журнала происходил прием, и мне пришлось иметь дело с самим редактором. Это был худенький подвижный старичок с необыкновенно живыми глазами. Про него ходила нехорошая молва, как о человеке, который держит сотрудников в ежовых рукавицах. Но меня он принял очень любезно.

– Читал, читал ваш роман… да, – заговорил он, суетливо роняя слова. – Трудно сказать что-нибудь сейчас… да, трудно. Это только первая половина, а когда кончите, тогда и рассмотрим окончательно.

– Мне хотелось бы знать ваше мнение…

– Мое мнение? У вас слишком много описаний… Да, слишком много. Это наша русская манера… Пишите сценами, как делают французы. Мы должны у них учиться… Да, учиться… И чтобы не было этих предварительных вступлений от Адама, эпизодических вставок, и вообще главное достоинство каждого произведения – его краткость. Мы работаем для нашего читателя и не имеем права отнимать у него время напрасно.

Меня этот полуответ мало удовлетворил, и я снес рукопись в другой «толстый» журнал, пользовавшийся репутацией необыкновенной солидности. Через две недели его редактор

говорил мне:

– Главный недостаток вашего романа в том, что слишком много сцен и мало описаний…

# XIII

– «Выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался, – декламировал Пепко, выглядывая в форточку, – и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса»… Есть! «Вон даль голубая видна», то есть, в переводе на прозу, забор. А вообще – тьфу!.. А я все-таки испытываю некоторое томление натуры… Этакое особенное подлое чувство, которое создано только для людей богатых, имеющих возможность переехать куда-нибудь в Павловск, черт возьми!..

По обыкновению, Пепко бравировал, хотя в действительности переживал тревожное состояние, нагоняемое наступившей весной. Да, весна наступала, напоминая нам о далекой родине с особенной яркостью и поднимая такую хорошую молодую тоску. «Федосьины покровы» казались теперь просто отвратительными, и мы искренне ненавидели нашу комнату, которая казалась казематом. Все казалось немилым, а тут еще близились экзамены, заставлявшие просиживать дни и ночи за лекциями.

– Знаешь что? Мы сегодня будем дышать свежим воздухом, – заявил Пепко раз вечером с таким видом, точно хотел выстрелить. – Да, будем дышать, и все тут. Судьба нас загнала в подлую конуру, а мы назло ей вот как надышимся! Всю гигиену выправим в лучшем виде.

– Куда же мы пойдем? В Александровский парк?..

– Тоже хватил: в парк! Нет, я на этом не помирюсь. Закатим прямо на острова… Вообще будем вести себя, как прилично порядочным молодым людям. Теперь самое модное место – pointe[18] на Елагином; ну, туда и отправимся посмотреть, как будет садиться наше солнце, ибо сегодня оно будет принадлежать нам по праву захвата и труда. Мы заработаем собственными ногами наш закат… Кстати, у тебя не найдется ли несколько крейцеров на конку? Нет? Ну, наплевать… Я где-то читал в газетине, что теперь мода совершать прогулки пешком; значит, будем жить по последней моде. У меня есть священный пятачок, который я сберегу на бутылку квасу… Все порядочные люди пьют изысканные напитки, а мы прикинемся славянофилами и будем отдуваться квасом принципиально. У меня в каждом деле принцип на первом месте…

Мы отправились по Каменноостровскому проспекту, который по вечерам в конце апреля имеет какой-то особенно задорный и бойкий вид. Мчится целая вереница щегольских экипажей, летят кавалькады, гремят конки, выбиваются из сил извозчичьи лошади, – все движется, живет и торопится жить. В самом воздухе есть что-то бодрое, оживляющее, подающее какую-то смутную надежду. Мы были совершенно счастливы, что могли двигаться вместе с другими, хотя и с меньшей инерцией. Важна цель, а средства для ее достижения в данном случае имели совершенно условное значение. Пепко принял беззаботный вид гуляющего человека и шел, помахивая дешевенькой тросточкой, приобретенной в табачном магазине в минуту безумной роскоши.

– Я дышу, следовательно – я существую, – говорил он, когда мы шагали по Крестовскому острову. – Ах, как хорошо, Вася!.. Мы будем каждый день делать такую прогулку. Положим себе за правило…

– Это не предусмотрено проспектом нашей жизни, Пепко.

– К черту всякие проспекты! Зачем добровольно стеснять собственную свободу, когда и без

того до усов всякой неволи? Я хочу быть вольным, как птица…

В доказательство этой последней мысли Пепко галантно раскланялся с двумя шикарными дамами, катившими полулежа в шикарном «ланде». Они даже не повернули головы в нашу сторону, приняв нас, вероятно, за оборванцев, и быстро исчезли в облачке пыли, гнавшемся за ними. Пепко глухо расхохотался.

– Впрочем, они имеют полное право меня презирать и не отвечать на мой поклон, – резонировал он, – гусь свинье не товарищ… да. Посмотрим, что они скажут, когда я сам поеду в собственном ландо.

– А когда это будет?

– Знаешь поговорку: кто не женится до тридцати лет и кто не наживет миллиона до сорока лет, тот никогда не женится и никогда ничего не будет иметь.

– Я все-таки не понимаю, для чего тебе именно ландо?

– Как для чего? А вот показать им всем, что и я могу ездить, как они все, и что это ничего не стоит. Да… Вот я теперь иду пешком, а тогда развалюсь так же, закурю этакую регалию… «Эх, птица тройка! Неситесь, кони»… Впрочем, это из другой оперы, да и я сейчас еще не решил, на чем остановиться: ландо, открытая коляска или этакого английского черта купить.

Увы! Пепко так и не разрешил этого мудреного вопроса. Его кровные рысаки носились в области юношеской болтливости, а верх благополучия совпал с ездой на самой обыкновенной извозчичьей кляче.

Мы долго любовались красавицей Невой. Как она здесь хороша, эта чудная река, такая спокойная, могучая и всегда красивая! Водная гладь только кой-где рябилась, стрелой неслись финляндские пароходики, чертили воду десятки лодок, – одним словом, жизнь кипела. Деревья стояли еще голые, и только пушились одни ивняки, да кой-где высыпала яркозеленая весенняя травка. В воздухе чувствовался смолистый горьковатый аромат назревших почек, особенно когда неизвестно откуда точно дохнет прямо в лицо теплый весенний ветерок.

На point'е набралось уже столько публики, что мы не нашли свободного места на скамейках. Дорога была загромождена экипажами, и прибывали все новые. Мы очутились в лучшем обществе, которое видели зимой в итальянской опере. Да, этот богатый, жуирующий, пресыщенный Петербург был здесь налицо, рядом с нами и вместе с тем как он был неизмеримо далек от нас! «Наше солнце» уже близилось к горизонту багровым раскаленным шаром, точно невидимая рука хотела опустить его в Финский залив, чтобы охладить немного. Раскинувшаяся морская гладь манила и звала, навевая приятную тоску – это был, так сказать, аппетит воли, простора и движения. В крайнем случае получался контраст с нашим забором, ревниво заслонявшим от наших глаз все перспективы и даже нижнюю часть неба. А как красиво летели по заливу маленькие яхточки, окрыленные косыми парусами – настоящие птицы… С моря потягивало свежим воздухом, где-то в камышах морская волна тихо сосала иловатый берег, на самом горизонте тянулись дымки невидимых морских пароходов, а еще дальше чуть брезжился Кронштадт своими шпицами и колокольнями…

Меня удивило, что Пепко отнесся совершенно безучастно к закату «нашего солнца», а занят был главным образом рассмотрением пуантовой «зоологии». По крепко сжатым губам и нахмуренным бровям было видно, что он серьезно думал о чем-то.

– Да, они живут… – как-то вздохнул он, точно просыпаясь. – И стоит жить, черт возьми!.. Жизнь

хороша, если брать ее, а не поддаваться ей… И знаешь, для чего стоит жить?

– Для истины, добра и красоты!

– Э, вздор, старая эстетика! Вот для чего стоит жить, – проговорил он, указывая на красивую даму, полулежавшую в коляске. – Для такой женщины стоит жить… Ведь это совсем другая зоологическая разновидность, особенно по сравнению с теми дамами, с которыми нам приходится иметь дело. Это особенный мир, где на первом месте стоит кровь и порода. Сравни извозчичью клячу и кровного рысака – так и тут.

– Послушай, Пепко, это довольно забавный юнкерский аристократизм, цель которого – любовь аристократки.

– Нет, не то… Положим, я простой дворняга, но это мне не мешает чувствовать красоту вот таких гордых, холодных и красиво-недоступных патрицианок. Ведь это высшая форма полового подбора…

– Ты это серьезно?

– Совершенно серьезно… Ведь это только кажется, что у них такие же руки и ноги, такие же глаза и носы, такие же слова и мысли, как и у нас с тобой. Нет, я буду жить только для того, чтобы такие глаза смотрели на меня, чтобы такие руки обнимали меня, чтобы такие ножки бежали ко мне навстречу. Я не могу всего высказать и мог бы выразить свое настроение только музыкой.

Пепко даже поник грустно головой, а потом прибавил совершенно другим тоном:

– А знаешь, как образовалась эта высшая порода людей? Я об этом думал, когда смотрел со сцены итальянского театра на «весь Петербург», вызывавший Патти… Сколько нужно чужих слез, чтобы вот такая патрицианка выехала в собственном «ланде», на кровных рысаках. Зло, как ассигнация, потеряло всякую личную окраску, а является только подкупающе-красивой формой. Да, я знаю все это и ненавижу себя, что меня чаруют вот эти патрицианки… Я их люблю, хотя и издали. Я люблю себя в них…

– Вот что, Пепко, пойдем-ка домой, пока ты окончательно не зарапортовался. Я что-то плохо начал понимать тебя…

Пепко только вздохнул и уныло поплелся за мной. Солнце уже давно закатилось, патрицианки разъехались по своим палаццо, а на Неве замигали красные огоньки сновавших там и сям пароходов и яликов. Мягкий весенний сумрак окутывал голые деревья; где-то шарахнулся сонный грач; неприятно-резкий свист парохода разрезал засыпавший воздух, точно удар бича. Мы шли долго молча, и я думал о том, какой странный человек мой друг Пепко, это олицетворение всевозможных противоречий. Последним номером в скале этих странностей явился апофеоз патрицианства и стремление к нему. Положим, что все это были одни разговоры, но, проверяя себя, я не мог скрыть, что Пепко до известной степени прав. Я думал о наших знакомых дамах, и это сравнение было не в их пользу. С другой стороны, меня возмущала откровенность Пепки, и я спросил, чтобы поязвить его:

– Кстати, что твоя любовь?

– В каком смысле любовь? В прямом или переносном?

– И в том и в другом…

Пепко махнул рукой и засмеялся.

– Это была просто глупость, – проговорил он. – Вернее сказать, фальсификация…

– Однако ты говорил, что эта девушка…

– То есть это она меня уверяла, а в действительности ничего не оказалось. Я поставил уже точку…

– Кажется, даже двоеточие?

– А, черт!.. Терпеть не могу баб, которые прилипают, как пластырь. «Ах, ох, я навеки твоя»… Мне достаточно подметить эту черту, чтобы такая женщина опротивела навеки. Разве таких женщин можно любить? Женщина должна быть горда своей хорошей женской гордостью. У таких женщин каждую ласку нужно завоевывать и поэтому таких только женщин и стоит любить.

– Да, все это патрицианская философия, а нужно спросить, что чувствует та девушка, которая, может быть, любит тебя…

– Послушай, что ты привязался ко мне? Это, понимаешь, скучно… Ты идеализируешь женщин, а я – простой человек и на вещи смотрю просто. Что такое – любить?.. Если действительно человек любит, то для любимого человека готов пожертвовать всем и прежде всего своей личностью, то есть в данном случае во имя любви откажется от собственного чувства, если оно не получает ответа.

– Это софизм и очень даже некрасивый софизм…

– Отстань!

В наших голосах послышалось раздражение, и мы остальную часть пути сделали молча, позабыв даже о бутылке квасу, которою должен был завершиться наш пикник. Когда мы подходили уже к своему Симеониевскому мосту, Пепко неожиданно заявил:

– А мы после экзаменов переезжаем на дачу…

– Это очень интересно, но как и куда?

– Э, вздор!.. Свет не клином сошелся.

У меня оставалось легкое раздражение по отношению к Пепке, и поэтому мы опять замолчали. Это же молчание мы принесли в свою конуру, молча разделись и молча улеглись спать.

– Какое прекрасное изобретение сон, говорил Санхо Панчо! – сонным голосом бормотал Пепко, поворачиваясь лицом к стене.

У меня вдруг мелькнула мысль, которая разогнала охватывавшую дремоту.

– Пепко, ты спишь?

– Мм… а?..

– А я не поеду с тобой на дачу, потому что это… это замаскированное бегство с твоей стороны. Я отлично понимаю… Ты хочешь скрыться на лето от этой несчастной девушки и

рассчитываешь на время, которое поправит все.

Пепко тяжело повернулся на своей кровати и проворчал:

– Представь себе, милый мой мальчик, что ты угадал… Покойной ночи, милейший!..

# XIV

Я мечтал летом пробраться в свои степи; это повторялось каждую весну, и каждую весну эта надежда разбивалась о главное препятствие: не было денег на поездку. Таким образом, мне пришлось провести два ужасных лета в Петербурге, и я утешал себя только расчетами на третье. Но – увы! – и этой мечте не суждено было сбыться… Как раз перед последним экзаменом я получил письмо от отца, в котором было так много хороших советов и не было денег на поездку. Деньги, проклятые деньги! они отнимают у нас даже родное небо, родное солнце, ласки любимых людей, – одним словом, все хорошее и самое дорогое. Я очень любил и уважал отца. Это был простой и добрый, но строгий человек, смотревший на жизнь серьезно. «Перебейся как-нибудь лето в Питере, – писал он, – конечно, это тебе покажется скучным, но нужно примириться… Сколько есть людей, которые всю жизнь мечтают попасть в Петербург, чтобы посмотреть своими глазами на его чудеса, да так и остаются в своей глуши. Пользуйся случаем… Кончишь курс, поступишь в провинцию на службу, и еще неизвестно, удастся ли тебе в другой раз видеть знаменитую столицу». Милый старик, как он мило ошибался… Чудеса Петербурга – верх наивности. С какой радостью я послал бы к черту эти чудеса, чтобы умчаться туда, на дорогую родину.

– Ну, что пишет старик? – угрюмо спрашивал Пепко, не поднимая головы от своих лекций.

– Ничего особенного… Кстати, ты как-то говорил о даче. Если бы…

Пепко поднял голову, посмотрел на меня и проговорил с решительным видом:

– Дача должна быть… Ведь живут же другие люди на дачах, следовательно, и мы должны жить.

– Все это – отвлеченные рассуждения, Пепко.

– Рассуждения? Ты не знаешь простой истины, что человеку только стоит захотеть, и он все может сделать. Решительно все… Вот тебе пример: человека посадят в тюрьму, запрут железной дверью, поставят к двери часового. Стены толстые, каменные, окошко маленькое, с железной решеткой, пол каменный, – одним словом, каменный мешок. И все-таки люди уходят из тюрьмы… А почему? Потому что умеют сосредоточить свое внимание на одном пункте. Сидит человек год, два, три и все думает об одном, и уйдет в конце концов, потому что у него явится такая комбинация, которая не снилась во сне ни архитектору, строившему тюрьму, ни бдительному начальству, стерегущему ее, ни одному черту на свете. Кстати, в этом вся психология творчества, – именно, чтобы уметь сосредоточить свое внимание на одной точке до того, чтобы вызвать живые образы… Да, так это я так, a part.[19] А дело в том, что если арестанты могут убегать из тюрем, то сколь проще и естественнее найти себе дачу и устроиться на ней, подобно другим дачным человекам. Я сказал: дача будет, она должна быть…

Милый Пепко, как он иногда бывал остроумен, сам не замечая этого. В эти моменты какого-то душевного просветления я так любил его, и мне даже казалось, что он очень красив и что женщины должны его любить. Сколько в нем захватывающей энергии, усыпанной блестками неподдельного остроумия. Во всяком случае, это был незаурядный человек, хотя и с большими

поправками. Много было лишнего, многого недоставало, а в конце концов все-таки настоящий живой человек, каких немного.

Да здравствует весна, любовь и… и Третье Парголово!.. Недавно я был там, почти через двадцать лет, и не узнал когда-то знакомых мест. Со мной вместе шли мои сорок лет, и через их дымку я видел только старые лица, старых знакомых, давно минувшие события, сцены, мысли и чувства. Да, я нес с собой воспоминания и чувствовал себя пришлецом из другого мира. И никому-никому не было дела до моих старческих воспоминаний… Я почувствовал себя чужим, и сорокалетнее сердце сжалось от тоски, какую нагоняет солнечный закат. Да, они уже не вернутся, эти молодые грезы, иллюзии, надежды, улыбки, взгляды молодых глаз, беззаботный смех, молодые лица… Где они? Пепко прав, что жизнь – ужасная вещь, и, бродя по нынешнему Третьему Парголову, я больше всего думал о нем, моем alter ego, точно и сам я умер, а смеется, надеется, думает, любит и ненавидит кто-то другой… Да, эти другие уже пришли на смену, я видел их и в их глазах прочитал собственный смертный приговор. И они правы, потому что жизнь принадлежит им, хотя и течет по руслу, вырытому покойниками. Какая это ужасная мысль, что мир управляется именно покойниками, которые заставляют нас жить определенным образом, оставляют нам свои правила морали, свои стремления, чувства, мысли и даже покрой платья. Мы бессильны стряхнуть с себя это иго мертвых… Вон, например, дачная девушка в летнем светлом платье; как она счастлива своими семнадцатью годами, румянцем, блеском глаз, счастлива мыслью, что живет только она одна, а другие существуют только так, для декорации; счастлива, наконец, тем, что ей еще далеко до психологии старых пней и сломанных бурей деревьев. Милые девушки, вы убеждены, что вам будет всегда семнадцать лет, потому что вы еще не испытали долгих-долгих бессонных ночей, когда к бессонному изголовью сходятся призраки прошлого и когда начинают точить заживо «господа черви»…

Светлый весенний майский день. Петербургская природа долго и добросовестно делала усилие, чтобы показаться весенней. В результате получилась улыбка больного, которому переменяют лекарство, а с переменой дают и некоторую надежду. Но эта немного больная петербургская весна была скрашена двадцатью годами, и молодые глаза дополняли недочеты действительности некоторой игрой воображения. С каким решительным видом ходил Пепко по Финляндскому вокзалу, как развязно заглядывал он на молоденьких женщин и, наконец, резюмировал свое настроение:

– Знаешь что, мне так хочется жить, что даже совестно… Я бы любил вот всех этих женщин, обнял бы всех железнодорожных чухонцев и, наконец, выпил и съел бы весь буфет первого класса, то есть что там можно выпить и съесть. Во мне какая-то безумная алчность проглотить зараз всю огромность жизни…

Я удивляюсь одному, как это раньше мне не пришла мысль о даче. Просидеть два лета в Петербурге, слоняясь по паркам и островам, когда одна такая поездка уже чего стоит. Мне нравился и вокзал, и суетившаяся на нем публика, и чистенькие чухонские вагоны. Поезд летит, мелькают какие-то огороды, вправо остается возвышенность Лесного, Поклонная гора, покрытая сосновым лесом, а влево ровнем-гладнем стелется к «синему морю» проклятое Богом чухонское болото. Вот и первые дачи с своим убогим кокетством, чахлыми садиками и скромным желанием казаться безмятежным приютом легкого дачного счастья. А мне они нравятся, вот эти дачи, кое-как слепленные из барочного леса и напоминающие собой скворечницы, как дачники напоминают скворцов, а больше всех такими скворцами являемся мы с Пепкой.

– Вот и девятая верста, – ворчит Пепко, когда мы остановились на Удельной. – Милости просим, пожалуйте… «Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд,[20] у

которого украли маймисты сивую лошадь. Пожалуйте»… Гм… Все там будем, братику, и это только вопрос времени.

Трагическое настроение, накатившее на Пепку, сейчас же сменилось удивительным легкомыслием. Он надул грудь, приосанился, закрутил усы, которые в «академии» назывались лучистой теплотой, и даже толкнул меня локтем. По «сумасшедшей» платформе проходила очень красивая и представительная дама, искавшая кого-то глазами. Пепко млел и изнывал при виде каждой «рельефной» дамы, а тут с ним сделался чуть не столбняк.

– Ах, какая красавица!.. – шептал он, набирая воздуха. – Я сейчас положу к ее ножкам свое многогрешное сердце. Не поедем дальше… Ей-богу!.. Отправимся в больницу и заявим, что мы дорогой сошли с ума. Вот тебе и даровая дача… Ведь это одна из тех идей, которые имеют полное римское право называться счастливыми. Ах, какая дама, какая дама… Я, кажется, съел бы ее вместе со шляпкой и зонтиком! А муж у нее наверно этакий дохленький петербургский мерзавец… Знаешь, есть самый скверный сорт мерзавцев: такие чистенькие, приличненькие, с тонким ароматцем дорогих заграничных духов, с перстеньками на ручке. Вот у нее такой муж… Ах, какая женщина!..

Пепко всегда жил какими-то взрывами, и мне пришлось серьезно его удерживать, чтобы, чего доброго, действительно не остался в Удельной.

– Ты – несчастная проза, а я наполняю весь мир своими тремя буквами а, о и е! – резюмировал Пепко эту сцену. – А на даму и на ее собственного мерзавца наплевать… Мы еще не таких найдем.

Станция Третьего Парголова имела довольно мизерный вид, как и сейчас. Мы вышли с особенной торопливостью, как люди, достигшие цели или по меньшей мере отчего дома. Пепко сделал предварительную обсервацию дачного места и одобрительно промычал. Здесь уже высились круглые глинистые холмы с глубокими промоинами, а по ним так приветливо лепились крестьянские избенки и дачки-скворечницы. Кое-где зелеными пятнами расплывались редкие садики. Вообще недурно для первого раза, а главное, целых сорок сажен над уровнем «синего моря».

– Сие благопотребно, – решил Пепко, шагая по узенькой тропинке, взбиравшейся желтой лентой по дну одной из промоин. – Возвысимся малую толику…

Тогдашнее Третье Парголово не было так безобразно застроено и не заросло так садами, как нынешнее. Тогда был у него еще вид простой деревни, хотя и сильно попорченной дачными постройками самой нелепой архитектуры. Главное, были еще самые простые деревенские избы, напоминавшие деревню. Мы прошли деревню из конца в конец и нашли сразу то, о чем даже не смели мечтать, – именно, наняли крошечную избушку на курьих ножках за десять рублей за все лето. Это была феноменальная дешевизна даже для того времени, и мы торжествовали, не смея выдать даже своего торжества перед хозяином дачи, здоровенным мужиком.

– Вот тебе задаток… – заявил Пепко, отдавая три рубля с небрежностью настоящего барина.

– Покорно благодарим, господин хороший.

Собственно наша дача состояла из крошечной комнаты с двумя крошечными оконцами и огромной русской печью. Нечего было и думать о таких удобствах, как кровать, но зато были холодные сени, где можно было спасаться от летних жаров. Вообще мы были довольны и лучшего ничего не желали. Впечатление испортила только жена хозяина, которая догнала нас

на улице и принялась жаловаться:

– Зачем вы отдали деньги Алексею? Пропьет их севодни же… А у меня двое ребятишек… Цельное лето ведь я должна с ними биться в хлеву.

– Ты права, женщина, и вот тебе в утешение еще рупь…

Это была наша первая встреча с типичным дачным мужиком.

– У меня такое желание, точно взял бы да что-нибудь изломал, – говорил Пепко, когда мы направились в Шуваловский парк, чтобы провести остаток ins Grune.[21] – А все я… Видишь, как важна определенная идея, в данном случае идея дачи. Виктория!.. За четыре месяца мы заплатили бы Федосье сорок рублей, а тут всего десять. Ничего больше не остается, как пропить остальные деньги. У меня целых десять франков… В сущности говоря, это до того безумно огромная сумма, что ее можно привести в норму только безумным кутежом.

– А тебе не жаль Федосьи, у которой наша комната останется пустой на все лето?

– Что же, мы должны задыхаться для ее удовольствия? Да и эти квартирные первоорганизмы отличаются необыкновенной живучестью, и я подозреваю, что они появляются на свет таинственным самозарождением, как разная плесень и прочая дрянь.

Мы направились в парк через Второе Парголово, имевшее уже тогда дачный вид. Там и сям красовались настоящие дачи, и мы имели удовольствие любоваться настоящими живыми дачниками, копавшими землю под клумбы, что-то тащившими и вообще усиленно приготовлявшимися к встрече настоящего лета. Еще раз, хорошо жить на белом свете если не богачам, то просто людям, которые завтра не рискуют умереть с голода.

– Буржуа, филистеры, вообще сквалыги! – ругался Пепко, почувствовавший себя радикалом благодаря нанятой лачуге. – Счастье жизни не в какой-нибудь дурацкой даче, а в моем я, в моем самосознании, в моем внутреннем мире…

Шуваловский парк привел нас в немой восторг. Настоящие деревья, настоящая трава, настоящая вода, настоящее небо, наконец… Мы обошли все аллеи, полюбовались видом с Парнаса, отыскали несколько совсем глухих, нетронутых уголков и еще раз пришли в восторг. Над нашими головами ласково и строго шумели ели и сосны, мы могли ходить по зеленой траве, и невольно являлось то невинное чувство, которое заставляет выпущенного в поле теленка брыкаться.

– Мне этот парк напоминает XVIII век, – фантазировал Пепко. – Да… Если бы сюда пустить с полдюжины хотя подержанных маркизов да, черт возьми, штучек десять маркиз и столько же пастушек… Го-го! Тсс!..

Пепко издал предупредительное шипенье. Из боковой аллеи прямо на нас вывернулась влюбленная парочка. Она заметно смутилась и задержала ход, он явил пример мужества и повел свою даму прямо на нас: счастливые люди смелы. Пепко пропустил их, оглянулся и проговорил:

– Благословляю вас, mes enfants…[22]

Мы закончили наш первый дачный день в «остерии», как назвал Пепко маленький ресторанчик, приютившийся совсем в лесу. Безумный кутеж состоял из яичницы с ветчиной и шести бутылок пива. Подавала нам какая-то очень миловидная девушка в белом переднике, –

она получила двойное название – доброй лесной феи и ундины. Последнее название было присвоено ей благодаря недалекому озеру.

– Mademoiselle, позвольте выпить за ваше здоровье!.. – галантно предлагал Пепко тост.

Миловидная девушка только улыбнулась, а с ней вместе улыбнулось и все остальное – и парк, и озеро, и даже наша лачуга в Третьем Парголове.

## XV

Переезд на дачу составлял дело одного дня. Два чемодана, две подушки, два одеяла, две лампы и гитара. Наши сборы закончились комическим эпизодом: когда Федосья узнала, что мы едем на дачу, то расхохоталась до слез.

– Ах, Агафон Павлыч, Агафон Павлыч, перестаньте вы добрых-то людей смешить! – повторяла она, хватаясь за бока. – Туда же, на дачу… ха-ха!..

– Да, на дачу, достоуважаемая…

– Курятник какой-нибудь наняли?

– А вот и не курятник… да-с.

– А небель у вас где?.. Вы бы ломового наняли, дачники! Ха-ха.

Дело дошло без малого до драки, так что я должен был удерживать Пепку. Он впал в бешенство и наговорил Федосье дерзостей. Та, конечно, не осталась в долгу и «надерзила» в свою очередь.

– Если бы вы не были дамой… да, дамой, так я бы показал вам… да, показал! – задыхаясь, повторял Пепко.

– Туда же, аника-воин, распустил перья-то! Знаю я вас, дачников…

На мою долю выпала самая неблагодарная роль доброго гения, которую я и выполнил настолько добросовестно, что, наконец, Пепко и Федосья распрощались самым трогательным образом.

– Приезжайте к нам чай пить… – приглашал успокоившийся Пепко. – Вот и увидите, какие дачи бывают.

– И то как-нибудь соберусь, Агафон Павлыч, – с изысканной вежливостью отвечала Федосья. – Конешно, мне обидно, што вам моя квартира не угодила… Уж, кажется, я ли не старалась! Ну, да Бог с вами.

– Приезжайте непременно…

Экзамены были сданы, и мы переезжали на дачу с легким сердцем людей, исполнивших свой долг. Скромные размеры нашего движимого имущества произвели невыгодное впечатление на нашего нового хозяина, который, видимо, усомнился в нашей принадлежности к касте господ. Впрочем, он успокоился, когда узнал, что мы «скубенты». Во всяком случае, мы потеряли в его глазах по крайней мере процентов на двадцать. Другое неприятное открытие для нас заключалось в том, что под самыми окнами у нас оказался городовой.

– Вот тебе и идиллия… – ворчал Пепко. – Дача с городовым… О, проклятая цивилизация, ты меня преследуешь даже на лоне природы!.. Я жажду невинных и чистых восторгов, а тут вдруг городовой.

Нанимая дачу, мы совсем не заметили этого блюстителя порядка, а теперь он будет торчать перед глазами целые дни. Впрочем, городовой оказался очень милым малым, и Пепко, проходя мимо, раскланивался с «верным стражем отечества».

Устройство на даче заняло у нас ровно час времени.

– Теперь остается только выработать программу жизни на лето, – говорил Пепко, когда все кончилось. – Нельзя же без программы… Нужно провести определенную идею и решить коренной вопрос, чему отдать преимущество: телу или духу.

– Не лучше ли без программы, Пепко? У нас уже был опыт…

– Составим комиссию, а так как tres faciunt collegium,[23] то пригласим в председатели верного стража отечества. Он, несомненно, предпочтет дух…

– Это еще вопрос, Пепко. Сначала отдохнем с недельку так, а потом увидим, что и как.

Первые минуты дачной свободы даже стесняли нас. Определенный городской хомут остался там, далеко, а сейчас нужно было делать что-то новое. Собака, сорвавшаяся с цепи, переживает именно такой нерешительный момент и некоторое время не доверяет собственной свободе.

– Что будем делать? – спрашивал Пепко, отвечая на мой немой вопрос. – А первым делом отправимся гулять… Все порядочные дачники гуляют. Надо и людей посмотреть и себя показать, черт возьми!..

Когда мы вышли из своей «дачи», нас встретил какой-то длинноносый мужик с белыми волосами.

– С приездом, господа хорошие…

– Спасибо.

Мужик взмахнул волосами, подмигнул и довольно нахально заявил:

– Не будет ли на чаек с вашей милости?

– За что на чаек?

– А как же, суседи будем… Я вот тут рядом сейчас живу. У меня третий год Иван Павлыч квартирует… Вот господин так господин. Ах, какой господин… Прямо говорит: «Васька, можешь ты мне соответствовать?» Завсегда могу, Иван Павлыч… Уж Васька потрафит, Васька все может сруководствовать. Не будет ли на чаек с вашей милости?

Я совершенно не понимаю, почему Пепко расщедрился и выдал дачному оголтелому мужику целым двугривенный. Васька зажал монету в кулаке и помчался через дорогу прямо в кабак. Он был в одной рубахе и портах, без шапки и сапог. Бывший свидетелем этой сцены городовой неодобрительно покачал только головой и передернул плечи. Этот двугривенный послужил впоследствии источником многих неприятностей, потому что Васька начал просто одолевать

нас. Одним словом, Пепко допустил бестактность.

Наступил уже вечер, мягкий и теплый. Откуда-то так и несло ароматом распускавшейся зелени и свежей травы. Казавшиеся днем пустыми, теперь все дачи оживились. Этому способствовали вернувшиеся из города со службы дачные «отцы». На импровизированных террасах, в которые превращались крыльца деревенских изб, расположились оживленные группы. Главным действующим лицом являлся самовар. Желавшие насладиться природой, en plein air[24] пили чай прямо в садиках. Вся жизнь была на виду, и это придавало дачному кочевью совершенно особенный колорит. Должен сознаться, что эта мирная картина произвела на меня очень сильное впечатление. Чем-то таким добродушным, домашним веяло от этой дачной простоты. Петербургский чиновник превращался в дачника, то есть в совершенно другое существо, точно он вместе с вицмундиром снимал с себя и петербургскую деловитость. На петербургские дачи вообще много ходит совершенно напрасных нареканий. Право, они не так уж дурны, как могут показаться на первый раз. Я говорю специально о маленьких дачах, в которых находят себе летний приют небогатые люди. Да, великолепие не особенно велико, – под носом пыльное шоссе, садики еще все в будущем, – но, право, недурно отдохнуть вот именно в такой даче, особенно у кого есть маленькие дети. Там и сям светлыми пятнами выделялись платья молоденьких дачниц. Такие же платья гуляли мимо дач, и Пепко уже несколько раз толкнул меня локтем, отмечая этим движением смазливые личики. Попались две-три совсем хорошеньких.

– Что же, жить еще можно, – говорил Пепко, закручивая ус. – Заметил блондинку в барежевом платье? Ничего, невредная девица…

Мысль о женщинах теперь неотступно преследовала Пепку, являясь его больным местом. Мне начинало не нравиться это исключительное направление Пепкиных помыслов, и я не поддерживал его восторгов.

Мы сделали самый подробный обзор всего Парголова и имели случай видеть целый ряд сцен дачной жизни. В нескольких местах винтили, на одной даче слышались звуки рояля и доносился певший женский голос, на самом краю составилась партия в рюхи, причем играли гимназисты, два интендантских чиновника и дьякон. У Пепки чесались руки принять участие в последнем невинном удовольствии, но он не решился быть навязчивым.

– Что же, отлично, – говорил Пепко. – А главное, все так просто: барышня распевает чувствительные романсы, папахен винтит, мутерхен пьет чай, а дьякон играет в рюхи.

Движимые любопытством, мы даже зашли в мелочную лавочку и купили папирос. Пепко познакомился с лавочником и узнал, что поет дочь какого-то немца-аптекаря.

– Ну, я немок не люблю, ваше степенство, хотя и среди них попадаются аппетитные шмандкухены…

Когда мы возвращались домой, Пепко сделал неприятное открытие.

– Отлично было бы теперь чайку напиться, братику, только вот самовара у нас с тобой нет… Да и вообще, где мы будем утолять голод и жажду?

Вопрос был тем серьезнее, что раньше мы о нем как-то не подумали. Все наше хозяйство заключалось в гитаре.

– Постой, эврика… – думал вслух Пепко. – Видел давеча вывеску: ресторан «Роза»? Очевидно, сама судьба позаботилась о нас… Идем. Я жажду…

Ресторан «Роза» занимал место в самом центре. При ресторане был недурной садик с отдельными деревянными будочками. Даже был бильярд и порядочная общая зала с эстрадой. Вообще полное трактирное великолепие, подкрашенное дачной обстановкой. В садике пахло акациями и распускавшимися сиренями.

– Бутылку пива!.. – командовал Пепко тоном трактирного завсегдатая.

«Человек» молча сделал налево кругом и, взмахнув салфеткой, удалился. Существование этого дачного ресторана навело меня на грустные размышления. Опять трактир и трактирная жизнь… Почему-то мне сделалось грустно. Зато Пепко торжествовал. Он чувствовал себя, как рыба в воде. Выпив бутылку пива, он впал в блаженное состояние.

– А право, не дурно, – говорил Пепко, – и садик, и фонарики, и акации…

Эти мысли вслух были прерваны появлением двух особ. Это были женщины на пути к подозрению. Они появились точно из-под земли. Подведенные глаза, увядшие лица, убогая роскошь нарядов говорили в их пользу. Пепко взглянул вопросительно на меня и издал «неопределенный звук», как говорится в излюбленных им женских романах.

– Що се таке? – спросил он почему-то на хохлацком жаргоне. – Во всяком случае это интересно…

Становилось уже темно, и сад осветился разноцветными фонариками. «Особы» продолжали гулять, не обращая на нас никакого внимания. Пепко прошел по аллее, чтобы встретиться с ними, – опять никакого внимания.

– Что они тут делают? Что они такое сами по себе, наконец?.. Меня этот женский вопрос интересует…

Мы отправились в залу и там встретили еще несколько таких же подозрительных дам, разгуливавших парочками. У одного столика сидел – вернее, лежал – какой-то подозрительный мужчина. Он уронил голову на стол и спал в самой неудобной позе.

– Ба! да ведь это Карлуша, Карл Иваныч Гамм, – изумился Пепко, разводя руками. – Вот так штука! А это – его хор, другими словами – олицетворение моих кормилиц букв: а, о и е.

Пепко без церемонии растолкал спавшего хормейстера, который с трудом поднял отяжелевшую голову и долго не мог прийти в себя.

– Румочку водки… – проговорил он, наконец.

– Что вы тут делаете, мейн герр?

– Доннер веттер, я ничего не делай… Доннер веттер, всего одна румочка водки, герр Поп.

– А зельтерской хотите, Карл Иваныч?

– Швамдрюбер… Я честный человек и не хочу зельтер.

Видимо, Карл Иваныч находился в последнем периоде жесточайшего запоя и ничего не мог понять, кроме своей «эйн румочки».

– Милейший немец этот Карл Иваныч, – объяснял Пепко, оставив в покое хормейстера. – Только ужасно пьет… И талантливый человек при этом. Хор принадлежит его жене, то есть

даже не жене, а какому-то третьему подставному лицу. Черт их разберет… Кстати, я еще не слыхал, как исполняются на сцене мои сладкие звуки. Интересно во всяком случае… Одним словом, сюрприз. Вот тебе и дача и невинные забавы детства. Я могу про себя воскликнуть словами Карамзина: «Бедная Лиза, где твоя невинность»… Гм… да… вообще… Одним словом, свинство. Я это уже чувствую…

Проходившая мимо очень хорошенькая хористка подтвердила последнюю мысль Пепки своей очаровательной улыбкой.

– Друг, я погибаю… – трагически прошептал Пепко, порываясь идти за ней. – О ты, которая цветка весеннего свежей и которой черных глаз глубина превратила меня в чернила… «Гафиз убит, а что его сгубило? Дитя, свой черный глаз бы ты спросила»… Я теперь в положении священной римской империи, которая мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала, падала и, наконец, совсем разрушилась. О, моя юность, о, мое неопытное сердце…

К моему удивлению, Карл Иваныч не дольше как через час сидел за роялем и аккомпанировал своему хору. Прельстившая Пепку хористка оказалась недурной солисткой. Мы с Пепкой представляли собой «благородную публику». Показались в дверях залы две фуражки с красным околышем и скрылись. Очевидно, дачная публика стеснялась.

– Браво! – кричал Пепко, аплодируя хору. – Да, мы должны поощрять искусство… Человек, бутылку пива!

Последующие события нашего первого дачного дня были подернуты дымкой. За нашим столиком оказались и Карл Иваныч, и очаровательная солистка, и какой-то чахоточный бас.

– Меня зовут Мелюдэ, – рекомендовалась красавица.

Когда я проснулся на следующий день, на полу нашей дачи врастяжку спал Карл Иваныч Гамм. Пепко спал совсем одетый на лавке, подложив связку лекций вместо подушки. Меня охватило какое-то жуткое чувство: и стыдно, и гадко, и хотелось убежать от самого себя.

Через полчаса происходила такая трогательная сцена:

– Эй ты, погибшее, но милое создание! – будил Пепко гостя. – Вставай, немец…

– Доннер веттер… румочку…

Когда Карл Иваныч сел, Пепко подошел к нему, присел на корточки и проговорил:

– Послушай, Карлуша, ты – одна добрая, хорошая, немецкая свинья, а я – просто русская свинья. Вместе мы составляем свинство.

# XVI

В течение какой-нибудь недели мы совершенно «определились», как дачники. Мы уже приспособились к новым условиям существования и сделались нераздельной, живой, органической частью дачного целого. Когда мы с Пепкой гуляли, дачные барышни смотрели на нас с чувством собственности. «Наши тронулись», как говорил Пепко про других дачников. Благодаря некоторым вольностям дачного существования мы знали всю подноготную не только наших соседей, но и всех вообще: кто и где служит, сколько членов семьи, какой порядок жизни, даже какие добродетели и недостатки. Пепко завел послужной список дачных девиц и выставлял им баллы в поведении.

– Интересно, что из этого выйдет к осени, – соображал он, делая в уме какие-то таинственные математические комбинации. – Аптекарской дочери я уже поставил четыре в поведении, потому что она на вокзале делала глазки тятенькину провизору… Не полагается это одной доброй дочери… Вот не знаю, как быть с одной жидовочкой… Общая мерка не годится, потому что нужно принять во внимание темперамент, расу и термометр Реомюра. Я заметил, что главное влияние на нее оказывает именно температура: при двенадцати градусах тепла она скромна, при пятнадцати градусах являются признаки смутного девичьего беспокойства, при восемнадцати она сама смотрит на мужчин. Интересно, что с ней будет при температуре в тридцать градусов? Я сильно опасаюсь, что она в июле бросится на шею первому чухонцу… Да, цифры безжалостны.

У нас быстро сформировались свои дачные привычки. Я, например, любил вставать очень рано и отправлялся гулять. Это был интересный момент. Все дачи еще спали. Исключение представляла дачная детвора, которую в это время кормили и поили мамки, бонны и няньки. Молодое дачное поколение пользовалось в эти часы неограниченной свободой действия и костюмов. Мамаши еще спали, а малые дети не превращались еще в жертвы нарядных детских костюмчиков. Эта трагическая метаморфоза происходила только часам к двенадцати, когда маленькие мученики и мученицы показывались во всеоружии белых передников, летних платьиц и дальнейших подробностей, каковые не полагалось пачкать, мять и рвать.

А как хорошо было ранним утром в парке, где так и обдавало застоявшимся смолистым ароматом и ночной свежестью. Обыкновенно, я по целым часам бродил по аллеям совершенно один и на свободе обдумывал свой бесконечный роман. Я не мог не удивляться, что дачники самое лучшее время дня просыпали самым бессовестным образом. Только раз я встретил Карла Иваныча, который наслаждался природой в одиночестве, как и я. Он находился в периоде выздоровления и поэтому выглядел философски-уныло.

– Как поживаете, Карл Иваныч?

– О благодарим к вам: очень карошо. А где герр Поп? Бессовестельник, просыпывает лючшую дню…

Я возвращался домой только к чаю, который устраивала мне старуха, мать Алексея. Мы пользовались хозяйским самоваром на условии «сколько положите». Пепко спал в сенях и просыпался только к десяти часам, поэтому мне приходилось наслаждаться одному. Я открывал окно и делался свидетелем все одной и той же сцены. Напротив нас была большая дача, населенная многочисленным семейством. В этот час утра, пока еще все спали, родоначальница немецкого гнезда, очень почтенная и красивая старуха, выходила на улицу и садилась на скамью. Она делала это методически, с немецкой аккуратностью, и целые часы оставалась неподвижной, как статуя, наблюдая закипавшую дачную жизнь. По шоссе катились чухонские таратайки, мимо дач сновали булочники, разносчики, медленно проезжал от дачи к даче мясник, летели на всех парах в мелочную лавочку развязные дачные горничные и кухарки. Одним словом, дачная жизнь закипала. Вероятно, старухе немке был прописан свежий воздух, и она дышала самым добросовестным образом определенное количество времени, как было предписано. Это скромное занятие обыкновенно нарушалось появлением дачного мужика Васьки. Он вывертывался откуда-то из-за угла, выходил на шоссе, оглядывался и начинал монолог приблизительно в такой форме:

– Дачники… ххе!.. А наплевать, вот тебе и дачники!.. Выйдет какая-нибудь немецкая кикимора, оденет на себя банты да фанты и сидит идолом… тьфу!.. Вот взял бы да своими руками удавил… Сидела бы в городе, а туда же, на дачи тащится!

Васька принимал угрожающе-свирепый вид. Вероятно, с похмелья у него трещала башка. Нужно было куда-нибудь поместить накипевшую пьяную злость, и Васька начинал травить немецкую бабушку. Отставив одну ногу вперед, Васька визгливым голосом неожиданно выкрикивал самое неприличное ругательство, от которого у бедной немки встряхивались все бантики на безукоризненно белом чепце.

– Дачники… Да я вас всех распатроню! Зачем сюда наехали? Какие-такие особенные дела?..

Опять ругательство, и опять ленты немецкого чепца возмущаются. Ваську бесит то, что немка продолжает сидеть, не то что русская барыня, которая сейчас бы убежала и даже дверь за собой затворила бы на крючок. Ваське остается только выдерживать характер, и он начинает ругаться залпами, не обращаясь ни к кому, а так, в пространство, как лает пес. Крахмальный чепчик в такт этих залпов вздрагивает, как осиновый лист, и Ваську это еще больше злит.

Я два раза делал попытку прекратить это безобразие, но добился как раз обратных результатов. Васька только ждал реплики и обрушил все негодование на меня.

– Вот я ужо доберусь до вас, скубенты… Произведу в лучшем виде. Вот как расчешу… да.

Нашим спасителем являлся городовой, который выходил на свой пост к восьми часам. Завидев верного стража отечества, Васька удирал куда-то за угол и уже из-под прикрытия посылал по нашему адресу несколько заключительных проклятий. Городовой делал вид, что гонится за ним, и наступал желанный мир. Один раз, впрочем, Васька попался, как кур во щи. Ему пришла дикая фантазия забраться на крышу своей избушки и оттуда громить дачников. Городовой воспользовался этим обстоятельством и устроил форменную осаду при помощи старосты и четырех мужиков.

– Слезай-ка, Вася, будет тебе баловать, – уговаривал городовой.

– А ты кто есть таков человек? – ревел Васька с крыши. – Да я из тебя лучины нащеплю… Ну-ка, полезай сюда, обалдуй!..

– В самом деле, Васька, слезай… – усовещивал староста, хмурый и важный мужик. – Будет тебе фигуры-то показывать, а то ведь мы и того…

– В карц поведете? – сомневался Васька. – Посидите-ка сами в карцу… Покорно благодарю.

– Будет тебе, шалая голова. Сказано – слезай…

Начались формальные переговоры, причем Васька выговорил себе свободное отступление. Но только он слез с крыши, как неприятель нарушил все условия, – и староста и городовой точно впились в Ваську и нещадно поволокли в карц.

– Это-таки не модель!.. – орал Васька, упираясь. – По какому-такому закону живого человека по шее?

Подвиги Васьки вообще нарушали весь мирный строй дачной жизни. Они достигли апогея, когда «закурил» его таинственный жилец, какой-то Иван Павлыч. Раз ночью они вдвоем напугали всю улицу. Мы уже ложились с Пепкой спать, когда послышалось похоронное пение.

– Кто-то из дачников умер, – сделал предположение Пепко.

Но дачник умер бы у себя на даче, а пение доносилось с улицы. Мы оделись и попали к месту

действия одними из первых. Прямо на шоссе, в пыли, лежал Васька, скрестив по-покойницки руки на груди. Над ним стоял какой-то среднего роста господин в военном мундире и хриплым басом читал:

– О бла-женн-ном ус-пе-нии веч-ный по-кой по-да-а-аждь, Господи… Вновь преставленному рабу твоему Василию… И сотвори ему ве-е-ечную па-а-мять!..

– Господин, так невозможно, – уговаривал городовой, – Иван Павлыч, невозможно-с… Помилуйте, этакое, можно сказать, безобразие. Васька, вставай… Вот я тебя, кудлатого, как начну обихаживать. Иван Павлыч, голубчик, терпленья нет.

– Па-азвольте… – азартно отвечал Иван Павлыч, наступая на городового. – А ежели он, Васька, хочет принять христианскую кончину? Невозможно?

– Иван Павлыч, то есть никак невозможно… Васька, вставай!

Произошла целая история. Сбежались дачники и приняли участие. Кто-то уговорил Ивана Павлыча уйти в ресторан, а Васька попал в руки городового. Он защищался отчаянно, пока не обессилел.

– Н-на, получай… – хрипел Васька, отдавая свою особу в руки правосудия. – Только не подавись, смотри.

– Ты у меня разговаривать, идол?

– А ты зачем по скуле?.. Разве это порядок? Да я тебя…

За вычетом этих маленьких неудобств, как озорничество дачного мужика Васьки, дачная жизнь катилась тихо и мирно. Удобства для наблюдения этой жизни были на каждом шагу, и я любил бродить около дач, особенно в дальних уголках, как деревушки Кабаловка и Заманиловка. Там были такие милые дачки, прятавшиеся в лесу. И, должно быть, там жилось хорошо. По крайней мере мне так казалось… Я часто встречал импровизированные кавалькады, возвращение с веселых пикников, просто прогулки и втайне завидовал этим счастливым людям, особенно сравнивая свое собственное положение. Оставшаяся в Петербурге «академия» и наши знакомые швеи здесь заменились пьяницей-немцем и хористками, – обмен не особенно выгодный. Меня начинала мучить какая-то смутная жажда жизни, и я презирал обстановку и людей, среди которых приходилось вращаться. В самом деле, что это за жизнь и что за люди – стыдно сказать. А время проходит, те лучшие годы, о которых говорит поэт. От природы я был всегда склонен к мечтательности, а здесь для этих упражнений материал представлялся кругом. Я ставил себя в разные геройские положения, создавал целые сцены и романы и даже удивлялся своей собственной находчивости, остроумию и непобедимости. Природная скромность и застенчивость сменялись противоположными качествами. О, я хотел жить за всех, чтобы все испытать и все перечувствовать. Ведь так мало одной своей жизни, да и та проходит черт знает как. Очень незавидное существование бедняка-студента, заброшенного среди чужих людей. Можно было, конечно, познакомиться с приличным обществом, но тут являлось неразрешимое препятствие: не было подходящего костюма, а появиться где-нибудь в зверином образе – смешно. Оставалось продолжать роль «оригинала», которая делалась тяжелой именно теперь, когда просто хотелось жить, как жили все другие, не оригиналы.

Иногда на меня находило какое-то глухое отчаяние. Ведь вся жизнь так пройдет, меж пальцев, все только будешь собираться жить и думать, что настоящее гнусное положение только пока, так, а завтра начнется уже суть жизни. Я знал, как много людей изживают всю жизнь с этой

дешевенькой философией и получают счастливые завтра только там, после смерти. Ведь так страшно жить, наконец, да и не стоит. За этим унылым настроением наступала реакция, и я говорил себе: «Нет, постойте, я еще буду жить и добьюсь своего… Все вы, которые сейчас наслаждаетесь жизнью в полную меру, будете мне завидовать… Да… да, и еще раз да!» Основанием для таких гордых мыслей служил мой роман: вот напишу, и тогда вы узнаете, какой есть человек Василий Попов… Средство было самое верное, а остальное – вопрос времени. Мое мечтательное настроение переходило почти в галлюцинации, до того я видел живо себя тем другим человеком, которого так упорно не хотели замечать другие. Наша дачная лачуга и общий склад существования заставляли думать об иной жизни.

Кстати, Пепко начал пропадать в «Розе» и часто возвращался под хмельком в обществе Карла Иваныча. Немец отличался голубиной незлобивостью и никому не мешал. У него была удивительная черта: музыку он писал по утрам, именно с похмелья, точно хотел в мире звуков получать просветление и очищение. Стихи Пепки аранжировались иногда очень удачно, и немец говорил с гордостью, ударяя себя кулаком в грудь:

– О, это большой человек писал… Настоящий большой!.. А маленький человек – пьяница…

Раз Пепко вернулся из «Розы» мрачнее ночи и улегся спать с жестикуляцией самоубийцы. Я, по обыкновению, не расспрашивал его, в чем дело, потому что утром он сам все расскажет. Действительно, на другой день за утренним чаем он раскрыл свою душу, продолжая оставаться самоубийцей.

– Поздравляю: к нам переезжают Верочка и Наденька…

– Куда к нам?

– А сюда, в Парголово… Ты, конечно, будешь рад, потому что ухаживал за этой индюшкой Наденькой. А, черт…

– Где ты их встретил?

– Да в «Розе»… Сижу с немцем за столиком, пью пиво, и вдруг вваливается этот старый дурак, который жужжал тогда мухой, а под ручку с ним Верочка и Наденька. Одним словом, семейная радость… «Ах, какой сюрприз, Агафон Павлыч! Как мы рады вас видеть… А вы совсем бессовестный человек: даже не пришли проститься перед отъездом». Тьфу!..

– Я не понимаю, чем они тебе мешают? – удивлялся я, хотя и понимал истинную причину его недовольства: он боялся, что появится в pendant[25] девица Любовь.

– А, черт… – ругался Пепко. – Ведь пришла же фантазия этим дуракам нанять дачу именно в Парголове, точно не стало других мест. Уж именно чертовы куклы!.. Тьфу!..

Пепко волновался целый день и с горя напился жесточайшим образом. Его скромное исчезновение из Петербурга уже не было тайной…

# XVII

Я продолжал мечтать, пополняя недочеты и прорехи действительности игрой воображения. Мое настроение принимало болезненный характер, граничивший с помешательством. Мысль о последнем приходила мне не раз, и, чтобы проверить себя, я сообщал свои мечты Пепке. Нужно отдать полную справедливость моему другу, который обладал одной из величайших

добродетелей, именно – уменьем слушать.

– Так жить нельзя, Пепко, как мы живем… Это – жалкое прозябание, нищета, несчастье. Возьмем хоть твой «женский вопрос»… Ты так легко к нему относишься, а между тем здесь похоронена целая трагедия. В известном возрасте мужчина испытывает мучительную потребность в любви и реализует ее в подавляющем большинстве случаев самым неудачным образом. Взять, например, хоть тебя…

– Ну, меня-то можно оставить в покое.

– Нет, просто как пример. Ведь ты любишь женщин?

– О!..

– А между тем это только иллюзия. Разбери свое поведение и свои отношения к женщинам. Ты разменяваешься на мелкую монету и удовлетворяешься более или менее печальными суррогатами, включительно до Мелюдэ.

– Я – погибший развратник!

– И этого нет, потому что и в пороках есть своя обязательная хронология. Я не хочу сказать, что именно я лучше – все одинаковы. Но ведь это страшно, когда человек сознательно толкает себя в пропасть… И чистота чувства, и нетронутость сил, и весь духовный ансамбль – куда это все уходит? Нельзя безнаказанно подвергать природу такому насилию.

– Интересно, продолжай. Из тебя вышел бы недурной проповедник для старых дев…

– Нет, я не имею намерения заниматься твоим исправлением, а говорю вообще и главным образом о себе. Ты обратил внимание на дачу напротив, где живут немцы?

– Эге, тихоня… Вот оно куда дело пошло! Там есть некоторая белокурая Гретхен или Маргарита. Ну что же, желаю успеха, ибо не завистлив…

– Я недавно встретил эту девушку на вокзале и со стороны полюбовался ею. Какая она вся чистенькая, именно чистенькая, – это сказывается в каждом движении, в каждом взгляде. Она чистенькой ложится спать, чистенькой встает и чистенькой проводит целый день.

– Прибавь к этому, что она выйдет замуж за самого прозаического Карла Иваныча, который будет курить дешевые сигары, дуть пиво и наплодит целую дюжину новых Гретхен и Карлов. Я вообще не люблю немок, потому что они по натуре – кухарки… Твой выбор неудачен.

– А между тем ты ошибаешься, и жестоко ошибаешься… Я с ней познакомился и могу тебя разуверить.

– Ты? Познакомился? Однако ты того, вообще порядочный плут…

– Совершенно случайно познакомился…

– То-то тебя благочестие начало заедать… Понимаю!..

– Нет, ты слушай… Я раз гулял вечером. Навстречу идет стадо коров. Она шла передо мной и страшно перепугалась. Конечно, я воспользовался случаем и предложил ей руку. Она так мило стеснялась, но страх сделал свое дело…

– Мне это нравится: коровы в качестве доброго гения. Для начала недурно…

– Не перебивай, пожалуйста… Она шла гулять, и мы отправились вместе. Она быстро привыкла ко мне и очень мило болтала все время. Представь себе, что она давно уже наблюдает нас и составила представление о русском студенте, как о чем-то ужасном. Она знает о наших путешествиях в «Розу», знает, что пьяный Карл Иваныч спит у нас, знает, что мы большие неряхи и вообще что не умеем жить.

– Позволь, ей-то какое дело до нас?..

– Дачное право… Потом она говорила, что ей нас бывает жаль. Как это было мило высказано…

– Воображаю!..

Пепко даже озлился и фукнул носом, как старый кот, на которого брызнули холодной водой.

– Потом она рассказывала о себе, как училась в пансионе, как получила конфирмацию, как занимается теперь чтением немецких классиков, немножко музыкой (Пепко сморщил нос), любит цветы, немножко поет (Пепко закрыл рот, чтобы не расхохотаться, – поющая немка, это превосходно!), учит братишек, ухаживает за бабушкой… Одним словом, это целый мир, и весь ее день занят с утра до ночи. Представь себе, она очень развитая девушка и, главное, такая умненькая… Как раз навстречу попался нам ее дядя; он служит где-то инспектором. Она еще раз мило смутилась, а немецкий дядя посмотрел на меня довольно подозрительно.

– Я его как-то видел – самая отвратительная морда.

– Нет, не морда… Напротив, самый добродушный немец, хотя немного и поврежденный мыслью о всесокрушающем величии Германии. Он меня пригласил к себе, и я… я был у них уже два раза. Очень милое семейство… Мы уговорились как-нибудь в воскресенье отправиться в Юкки.

– Partie de plaisir[26] с бутербродами? Очень мило… Что же ты молчал до сих пор?

– Вольно же тебе пропадать в «Розе»…

– Воображаю, как ты меня аттестовал… Ведь это закон природы, что истинные друзья выстраивают свою репутацию самым скромным образом на очернении своих истинных друзей – единственный верный путь. Да, превосходно… После поездки в Юкки твоя Гретхен примет православие, а ты будешь целовать руку у этой старой фрау с бантами… Что же, все в порядке вещей. Жаль только одного, что ты плох по части немецкого языка. Впрочем, это отличный предлог – она будет давать тебе уроки, старая фрау будет вязать чулок, а ты будешь пожимать маленькие немецкие ручки под столом…

– Ты угадал: я уже беру уроки… Какая она милая, эта Гретхен, если бы ты знал. И какая веселая… Смеется, как русалка…

– Русалка из картофеля?

Дальше я признался, что действительно увлекся этой немочкой, и представил целый ряд доказательств, что брак есть лотерея и что самые безошибочные впечатления – те, которые получаются первыми, а следовательно…

– Поздравляю! – ядовито заявил Пепко. – Значит, Исайя ликуй…

– В том-то и дело, что есть одно препятствие… гм… да… У Гретхен есть мать, больная женщина…

– У которой тридцать лет болят зубы?

– Нет, какой-то ревматизм… Да, и представь себе, эта мать возненавидела меня с первого раза. Прихожу третьего дня на урок, у Гретхен заплаканные глаза… Что-то такое вообще случилось. Когда бабушка вывернулась из комнаты, она мне откровенно рассказала все и даже просила извинения за родительскую несправедливость. Гм… Знаешь, эта мутерхен принесла мне большую пользу, и Гретхен так горячо жала мне руку на прощанье.

– Ага!.. Одобряю вполне эту немецкую одну добрую мать, которой мешают только ревматизмы выгнать тебя в три шеи. А что же папахен?

– Отец какой-то странный человек, ни во что не вступается и держится дома гостем… Кажется, дядя имеет больше влияния. Я подозреваю, что тут кроется некоторый конфликт, – именно, что бедный немчик женился на богатой немочке и теперь несет добровольное иго.

– Дурак немецкий, говоря проще.

– Право же, он очень милый человек, хотя и со странностями.

Свой рассказ я закончил мечтами о будущем, напирая главным образом на то, что устойчивая немецкая кровь в следующем поколении исправит неровности и всполохи русской. Студенчество я брошу, а буду заниматься сотрудничеством в газетах, поступлю на службу куда-нибудь в контору и т. д. У нас будет маленькая своя квартира, цветы на окнах, рояль, и Пепко будет приходить пить чай. Все это я рассказывал с таким убеждением, что Пепко мне поверил на добрую половину. Такой опыт меня поощрял к дальнейшим фантазиям. Через неделю я рассказал Пепке, что благодаря проискам немецкой матери мой роман кончился и что в довершение всего явился какой-то двоюродный брат – студент из дерптских буршей. Я ревновал, мучился и решился покончить все разом. Бог с ними, с немцами…

– А! испугался, что немецкий бурш тебе зеркало души наковыряет? – злорадствовал Пепко, воспользовавшись случаем.

– Нет, не совсем так… Бурш глуп до святости, а дело в том… как это тебе сказать?.. У них бывает одна знакомая русская девушка. Знаешь, дачка во Втором Парголове с качелями? Да, так я познакомился с ней и только по сравнении оценил все достоинства нашей собственной славянской женщины. Одним словом, я, на поверку оказалось, совсем не любил Гретхен, а только обманывал самого себя. Что может быть лучше русской девушки? Какая жизненная сила, какая дорогая простота! Недаром сказал какой-то француз, что будущее цивилизации висит на губах славянской женщины.

Действительно, такая русская девушка существовала, действительно жила во Втором Парголове на даче с качелями и действительно произвела на меня сильное впечатление. Случилось последнее утром часов в одиннадцать, когда я с своими мечтами возвращался из длинной прогулки по парку. Я шел задумавшись. Заставил меня остановиться и поднять голову чей-то звонкий смех. Как раз это была дача с качелями, а на качелях сидела она в белом летнем платье, перехваченном красной широкой лентой вместо пояса. Ей на вид было не больше шестнадцати лет, но она выглядела сформировавшейся девушкой. И какое лицо – красивое, свежее, полное жизни. Серые большие глаза смотрели с такой милой серьезностью, на спине трепалась целая волна слегка вившихся русых шелковистых волос, концы красной ленты развевались по воздуху, широкополая соломенная шляпа валялась на песке… Мне

показалось, что незнакомка смотрит прямо мне в сердце, и я весь застыл в одной позе. Девушка сидела на качели, ухватившись руками за веревки, причем можно было видеть эти чудные руки до самого плеча. Было еще действующее лицо, горбун, который за длинную веревку раскачивал хохотавшую шалунью. Мое появление точно погасило смех. Горбун оглянулся в мою сторону и, как мне показалось, посмотрел на меня такими злыми глазами, точно по меньшей мере хотел меня проглотить живьем. Я смутился, даже покраснел и пошел своей дорогой, унося в душе чудное виденье. Эту живую картину я потом реализовал в своих мистификациях Пепке, а по утрам нарочно проходил мимо дачи с качелями, чтобы хотя издали полюбоваться чудной девушкой в белом платье. По справкам оказалось, что она дочь какого-то инженера и живет с отцом, а горбун – дальний родственник. Как я завидовал этому горбуну, который осмеливался смотреть на нее, говорить с ней, дышать одним воздухом с ней!

В моих рассказах теперь приняли самое деятельное и живое участие отец инженер, безумно любивший свою красавицу дочь, и по-сказочному злой горбун, оберегавший это живое сокровище. Отец не отличался большим характером и баловал свою красавицу. Девушка в белом платье была и капризна, и эгоистка, и пустовата, как все избалованные дети. Она не понимала отца и не могла ему платить той же монетой; и он это чувствовал, мучился и не мог переделать самого себя. Впереди девушку в белом платье ожидала незавидная участь. Я слишком поторопился, предупреждая события и давая каждый день по новой главе, – Пепко догадался, но сделал вид, что верит, как раньше, и охотно присоединился к моим фантазиям, развивая основную тему. Ему больше всего нравилась психология горбуна, как проверка нормального среднего человека.

– А знаешь что, братику, – проговорил Пепко однажды, когда мы импровизировали свою «историю девушки в белом платье», – ведь это и есть то, что называется психологией творчества. Да, да… Именно уметь сосредоточить свое внимание так, чтобы получались живые люди, которых можно видеть, с которыми можно разговаривать, как с живыми людьми. Но вопрос в том, как сосредоточить внимание именно таким образом? Путь один: неудовлетворенное чувство… да. Ты представь себе голодного человека, сильно голодного – ведь все мысли и чувства у него сосредоточены на еде, и он лучше всякого завзятого гастронома представляет целую съедобную оперу. Он видит эти кушанья, ощущает их запах, вообще создает… Вот где тайна всякого творчества. А так как любовь составляет центральный пункт в нашей жизни, то естественно, что только отсюда должно проистекать все остальное. Желание желаний, так называет Шопенгауэр любовь, заставляет поэта писать стихи, музыканта создавать гармонические звуковые комбинации, живописца писать картину, певца петь, – все идет от этого желания желаний и все к нему же возвращается. Возьми литературу, которая существует несколько столетий, и везде и все основано именно на этом, и так же будет, когда и нас с тобой не будет. Одним словом, я бы издал закон, чтобы поэтам, беллетристам и вообще художникам показывать красивых женщин только издали, и тогда наступил бы золотой век искусства.

– Но ведь это жестоко по меньшей мере.

– Нисколько, потому что все эти господа художники жили бы удесятеренной жизнью в своих произведениях. Да, да… Это верно.

# XVIII

Белые ночи… Что может быть лучше петербургской белой ночи? Зачем я лишен дара писать стихи, а то я непременно описал бы эти ночи в звучных рифмах. Пепко пишет стихи, но у него нет «чувства природы». Несчастный предпочитает простое газовое освещение и уверяет, что

только лунатики могут восхищаться белыми ночами.

– Прежде всего, луна – предрассудок, – уверяет он серьезным образом.

– Тогда все небо нужно считать предрассудком?

– И все небо предрассудок, вернее – блестящая ложь. Достаточно сказать, что свет от ближайшей к земле звезды доходит до нас только через восемь тысяч лет, а от дальних звезд через сотни тысяч… Значит, я вижу не настоящее небо, а только его призрак. А луну я прямо ненавижу, как самую лукавую планетишку, которая и светит-то краденым светом. Поэтому, вероятно, и большинство краж совершается именно ночью… Вообще ночь располагает к гнусным поступкам, и луна может служить эмблемой воровства. Вот солнце – это вполне порядочное светило, которое светит своим собственным светом, и я уважаю его, как порядочного человека. Когда ты будешь делать описания небесного свода, рекомендую тебе одно сравнение, которое, кажется, еще не встречалось в изящной литературе: небо – это голубая шелковая ткань, усыпанная серебряными пятачками, гривенниками, пятиалтынными и двугривенными.

– Можно даже сказать: крейцерами и франками?

– Отчего же не сказать и так… В таких сравнениях самое главное – приятная неожиданность, чтобы у читателя защекотало в носу. Ты даже можешь вперед уплатить мне за вышеприведенное блестящее сравнение… Например, бытулка пива в «Розе»? Это меня поощрит к дальнейшим сравнениям.

Пепко был неисправим, и спорить с ним было бесполезно.

А мне так нравились эти чудные белые ночи. От них веяло какой-то сказочно-меланхолической красотой… В воздухе точно взвешена серебристая пыль. Все краски выцветали и покрывались серебристым налетом, как будто весь земной шар опустили в гальванопластическую ванну и высеребрили. Впрочем, это дрожавшее и переливавшееся живое серебро, заставлявшее чувствовать притаившиеся под ним краски, принимало выцветшие гобеленовские тона и нежность акварели. Я сравнил бы день с картиной, написанной грубыми масляными красками, а ночь – с той же картиной, повторенной акварелью. Кажется, это сравнение принадлежит мне, и я не обязан поощрять Пепку новой бутылкой пива. Да, хороши белые ночи… Они нагоняли на меня и тоску, и жажду жизни, и то неопределенно-хорошее настроение, которое может передать только музыкальный аккорд. Я не мог спать в такую ночь и бродил мимо дач, где тоже не спали, любуясь красотою чудного освещения. Мне было приятно сознание, что есть еще другие лунатики и что они смутно переживают то же самое, что носил я в себе.

Как это иногда случается в жизни, самые тонкие ощущения и самые изящные эмоции помещались рядом с грубыми проявлениями человеческой натуры. Достаточно оказать, что прямо от наслаждений белой ночью я попадал в кабак, то есть в ресторан «Розу», где Пепко культивировался довольно прочно. Общество арфисток, пьяного тапера, интенданта Летучего и К®, – одним словом, проза в самой обидной форме. Пепко обладал удивительной способностью необыкновенно быстро ассимилироваться везде и сделался в «Розе» своим человеком. Арфистки советовались с ним, поверяли какие-то тайны; Пепко дошел до того, что даже лечил одну из этих несчастных созданий.

– Как тебе не стыдно! – укорял я легкомысленного друга. – Ведь это шарлатанство…

– Во-первых, я не виноват, что Мелюдэ такая хорошенькая, а во-вторых, мое шарлатанство отличается от докторского только тем, что я не беру за него гонорара…

Мелюдэ – кличка хорошенькой пациентки по хору. Это было очень изящное и миленькое создание, почти красавица, в стиле немецкой Гретхен. Из живой рамы белокурых волос глядело такое изящное, тонкое личико, с красиво очерченным носиком, детски-свежим ротиком, с какой-то особенной грацией каждой линии и голубыми детскими глазами. Ей было всего восемнадцать лет, но эти детские глаза уже смотрели мертвым взглядом, отражая в себе бессонные пьяные ночи, бродяжничество в качестве арфистки по кабакам и вообще улицу. Оставалась одна внешняя оболочка красивой и свежей девушки, прикрывавшая собой полное нравственное падение. Я испытывал каждый раз какое-то жуткое чувство, когда Мелюдэ протягивала мне свою изящную тонкую ручку и смотрела прямо в лицо немигающими наивно открытыми глазами, – получалось таксе же ощущение, какое испытываешь, здороваясь с теми больными, которые еще двигаются на ногах, имеют здоровый вид и про которых знаешь, что они бесповоротно приговорены к смерти. Пепко, кажется, был другого мнения и вел какие-то таинственные и длинные беседы с этим падшим ангелом. Раз я сделался невольным свидетелем одного трагического финала. Пепко тоном проповедника приглашал Мелюдэ бросить трактирную жизнь и сделаться порядочной женщиной.

– Ведь стоит только захотеть, – повторял он, делая ударение на последнем слове.

Она посмотрела на него своими детскими глазами и расхохоталась прямо в лицо. Пепко ужасно сконфузился и почувствовал себя мальчишкой, а красивое чудовище продолжало хохотать.

– Ты забыл только одно, Пепко: все вы, мужчины, подлецы… – говорила Мелюдэ, задыхаясь от хохота. – Особенно мне нравятся вот такие проповедники, как ты. Ведь хорошие слова так дешево стоят…

Пепко со всем хором был на «ты».

Когда мы возвращались на свою дачу, Пепко встряхивал головой, как собака, проглотившая муху, что-то мычал и, наконец, проговорил:

– А ведь она права…

– Кто?

– Мелюдэ… Физиологи делают такой опыт: вырезают у голубя одну половину мозга, и голубь начинает кружиться в одну сторону, пока не подохнет. И Мелюдэ тоже кружится… А затем она очень хорошо сказала относительно подлецов: ведь в каждом из нас притаился неисправимый подлец, которого мы так тщательно скрываем всю нашу жизнь, – вернее, вся наша жизнь заключается в этом скромном занятии. Из вежливости я говорю только о мужчинах… Впрочем, я, кажется, впадаю в философию, а в большом количестве это скучно.

Проживая в своей избушке самым мирным образом, мы и не предчувствовали, что стоим накануне событий, выражаясь газетным стилем. Я уже сказал, что наши знакомые, сестры Глазковы, тоже переселились на лето в наше Третье Парголово. У них была нанята такая же дача, как у нас, то есть простая деревенская изба. Разница была в величине и в том, что женские руки сумели убрать ее и прикрасить благодаря дешевеньким дачным обоям, драпировкам из дешевого ситца и цветам. Мы встречались с ними, но прежнее знакомство как-то плохо вязалось. Главным препятствием являлась здесь невидимо присутствовавшая тень девицы Любочки, о которой Пепко не желал вспоминать. Он не без основания предполагал, что Наденька или Верочка где-нибудь случайно ее встретят и, конечно, не преминут открыть его убежище. Девицы тоже относились к Пепко немного подозрительно и не упускали случая

сделать более или менее ядовитый намек по адресу Любочки. Одним словом, получалось то, что называется натянутыми отношениями.

Как-то уже вошло в обычай, что даже капитальные события начинаются с пустяков и мелочей. В данном случае началом события послужила приклеенная к гостеприимным дверям «Розы» простая белая бумажка, на которой было начертано: «Сего 17 июня имеет быть дан инструментально-вокально-музыкально-танцевальный семейный вечер с плату 20 к. на персону. А дитя пускают весма даром». Очевидно, это безграмотное объявление было составлено пьяным тапером, оказавшимся единственным грамотным человеком во всем хоре. Это невинно-безграмотное объявление сделало то, что в первое же воскресенье в «Розе» появились сестры Глазковы в сопровождении жужжавшего мухой толстяка. Пепко питал слабость к хореографии и танцевал с барышнями до ожесточения. На объявление пришли еще кое-какие дачники, и дешевенькое веселье оформилось. Набралось человек двадцать. Вообще время провели недурно, и только под конец вечера Пепко едва не подрался с каким-то служащим на финляндской железной дороге. Собственно, это было лингвистическое недоразумение: Пепко не говорил по-шведски, а чухонец не желал понимать по-русски. Стороны хотели разрешить это взаимное непонимание при помощи венских стульев и пустых бутылок из-под пива, и, вероятно, произошло бы настоящее побоище, если бы в дело не вмешалась Мелюдэ, из-за которой, собственно, и вышла вся история. Она отлично знала трактирную психологию и потушила бурю одним движением: схватила два стакана пива и подала врагам, – каждый из них имел полное основание думать, что пиво от чистого сердца подано именно ему, а другому только для отвода глаз. По крайней мере Пепко давал впоследствии такое толкование в свою пользу.

– Я вообще не понимаю, за что меня так любят женщины, – хвастался он. – А чухонец-то в каких дураках остался…

Между прочим, Пепко страдал особого рода манией мужского величия и был убежден, что все женщины безнадежно влюблены в него. Иногда это проявлялось в таких явных формах, что он из скромности утаивал имена. Я плохо верил в эти бескровные победы, но успех был несомненный. Мелюдэ в этом мартирологе являлась последней жертвой, хотя впоследствии интендант Летучий и уверял, что видел собственными глазами, как ранним утром из окна комнаты Мелюдэ выпрыгнул не кто другой, как глупый железнодорожный чухонец.

Эти невинные развлечения были неожиданно прерваны. Как теперь помню роковое воскресенье, когда мы с Пепкой отправились в «Розу» вечером. Оба находились в самом хорошем настроении, как и следует людям, приготовившимся повеселиться. Когда я у кассы брал входной билет, меня кто-то тронул за руку. Оглядываюсь – Наденька Глазкова, которая улыбалась с какой-то особенной таинственностью. Молчит и улыбается с вызывающим кокетством. Я инстинктивно обернулся и встретился лицом к лицу с высокой, удивительно красивой девушкой, которая тоже смотрела на меня чуть-чуть прищуренными глазами и чуть-чуть улыбалась.

– Извините… – пробормотал я ни к селу ни к городу.

– Шура, позволь тебе представить Василия Иваныча, – рекомендовала меня Наденька, продолжая улыбаться… – Он сочиняет большой роман… Да.

Лицо Шуры вдруг приняло серьезное выражение, и она почти торжественно протянула мне свою руку. Я еще больше смутился и готов был наговорить Наденьке дерзостей, потому что она своей рекомендацией ставила меня в самое нелепое положение. Но вместо дерзостей я проговорил каким-то не своим голосом:

– Позвольте быть вашим кавалером.

Она просто и серьезно подала мне руку, и я торжественно ввел в залу своих дам. Вся эта немногосложная и ничтожная по содержанию сцена произошла на расстоянии каких-нибудь двух минут, но мне показалось, что это была сама вечность, что я уже не я, что все люди превратились в каких-то жалких букашек, что общая зала «Розы» ужасная мерзость, что со мной под руку идет все прошедшее, настоящее и будущее, что пол под ногами немного колеблется, что пахнет какими-то удивительными духами, что ножки Шуры отбивают пульс моего собственного сердца. Да, такие минуты не повторяются, как сама молодость. А Наденька Глазкова заглядывала мне в лицо и улыбалась. Я, должно быть, тоже улыбался и, должно быть, очень глупо улыбался… Но женщины умеют читать между строк, и Наденька отлично понимала, что делается у меня на душе. О, я готов был идти вот с этой незнакомкой Шурой под руку целую жизнь и чувствовал, как сердце замирает в груди от наплыва неизведанного чувства. Это была она, та первая любовь, которая приходит, как пожар, и не оставляет камня на камне. И теперь, через много лет, в воображении проносятся знакомые черты чудного девичьего лица, и какая-то запоздалая тоска охватывает уставшее сердце. Да, это было чудное лицо, серьезное и наивное, с большими серыми глазами, удивительным цветом кожи, с строгими линиями, с выражением какой-то детской доверчивости. Темные волнистые волосы были собраны в одну косу, а на лбу зачесаны гладко, без противных кудряшек. Одета была первая любовь в черное шелковое платье и черную накидку; черная шляпа, черные перчатки и черный зонтик дополняли этот костюм не по сезону. Именно черный цвет всего больше шел к ней, и она была так хороша, что не нуждалась в сезонных костюмах. Высокий рост придавал ей вид королевы, которая только что сошла с престола и милостиво вмешалась в толпу обыкновенных людишек.

– Меня зовут Александра Васильевна, – говорила она, усаживаясь к нашему столику.

# XIX

Весь вечер пронесся в каком-то тумане. Я не помню, о чем шел разговор, что я сам говорил, – я даже не заметил, что Пепко куда-то исчез, и был очень удивлен, когда лакей подошел и сказал, что он меня вызывает в буфет. Пепко имел жалкий и таинственный вид. Он стоял у буфета с рюмкой водки в руках.

– Что такое случилось, Пепко?

– Очень приятная история… Сейчас еду в Петербург и задушу эту гадину Федосью.

Пепко был бледен, губы дрожали, и мне показалось, что он сошел с ума. При чем этот трагический тон, рюмка водки, удушение Федосьи? Машинально выпив рюмку и позабыв закусить, Пепко отвел меня в сторону и прошептал:

– Она здесь… понимаешь? Захожу давеча в сад, чтобы увидеть Мелюдэ, а там на скамеечке сидит она.

– Да кто она?

– Ах, какой ты… ну, она, Любочка. Сейчас меня за рукав, слезы, упреки, – одним словом, полный репертуар. И вот все время мучила… Это ее проклятая Федосья подвела, то есть сказала мой адрес. Я с ней рассчитаюсь…

– Да ведь Любочка могла достать наш адрес и помимо Федосьи?

– Нет, уж я это знаю… оставь. Теперь одно спасенье – бежать. Все великие люди в подобных случаях так делали… Только дело в том, что и для трагедии нужны деньги, а у меня, кроме нескольких крейцеров и кредита в буфете, ничего нет.

Я с своей стороны мог бы прибавить, что и для любви тоже нужны деньги, но трагедия пересилила, и половина моих крейцеров перешла к Пепке. Он как-то особенно конфузливо взял деньги и проговорил:

– Я знаю, что ты будешь меня презирать… Я сам презираю себя. Да… Прощай. Если она придет к нам на дачу, скажи, что я утонул. Во всяком случае, я совсем не гожусь на амплуа белошвейного предмета… Ты только вникни: предмет… тьфу!

Признаться сказать, я совершенно безучастно отнесся к трагическому положению приятеля и мысленно соображал, хватит ли моих крейцеров, в случае, если Александра Васильевна захочет поужинать. Никогда еще я так не презирал свою бедность… Каких-нибудь десять рублей могли меня сделать счастливым, потому что нельзя же было угощать богиню пивом и бутербродами.

– Прощай, Вася!

– Прощай, Пепко!

Я сейчас же забыл о Пепкиной трагедии и вспомнил о ней только в антракте, когда гулял под руку с Александрой Васильевной в трактирном садике. Любочка сидела на скамейке и ждала… Я узнал ее, но по малодушию сделал вид, что не узнаю, и прошел мимо. Это было бесцельно-глупо, и потом мне было совестно. Бедная девушка, вероятно, страдала, ожидая возвращения коварного «предмета». Александра Васильевна крепко опиралась на мою руку и в коротких словах рассказала свою биографию.

– Мама живет на Песках… Она получает небольшую пенсию. Раньше я работала на магазин… Когда будете в Петербурге, непременно заверните к нам. Слышите: непременно…

Эта просьба походила на то, если бы начали упрашивать землю вращаться около своей оси, и я великодушно обещал быть на Песках непременно. Потом мне удалось сказать что-то остроумное, и Александра Васильевна тихо засмеялась. Она удивительно хорошо смеялась и делалась еще красивее. Этот смех меня ободрил, и я уже начинал придумывать смешное, а девушка опять смеялась, смеялась больше потому, что стояла такая дивная белая ночь, что ей, девушке, было всего восемнадцать лет, что кавалер делал героические усилия быть остроумным, что вообще при таких обстоятельствах ничего не остается, как только смеяться.

Вечер промелькнул с какой-то сумасшедшей быстротой. Был один трагический момент, когда я предложил Александре Васильевне поужинать в одной из садовых беседок, – я даже теперь, через двадцать лет, не могу себе представить, чем бы я мог заплатить за эту безумную роскошь. Но ведь моя богиня хотела есть, и я заметил, что она с жадностью посмотрела на соседний столик, где были поданы цыплята. Меня выручила Наденька Глазкова.

– Нет, мы не будем ужинать в ресторане, – заявила она с решительным видом, – и подадут грязно, и масло прогорклое… Вообще здесь не стоит ужинать, и мы это устроим лучше у нас дома. Не правда ли, Шура?

Ответом был голодный взгляд, обращенный на соседнего цыпленка. Бедная богиня очень хотела кушать… А я готов был расцеловать мою спасительницу Наденьку. Вообще это была замечательно милая девушка, которая в течение целого вечера упорно жертвовала собой, –

больше того, она старалась оставаться незаметной, на что решатся очень немногие женщины. Я питал к ней благодарное чувство, которое было испорчено только одним эпизодом. Ресторан закрывался, и нам следовало уходить. Я вспомнил про несчастную Любочку, скитавшуюся скорбной тенью в саду, и сообщил об этом Наденьке.

– Я ее видела… – равнодушно ответила девушка.

– Видели? Вы с ней здоровались?

– Нет…

Меня больше всего поразил самый тон, которым Наденька говорила. А, вероятно, Любочка страшно наскучалась и хочет тоже есть… Отчего бы ее не пригласить поужинать вместе с нами?

Наденька ответила на мой немой вопрос одной фразой:

– Она может уехать с последним поездом… Я вообще не понимаю, зачем она притащилась сюда и зачем прячется в саду. Вообще глупо…

Это была специально женская жестокость, которая в то время меня очень удивляла, а в данном случае как-то уже совсем не вязалась с проявленными в течение вечера Наденькой благородными качествами души и сердца.

Половина разноцветных фонариков в саду погасла сама, другую половину гасил сторож. В зале было уже совсем темно. Меня охватило какое-то жуткое чувство, точно что оборвалось в груди.

– Я имею дурную привычку крепко опираться на руку своего кавалера, – объяснила Александра Васильевна, когда мы выходили из «Розы».

– О, пожалуйста…

Наденька опять впала в самопожертвенное настроение, отказалась от моей другой руки и быстро пошла вперед одна, оставив нас tete-a-tete.[27] Впрочем, этот невинный маневр имел и свое специальное значение – именно, девушка, вероятно, хотела предупредить относительно ужина свою одну добрую мать без слов. Когда я остался один с Александрой Васильевной, первое чувство, которое неожиданно охватило меня, был страх, страх за собственное ничтожество, осмелившееся служить опорой совершенству. В довершение всего меня совершенно оставило остроумное настроение, и я решительно не мог ничего придумать, чем занять даму. Впрочем, она шагала такой усталой походкой, что не спасло бы никакое остроумие. Мы дошли до места почти молча, и Александра Васильевна только из вежливости удерживала голодную зевоту. Эта маленькая неудача служила только введением к следующей: одна добрая мать без слов встретила нас так сурово, что мысль о домашнем ужине могла показаться чуть не святотатством. По лицу Наденьки я заметил, что у нее только что вышло бурное объяснение с матерью, и она даже готова заплакать. Я удивился, где эта милая девушка взяла силы сказать мне:

– Вы, конечно, Василий Иваныч, останетесь поужинать с нами…

Милая Наденька жертвовала собой еще раз, и можно себе представить ее положение, если бы я взял да и остался. Но я этого, конечно, не сделал и начал прощаться. Наденька понимала, как мне больно уходить в свою нору, и с особой выразительностью пожала мне руку.

– Приходите завтра! – крикнула она мне вслед. – Я Шуру не отпущу…

Это было наградой за мою проницательность, – женщины ничего так не ценят, как это понимание без слов.

Я возвращался домой в каком-то чаду, напрасно стараясь связать в одно целое впечатления этого рокового вечера. Прежде всего, я ужасно досадовал на свою ненаходчивость при возвращении из «Розы». А между тем как мне много хотелось сказать Шуре, мучительно хотелось. И все какие хорошие вещи… О, только она одна в целом мире могла понять меня, а я шел рядом с ней болван-болваном! Зато теперь – какие остроумные диалоги я вел с ней, как был красноречив, находчив и как непринужденно предъявлял ее вниманию сокровища своего ума. Было просто жаль, что Александра Васильевна лишена возможности видеть меня во всем блеске. Наверно, она составила себе не особенно лестное понятие о моей особе и даже, может быть, считает меня просто болваном… Но есть завтра – слышите, Шура? – есть солнце, которое взойдет завтра с специальной целью показать вам вашего покорного слугу совершенно в ином свете. Да, вы будете приятно изумлены, Шура, потому что еще никогда не встречали такого удивительного молодого человека. Завтра, завтра, завтра…

Мне хотелось петь, хотелось думать стихами, хотелось разбудить все Третье Парголово и сказать всем, что Шура красавица и что она завтра останется на весь день.

– Шура, Шура… – повторял я вслух, точно в этом имени скрыто было какое-то заклинание.

Странно, что первое, что обратило на себя мое внимание при возвращении в свою избушку, были… сапоги. Да, те высокие студенческие сапоги, в которых я обыкновенно ходил. Мне показалось, что они, эти сапоги, являлись оскорблением изящных прюнелевых ботинок, черных лайковых перчаток, черного зонтика, черной шляпы и особенно черного шелкового платья. Ведь это было нахальством, что такие нелепые сапожищи осмелились шагать рядом с прюнелевыми крошечными ботинками. А завтра… Позвольте, Пепко уехал в моих штиблетах, и я целый день должен буду оставаться «оригиналом». Свои штиблеты Пепко отдал в починку, надел мои и уехал… Что же это будет? Полцарства за самые скромные штиблеты… И как мне это давеча в голову не пришло, когда Пепко собрался удрать? Ах, изверг естества… Эта маленькая подробность привела меня в отчаяние и нагнала целый рой каких-то уже совсем бессвязных мыслей. Например, припоминая разговор с Александрой Васильевной в саду, я точно открыл трещину в том, что еще час назад было и естественно, и понятно, и просто – именно: одна добрая мать, получающая маленькую пенсию, адрес Пески, работа на магазин, и тут же шелковое платье, зонтик, перчатки и т. д. Мне вдруг захотелось вернуться на дачу Глазковых, вызвать Наденьку и спросить ее, что это значит. Да, узнать все сейчас же, разъяснить… Я весь задрожал при той мысли, что на мой вопрос Наденька только пожмет плечами и улыбнется, как улыбнулась давеча. Нет, это ужасно, это бесчеловечно, это… этому нет названия. Смертный приговор рядом с этим является милой шуткой…

Потом я сразу успокоился. Доказательство нелепости предыдущих сомнений было под рукой: стоило только закрыть глаза и представить себе это дивное лицо… Разве этот чистый взгляд осмелится омрачить хотя одна нечистая мысль? Она – совершенство, а все остальное пустяки. По естественной ассоциации идей я логически перешел к собственной особе. Во-первых, красив я или «немного лучше черта», как большинство мужчин? Как-то раньше я мало обращал внимания на свою наружность, а теперь испытывал мучительную потребность быть именно красивым, красивым только для того, чтобы иметь право думать о ней. Кажется, у меня выразительные глаза, правильный нос, хороший для мужчины рост, небольшие руки; но ведь это еще очень немного, больше, чем немного. У нас с Пепкой даже не было зеркала, и я не мог сейчас же проверить свои физические достоинства. Впрочем, для мужчины наружность – вещь

не первой важности, и ее можно с успехом заменить громким именем, успехом, известностью; женщины летят на эти пустяки, как мотыльки на огонь. Да, я буду знаменит, черт возьми, и не для себя, а для нее… Она будет гордиться тем, что первая открыла во мне будущую знаменитость, когда остальной мир оставался еще в возмутительном неведении. Нет, вы все меня признаете, будете завидовать, а я буду думать о ней, жить для нее, дышать ею…

Одним словом, в моей голове несся какой-то ураган, и мысли летели вперед с страшной быстротой, как те английские скакуны, которые берут одно препятствие за другим с такой красивой энергией. В моей голове тоже происходила скачка на дорогой приз, какого еще не видал мир.

Эта внутренняя работа мысли и чувства делалась просто невыносимой благодаря тому, что не могла ничем проявиться во внешних формах. Бежавший позорно Пепко подвергался большой опасности выслушать целую исповедь первой любви… У меня явилось даже подозрение, что не бежал ли он вместе и от меня, заподозрив двойную опасность. Вообще я к нему относился сейчас враждебно. Не угодно ли: человек убежал ни раньше, ни после, как именно сегодня, – убежал человек, испытывавший мое терпение своими исповедями самым бессовестным образом. Нет, как хотите, а это нехорошо, бессовестно, подло… Одним словом, не по-товарищески.

Я десять раз укладывался спать, и из этого ничего не выходило. Сон бежал от моих глаз, как выражался Пепко высоким слогом. Вдобавок в нашей избушке ужасно душно… Этот низкий потолок просто давил меня. Измучившись окончательно, я поднялся с своей постели, подошел к окну и открыл его. Вдруг мне показалось… Нет, это, вероятно, была тень. После некоторого колебания я взглянул в окно и увидел… Нет, я не увидел, а почувствовал как-то всем телом, что это она, несчастная Любочка, которая сидела на скамейке у нашей калитки. Какая она маленькая в этой позе… Настоящий ребенок. И поза такая беспомощная, как у замерзающего человека. У меня явилось давешнее малодушное желание не заметить ее, но я преодолел себя и тихо спросил:

– Это вы, Любочка?..

Она вскочила, сделала движение убежать, но только закрыла лицо руками и бессильно опустилась на свою скамейку. О, какой ты мерзавец, Пепко!..

## XX

Одеться было делом одной минуты. Я торопился точно на пожар, а Любочка и не думала уходить. Она сидела по-прежнему на лавочке, в прежней убитой позе. Белая ночь придавала ее бледному лицу какой-то нехороший пепельный оттенок.

– Любочка, что вы тут делаете? – спрашивал я, выходя в калитку.

Она подняла на меня свои кроткие большие глаза с опухшими от слез веками. Меня охватила какая-то невыразимая жалость. Мне вдруг захотелось ее обнять, приласкать, наговорить тех слов, от которых делается тепло на душе. Помню, что больше всего меня подкупала в ней эта детская покорность и беззащитность.

– Любочка, вам холодно?

– Нет…

– Вы хотите есть?

– Нет…

– Вы устали?

– Нет… Если вам не трудно, дайте мне стакан воды.

Это была трогательная просьба. Только воды, и больше ничего. Она выпила залпом два стакана, и я чувствовал, как она дрожит. Да, нужно было предпринять что-то энергичное, решительное, что-то сделать, что-то сказать, а я думал о том, как давеча нехорошо поступил, сделав вид, что не узнал ее в саду. Кто знает, какие страшные мысли роятся в этой девичьей голове…

– Знаете что, Любочка, идите спать в нашу избушку, а я пойду гулять в парк. Мне все равно не спится, а до утра осталось немного… Потом мы поговорим серьезно.

Это предложение точно испугало ее. Любочка опять сделала такое движение, как человек, у которого единственное спасение в бегстве. Я понял, что это значило, и еще раз возненавидел Пепку: она не решалась переночевать в нашей избушке потому, что боялась возбудить ревнивые подозрения в моем друге. Мне сделалось обидно от такой постановки вопроса, точно я имел в виду воспользоваться ее беззащитным положением. «Она глупа до святости», – мелькнула у меня мысль в голове.

– Мне решительно ничего не нужно, – прошептала она в ответ на мои обидные мысли. – Ничего… Только, ради Бога, не гоните меня.

– Послушайте, Любочка, ведь это сумасшествие! Да, настоящее сумасшествие… Ведь вы знаете, что Пепко уехал, вернее сказать – бежал?..

– Да, знаю…

– Зачем же вы остались в таком случае?

Она посмотрела на меня и совершенно серьезно ответила:

– Не знаю… Да мне и некуда идти… Я ничего не знаю.

– Послушайте, нужно же иметь хотя маленькое самолюбие: человек бегает от вас самым позорным образом, ведет себя, как… как… ну, как негодяй, если хотите знать.

– Что вы, что вы?! – испугалась еще раз Любочка, вскакивая. – Это я сама виновата… Да, сама, а Агафон Павлыч хороший.

– Хороший?.. ха-ха!

Меня начала душить бессильная злость. Что вы будете тут делать или говорить?.. У Любочки, очевидно, голова была не в порядке. А она смотрела на меня полными ненависти глазами и тяжело дышала. «Он хороший, хороший, хороший»… говорили эти покорные глаза и вся ее фигура.

Наступила неловкая и тяжелая пауза. Небо сделалось серым, – близился солнцевосход. Где-то в дачном садике чирикнула первая птичка. Белая ночь кончалась. Любочка опять впала в свое полузабытье. В сущности я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Она была почти красива,

вернее сказать – миловидна. Эти большие испуганные глаза смотрели с такой затаенной скорбью. Меня, между прочим, поразила одна особенность – современный женский костюм совсем не приспособлен для таких положений, в каком находилась сейчас Любочка. Шерстяная юбка была некрасиво смята, шляпа съехала набок, летняя накидка висела какой-то тряпкой, сложенный зонтик походил на сломанное крыло птицы; одним словом, все это не годилось для трагической обстановки, напоминая будничную дешевенькую суету.

– Нужно же что-нибудь делать, Любочка, – заговорил я, набираясь сил. – Так нельзя…

– Что нельзя?

– Да вот сидеть так…

– Идите спать… А я посижу здесь… Может быть, я вас компрометирую?

– А вы боитесь скомпрометировать себя, если пойдете и уснете в нашей избушке? Что может подумать о вашем поведении Пепко!.. Как это страшно…

– Вы его не любите…

– И даже очень не люблю…

Она закрыла лицо руками и зарыдала. Теперь уж я сделал движение в ожидании истерики.

– Я… я его так люблю… – шептала Любочка, не отнимая рук. – А вас ненавижу… Да, ненавижу, ненавижу, ненавижу!.. Вы его не любите и расстраиваете… Не от меня он убежал, а от вас.

– От меня?

– Да, вы, вы… Вы думаете, что я совсем дура и ничего не понимаю? Ха-ха!.. Вы нарочно увезли его и на дачу, чтобы спрятать от меня. Я все знаю… и ненавижу вас… всех…

Разговор принял совсем неожиданный оборот, и я немного растерялся в качестве опытного заговорщика и предателя.

– Вот что, Любочка… Идемте гулять?

– Не хочу… Я останусь здесь и дождусь его. Ведь когда-нибудь он вернется из города… Вот назло вам всем и буду сидеть.

Это, очевидно, был бред сумасшедшего. Я молча взял Любочку за руку и молча повел гулять. Она сначала отчаянно сопротивлялась, бранила меня, а потом вдруг стихла и покорилась. В сущности она от усталости едва держалась на ногах, и я боялся, что она повалится, как сноп. Положение не из красивых, и в душе я проклинал Пепку в тысячу первый раз. Да, прекрасная логика: он во всем обвинял Федосью, она во всем обвиняла меня, – мне оставалось только пожать руку Федосье, как товарищу по человеческой несправедливости.

– Куда вы меня тащите? – взмолилась Любочка, изнемогая.

– Не знаю… Войдите и в мое положение: что я буду делать с вами? Оставить вас я не могу, как это делают некоторые… Утешать – бесполезно.

Мы прошли два раза все Третье Парголово и остановились, наконец, на пустой горке, мимо которой спускалась тропинка на вокзал. Нашлась спасительная скамейка, на которую мы

могли присесть. Солнце уже поднималось, – солнце холодное, без лучей. Перед нашими глазами разлеглось чухонское болото, перерезанное Финляндской железной дорогой; налево в пыльной мгле едва брезжился Петербург. Моя дама сидела безмолвно, как тень. Глаза у нее слипались, но она продолжала бороться со сном. Был момент, когда ей хотелось расплакаться, – я это видел по дрожавшим губам, – но дневной свет, видимо, действовал на нее отрезвляющим образом.

– Бедный, где-то он провел ночь… – думала она вслух.

– Да, бедный… Черт бы его побрал!..

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

– Воображаю, как вы меня проклинаете в душе, – проговорила она, продолжая улыбаться. – Целую ночь нянчитесь… Я вас, кажется, бранила?

– Да… Вернее сказать, вы сами не знали, что говорили.

– Миленький, простите… Я так страдала, так измучилась… Идите, голубчик, спать, а я посижу здесь. С первым поездом уеду в Петербург… Кланяйтесь Агафону Павлычу и скажите, что он напрасно считает меня такой… такой нехорошей. Ведь только от дурных женщин бегают и скрываются…

На мой немой вопрос она сама ответила:

– Вы боитесь, что я опять приеду? Конечно, приеду, но на этот раз буду умнее и не буду лезть к нему на глаза… Хотя издали посмотреть… только посмотреть… Ведь я ничего не требую… Идите.

– Нет… Я все равно сегодня не буду спать.

– Почему?

– Я влюблен…

– Вы? Когда это случилось?

– Вчера, в восемь часов вечера…

– В Надю?

– Нет.

– Ах, да, эта высокая, с которой вы гуляли в саду. Она очень хорошенькая… Если бы я была такая, Агафон Павлыч не уехал бы в Петербург. Вы на ней женитесь? Да? Вы о ней думали все время? Как приятно думать о любимом человеке… Точно сам лучше делаешься… Как-то немножко и стыдно, и хорошо, и хочется плакать. Вчера я долго бродила мимо дач… Везде огоньки, все счастливы, у всех свой угол… Как им всем хорошо, а я должна была бродить одна, как собака, которую выгнали из кухни. И я все время думала…

– О чем?

– Ведь и мы могли бы так же жить на даче с Агафоном Павлычем… Я так бы ждала его каждый день, когда он вернется из города. Он приезжает со службы усталый, сердитый, а у меня все

чисто, прибрано, обед вкусный… У нас была бы маленькая девочка, которую он обожает. Тихо, хорошо… Потом мы состарились бы, девочка уже замужем, и вдруг… Нет, это страшно! Мне представилось, что Агафон Павлыч умер раньше меня, и я хожу в трауре… Знаете, такая длинная-длинная вуаль из крепа… Переезжаю жить к дочери и все плачу, плачу… Каждый день хожу к нему на могилу, приношу цветов и опять плачу. Ведь никто не знает, какой он был хороший, добрый, как любил меня… Вы не смейтесь надо мной, Василий Иваныч. Если вы действительно любите ту девушку, так все поймете…

– Я не смеюсь.

– И вдруг ничего нет… и мне жаль себя, ту девочку, которой никогда не будет… За что? Мне самой хочется умереть… Может быть, тогда Агафон Павлыч пожалеет меня, хорошо пожалеет… А я уж ничего не буду понимать, не буду мучиться… Вы думали когда-нибудь о смерти?

– Нет, как-то не случалось.

– Значит, вы еще не любите. Если человек любит, он все понимает, решительно все, и обо всем думает… Я целые дни сижу и думаю и не боюсь смерти, потому что люблю Агафона Павлыча. Он хороший…

Мне опять сделалось жаль Любочку, в которой мучительно умирал целый мир и все будущее. Она была права: любовь делала ее почти умной, и она многое понимала так, как в нормальном состоянии никогда не понимала. Ее наивная философия навеяла на меня невольную грусть. В самом деле, от каких случайностей зависит иногда вся жизнь: не будь у нас соседа по комнатам «черкеса», мы никогда не познакомились бы с Любочкой, и сейчас эта Любочка не тосковала бы о «хорошем» Пепке. По аналогии я повторил про себя свою вчерашнюю встречу с Александрой Васильевной – тоже случайность и тоже… Дальше я старался ничего не думать, потому что мое солнце уже поднялось и решительный день наступил. А она, наверное, спит молодым, крепким сном и давно забыла о моем существовании…

Мы просидели на горке до первого поезда, отходившего в Петербург в восемь часов утра. Любочка заметно успокоилась, – вернее, она до того устала, что не могла даже горевать. Я проводил ее на вокзал.

– Желаю вам счастья… много счастья! – шепнула она, выглядывая из окна вагона.

Домой я вернулся, пошатываясь от усталости. Представьте мое изумление, когда в сенях я увидел спавшего мертвым сном Пепку. Он и не думал уезжать в Петербург и, как я догадывался, весело проводил время в обществе Мелюдэ и пьяного Гамма, пока я отваживался с Любочкой. Зачем нужно было обманывать еще меня? Мне ужасно хотелось пнуть его ногой, обругать, приколотить… Меня больше всего возмущало то, что человек спал спокойно после всех тех гадостей, какие наделал в течение одного вечера, – спрятался от обманутой девушки, обманул лучшего друга… Воображаю, как Пепко хохотал и дурачился с Мелюдэ, пропивая взятые у меня крейцеры.

– Пепко!

Пепко не шевелился, но я видел, что он проснулся и притворяется спящим. Это была последняя ложь…

– Пепко, я тебя презираю…

Мне показалось, что, когда я отвернулся, Пепко сдержанно хихикнул. Это животное было способно на все…

Я заснул, не раздеваясь. Это был даже не сон, а какая-то тяжесть, раздавившая меня. Меня разбудил осторожный стук в окно, – в окне мелькал черный зонтик, точно о переплет рамы билась крылом черная птица.

– Как вам не стыдно! – слышался голос Наденьки. – Вставайте и догоняйте нас с Шурой. Мы идем в парк.

Из-за косяка дверей выглядывала измятая рожа Пепки и самым нахальным образом подмигивала мне по адресу черного зонтика.

– Мало-помалу, не вдруг, постепенно, шаг за шагом падала… падала священная римская империя и совсем развалилась… – бормотал он, ухмыляясь.

Я ответил ему молчаливым презрением.

# XXI

Я так торопился, что даже забыл о штиблетах и вспомнил об этом обстоятельстве только на улице, догоняя девушек. Я несся точно на крыльях. Помню, что я догнал их как раз напротив той дачи с качелями, на которой мы с Пепкой разыгрывали наш «роман девушки в белом платье». Эта девушка как раз была налицо, – она тихо раскачивалась на своей качели с книгой в руках. Мне показалось, что она с каким-то укором подняла на меня свои чудные глаза, точно я изменял ей каждым своим шагом. Но разве могло быть какое-нибудь сравнение этого ребенка с настоящей женской красотой, живым олицетворением которой являлась она, Александра Васильевна. При дневном свете она показалась мне еще лучше. Как она грациозно шла, какой рост, какое выражение лица… «Она покоится стыдливо в красе торжественной своей», мелькнули у меня в голове стихи Пушкина, а бедная девушка в белом платье все бледнела и бледнела, пока не растаяла, как снегурочка.

– Вы остаетесь на целый день? – говорил я, здороваясь с своей дамой сердца.

– Надя этого хочет… – наивно ответила она и улыбнулась, посмотрев на подругу. – Я уеду вечером, с девятичасовым поездом.

Я чуть не вскрикнул: целый день счастья! Меня эта мысль точно испугала… Целый день – это побольше вечности. Мне почему-то припомнился вычитанный где-то Пепкой анекдот о Гете, скромно признавшемся перед смертью, что он был счастлив в жизни всего четверть часа. А я буду счастлив целый день, целую вечность… Самая обыкновенная прогулка по Шуваловскому парку для меня являлась мировым событием, перед которым бледнело все остальное. Это было торжественное шествие царицы, для которой светило солнце, цветы лили свой аромат, благоговейно шептали деревья, а воздух окружал светлым облаком… Я мог только удивляться слепоте встречавшихся на дороге людей, которые упорно не хотели замечать проходившего мимо них совершенства. Несчастные, они ничего не понимали, а между тем все кричало: гряди, голубица!..

Мы долго гуляли по всему парку, и мне казалось, что он принадлежит мне, и я показываю его своей избраннице. Наденька продолжала свою вчерашнюю политику и разными способами устраняла себя, предоставляя нам полную свободу. Наденька любила рвать цветы, хотя это и было строго воспрещено аншлагами; Наденька любила дурачиться, как козочка, и пряталась за

деревьями; Наденька уставала и садилась на каждую скамейку отдыхать… А я опять шел под руку с Александрой Васильевной, опять чувствовал, как она опирается на мою руку, опять что-то рассказывал, и опять она так хорошо и доверчиво улыбалась.

– Скажите, пожалуйста, как пишут романы?.. – спрашивала она. – Я люблю читать романы… Ведь этого нельзя придумать, и где-нибудь все это было. Я всегда хотела познакомиться с романистом.

Наденька поусердствовала, и я должен был фигурировать в качестве реализовавшегося романиста. Это была ложь, но в данный момент я так верил в себя, что маленькая хронологическая неточность ничего не значила, – пока я печатал только рассказики у Ивана Иваныча «на затычку», но скоро, очень скоро все узнают, какие капитальные вещи я представлю удивленному миру. Положим, я забегал немного вперед своей славе, но важно верить в себя, в свою миссию, в свои идеалы. Одним словом, я разыгрывал роль романиста самым бессовестным образом и между прочим сейчас же воспользовался разработанным совместно с Пепкой романом девушки в белом платье, поставив героиней Александру Васильевну и изменив начало. Я прямо взял нашу вчерашнюю встречу и к ней приделал роман нашей девушки в белом платье. На мою долю выпадала выигрышная роль героя, преодолевающего очень серьезные препятствия. В сущности я делал самый бессовестный плагиат и нисколько не стеснялся. Мой герой, то есть я, высказывал Александре Васильевне все то, что я чувствовал и переживал сам. Кроме того, я не пощадил своего друга и для контраста провел параллель несчастного романа Любочки и кое-что кстати позаимствовал из беседы с ней. Под конец я сам удивлялся самому себе, то есть своей находчивости, – ведь это было целое и обстоятельное объяснение в любви, замаскированное романической фабулой.

– И вы все это написали? – наивно удивлялась Александра Васильевна, окончательно убеждаясь в моем признании романиста.

– Да… то есть еще не кончил. Необходимо кое-что исправить, кое-что дополнить, вообще – докончить.

– Ах, как это интересно, Василий Иваныч…

– Когда выйдет моя книга, я преподнесу ее вам первой…

– Мне? О, я очень благодарна…

Видимо, она не догадывалась, в чем заключается суть моего будущего романа, и не узнавала себя в нарисованной мной героине. Конечно, она немножко наивна… да. Даже – как это выразиться повежливее? – почти глупа той красивой и милой глупостью, которую самые умные и самые строгие мужчины так охотно прощают хорошеньким женщинам. Увы! она никогда не получила романа девушки в белом платье, потому что он так и остался в отделе неосуществившихся добрых намерений, хотя в данном случае и сослужил мне хорошую службу. Неужели Пепко прав, уверяя, что наши лучшие намерения никогда не осуществляются и каждый автор должен умереть, не исполнив того, что он считает лучшей частью самого себя? Только золотая посредственность довольна собой, а настоящий автор вечно мучится роковым сознанием, что мог бы сделать лучше, да и нет такой вещи, лучше которой нельзя было бы представить. Всякая форма – только жалкое приближение к авторскому замыслу…

Как это хорошо, когда чувствуешь, что она тебе верит и сам веришь себе… Именно так и было в данном случае. Александра Васильевна сама разболталась и так мило рассказывала мне

разные мелочи из своей жизни.

– Вы только не смейтесь надо мной, – упрашивала она кокетливо.

– Почему вы думаете, что я буду смеяться над вами?

Она сделала серьезное лицо, посмотрела на меня и ответила с самой милой наивностью:

– Вы такой умный…

Мне оставалось только расписаться в собственной гениальности, что я сделал молчанием, хотя и смутился от собственного величия. Кажется, это уж немножко много, а главное – преждевременно. Впрочем, я так далеко зашел, что действительность совершенно тонула в целом мире вымыслов и галлюцинаций. Я уже был знаменит по той простой причине, что она шла рядом со мной и так доверчиво опиралась на мою руку. Ведь я ее вел к такому светлому будущему и вперед отдавал ей всю свою славу, всю жизнь. И вековые деревья соглашались со мной, и плывшие в небе облака, и бродившие между деревьями тени…

Наденьке, наконец, надоело разыгрывать роль доброго гения, и она заявила без церемоний:

– Господа, я хочу есть… Голодна до бессовестности.

– Что же, отлично… Мы позавтракаем в ресторанчике доброй лесной феи, она же и ундина, – согласился я. – Это отсюда в двух шагах…

У меня в кармане был всего один рубль, и я колебался, как устроиться с ним: предложить дамам катанье на лодке или «легкий» завтрак. Наденька разрешила мои сомнения.

Мы весело отправились к доброй лесной фее, и я вперед рисовал себе этот уютный лесной уголок, который послужит приютом нашей любви, – в моем воображении она уже любила меня, и я говорил «мы». Я вперед любил этот приют и добрую лесную фею. Небольшая дачка совсем пряталась под столетними соснами.

– Вот и приют доброй лесной феи, – торжественно провозгласил я, вводя своих дам в палатку маленького садика.

Наденька уже раскрыла рот, чтобы рассмеяться, но взглянула на один из столиков, задрапированных акациями, и превратилась в немой вопрос. За столиком сидели Пепко и Любочка… Встреча была настолько неожиданна, что мы оба смутились и даже церемонно раскланялись, как дальние родственники. Любочка смотрела на меня торжествующими злыми глазами и улыбалась. Я ничего не понимал. Это был какой-то нелепый сон, и я с облаков упал прямо на землю. Пепко по присущей ему бессовестности подошел к Наденьке и попросил представить его «прелестной незнакомке», а я подошел к Любочке.

– Вы удивлены, да? – спрашивала она, подавая мне два пальца, и прибавила, сверкая глазами: – Ловко вы меня обманывали целую ночь, а я оказалась умнее вас. Доехала до Шувалова и сообразила все… Конечно, Агафон Павлыч должен быть дома, и вы меня все время водили за нос. Дождалась обратного поезда и вернулась… Ха-ха! Я видела, как вы погнались за своими дамами, и накрыла Агафона Павлыча. Он и не думал никуда уезжать… Я вам этого никогда, никогда не прощу!.. Вы бессовестный человек… Я даже не могла себе представить, что такие люди вообще могут быть. Вы – чудовище…

Мне ничего не оставалось, как только поднять плечи и сделать большие глаза. Я понял, что

Пепко продал меня самым бессовестным образом и за мой счет вышел сух из воды.

– Вот и отлично, – повторял Пепко, потирая руки. – Мы тут позавтракаем совсем по-семейному…

Это бессовестное животное, кажется, рассчитывало на мой несчастный рубль, сохраняя за собой престиж любезного кавалера. Меня это окончательно возмутило. Вся прогулка была испорчена. В довершение всего Пепко смотрел на Александру Васильевну такими глазами, что мне хотелось «дать ему на морда», как говорил Гамм. А Пепко ничего не хотел замечать и даже подмигнул мне: дескать, знаем, что знаем. Мои дамы были недовольны обществом Любочки, к которой отнеслись почти враждебно. Недавняя непринужденность исчезла разом, и скромный завтрак прошел совсем скучно. Торжествовала одна Любочка и сама первая взяла Пепку за руку, когда мы поднялись.

Эта встреча отравила мне остальную часть дня, потому что Пепко не хотел отставать от нас со своей дамой и довел свою дерзость до того, что забрался на дачу к Глазковым и выкупил свое вторжение какой-то лестью одной доброй матери без слов. Последняя вообще благоволила к нему и оказывала некоторые знаки внимания. А мне нельзя было даже переговорить с Александрой Васильевной наедине, чтоб досказать конец моего романа.

Да, вторая часть дня совершенно пропала для меня… Дорогие минуты летели, как птицы, а солнце не хотело останавливаться. Вечер наступал с ужасающей быстротой. Моя любовь уже покрывалась холодными тенями и тяжелым предчувствием близившейся темноты.

– Вы меня проводите на вокзал… – устало проговорила Александра Васильевна, когда вечерний чай кончился и кое-где на дачах замелькали огоньки. – Мне пора домой…

О, милая, как она была хороша, завоевывая себе несколько свободных минут. Наденька не пошла провожать, сославшись на головную боль. Она же задержала Любочку под каким-то предлогом… Мы отправились вдвоем. Я нарочно замедлял шаги, чтобы опоздать на поезд и выгадать лишний час. Мы медленно спускались с горы, болтая о каких-то пустяках, а я испытывал жуткое чувство, точно расставался с своей дамой навсегда. Бывают пророческие сны и роковые предчувствия… В то же время я чувствовал, что сегодняшний день имеет решающее значение и что он не вернется никогда, что совершилось что-то такое огромное и подавляющее и что я уже не могу вернуться к своему прошлому. А маленькие ножки все шли вперед, к тому неизвестному будущему, которое должно было разлучить нас навсегда… Мне вдруг сделалось жаль себя, жаль за серенькое существование, за неизжитую молодость, за неудовлетворенный проблеск счастья. Ведь с ней уходила моя первая любовь, целый светлый мир, все будущее… Вот остается жить только маленькое расстояние, отделяющее нас от вокзала. Кто знает, что могло бы быть, если бы поезд опоздал, но поезда опаздывают совсем не тогда, когда это нужно. Он подошел к станции как раз в момент, когда подходили мы, так что я едва успел купить билет. Это уж второй раз сегодня я провожаю: там я рад был избавиться, а здесь готов был удержать поезд руками. У меня даже мелькнула мысль ехать провожать в город, но – увы! – в кармане оставался всего один пятачок.

– До свидания… – говорила Александра Васильевна, появляясь в окне вагона. – Не забудьте, я вас буду ждать. Непременно…

Она что-то хотела еще сказать, но поезд уже тронулся, и сказанная ею фраза улетела на воздух.

Я возвращался домой в самом мрачном настроении, как человек, который нашел сокровище и

сейчас же его потерял. Я почему-то припомнил психологию творчества, которую развивал Пепко, и горько усмехнулся. Она уже начиналась.

# XXII

– Пепко, ты большой негодяй.

– Гм… Пожалуй, я не буду спорить. Но негодяй создан негодяем и не виноват, что природа создала его именно негодяем, а нехорошо то, когда люди порядочные, то есть те, которые считают себя порядочными, знаются с негодяями. Скажи мне, кто твои друзья, и так далее.

– Это игра слов, а я говорю серьезно. Самое скверное то, что ты утратил всякий аппетит порядочности. Да… Ты еще можешь смеяться над собственными безобразиями, а это признак окончательного падения. Глухой не слышит звуков, слепой не видит света, а ты не чувствуешь тех гадостей, которые проделываешь. Одним словом, ты должен жениться на Любочке…

Заключение было так неожиданно, что Пепко сел на своем девственном ложе, как он называл матрац, посмотрел на меня удивленными глазами и расхохотался. Ничто меня так не выводило из себя, как этот дурацкий хохот. Я ненавидел Пепку в эти моменты и не скупился на дерзости. Его поведение в последнее время возмущало меня до глубины души, а теперь в особенности, потому что я весь был полон самыми возвышенными чувствами. Александра Васильевна являлась для меня мерой всех вещей, и, обличая Пепку, я думал о ней. Я был уверен, что она сказала бы то же самое, что говорил сейчас я сам.

– Послушай, время пророков миновало, – отвечал Пепко, успокоившись от хохота. – Да… Например, явись Исайя или Иеремия и начни обличать прогрессирующую современность – им бы пришлось не сладко… Да и самое слово в наше время потеряло всякую цену, мы не верим словам, потому что берем их напрокат. Слово ветхого человека было полно крови, оно составляло его органическое продолжение, поэтому оно и имело громадное значение. Какой смысл твоего обличения? Ведь обличать имеет право только тот, кто сам не сделал ничего дурного, а ты сделаешь хуже, чем я. Если не сделал, то еще сделаешь. Вся разница между нами только в том, что я избалован женщинами… Разве я виноват?

– Женщинами? Ха-ха!.. Мелюдэ и Любочка…

– Гм… Совершенства на земле, к сожалению, нет, и опять-таки я в этом не виноват.

– Нет, уж извини: есть совершенство. Понимаешь: есть!..

Мой ответ был высказан с таким азартом, что Пепко посмотрел на меня испытующим оком, издал носовой свист и проговорил успокоенным тоном:

– По-ни-ма-ю… Мы влюблены. Что же, священная римская империя тоже была разрушена…

– Молчи, несчастный!..

Эта глупая по своему существу сцена заставила меня задуматься. Мне казалось, что Пепко был прав относительно моей предполагаемой преступности. Я даже немного покраснел, когда он высказал свою мысль, точно он видел мои собственные сомнения. Дело было так. Проходя мимо дачи с качелями, я машинально засмотрелся на девушку в белом платье, – она была как-то особенно хороша в этот роковой момент, хороша, как весеннее утро, когда ликует один свет и нет ни одной тени. Мне показалось, что и она тоже смотрит на меня, и я почувствовал какую-

то сладкую истому. Потом у меня мелькнула в голове страшная мысль: я изменял Александре Васильевне… Разве я имел право смотреть на других женщин? Продолжая мысль Пепки о моей непроявившейся преступности, я пришел в недоумение. А если бы эта девушка в белом платье полюбила меня? По-настоящему полюбила… Ведь я по своей испорченности могу думать об этом, следовательно, допускаю такую возможность. И мне не было бы неприятно… О, какое чудовище я вынашивал в собственной груди! Пепко по крайней мере действует откровенно, как откровенно лесной зверь рвет другого зверя. Он – человек минуты и растворяется без остатка в настоящем, как брошенная в стакан воды крупинка соли. Я начинал чувствовать себя погибшим человеком и чувствовал, что единственное спасение – это увидать Александру Васильевну, – один ее взгляд разогнал бы угнетавшие меня призраки.

Тут явилось непреодолимое препятствие, испортившее все. Ведь не мог же я явиться к ней в своих высоких сапогах… Сделав осмотр своего сборного репортерского костюма, я пришел к печальному заключению, что он удовлетворяет еще меньше, чем сапоги. Оставался компромисс, именно – добыть чужой костюм. Гардероб Пепки находился в положении излюбленной им разрушавшейся священной римской империи и заставлял желать многого. Студенты-товарищи разъехались по домам. Одним словом, скверно, как только может быть скверно. На меня напало отчаяние. В самом деле, судьба могла бы быть немного повежливее… Я поверил свое горе Пепке, и он отнесся к нему с большим сочувствием, чем тронул меня.

– Нет, в этих сапожищах невозможно, – размышлял он, оглядывая меня. – Слава и женщины не любят, когда к ним подходят в скверных сапогах. Да… Это, так сказать, мировой вопрос. Я даже подозреваю, что и священная римская империя разрушилась главным образом потому, что римляне не додумались до сапог.

– Отвяжись ты с своей римской империей!

– А она, значит, приглашала тебя к себе? Гм… Для начала недурно. Пикантная штучка…

– Не смей так говорить…

– Если взять за бока академию… – вслух думал Пепко. – Гришук выше тебя ростом, Фрей толще, Порфирыч санкюлот… гм… Ничего не выйдет, как ни верти. Молодин куда-то пропал… Да и неловко с такими франтиками амикошонствовать… Знаешь что, Вася…

Пепко повертел пальцем около лба и проговорил с авторитетом старшины присяжных заседателей:

– Тебе ничего не остается, как только кончить твой роман. Получишь деньги и тогда даже мне можешь оказать протекцию по части костюма!.. Мысль!.. Единственный выход… Одна нужда искусством двигала от века и побуждала человека на бремя тяжкое труда, как сказал Вильям Шекспир.

Пепко вторично угадал мою мысль. Я уже думал об этом, хотя не с экономической точки зрения. У меня явилась потребность именно в такой работе, которая открывала необъятный простор фантазии. Вот единственный случай, когда можно излить на бумагу все свои чувства, все свои мысли и заставить других чувствовать и думать то же самое. Это будет замаскированная исповедь, то, чего нельзя создать никаким трудом, никакой добросовестностью. Мне припомнилась аллегорическая картина, изображавшая происхождение живописи. Южная лунная ночь. У стены стоит молодой человек и молодая девушка. Он углем вычерчивает на стене абрис ее головки. Ах, как это справедливо и верно… Ведь и я буду делать то же, но только не в области живописи, которую Гейне называет плоской

ложью, а создам чудный женский образ словом. Все остальное будет только фоном, подробностями, светотенью, а главное – она, которая выйдет в ореоле царицы.

– О, ты все это прочтешь и поймешь, какой человек тебя любит, – повторил я самому себе, принимаясь за работу с ожесточением. – Я буду достоин тебя…

Но этот порыв привел к целому ряду самых печальных открытий. Перечитав свои рукописи, я пришел к грустному заключению, что все написанное мной решительно никуда не годится, как плохая выдумка неопытного лгуна. Не было жизни, потому что не было знания жизни, и мои действующие лица походили на манекенов из папье-маше. Я только теперь понял, что придумывать жизнь нельзя, как нельзя довольствоваться фотографиями. За внешними абрисами, линиями и красками должны стоять живые люди, нужно их видеть именно живыми, чтобы писать. Это самый таинственный процесс в психологии творчества, еще более таинственный, чем зарождение какого-нибудь реально живого существа. В самом деле, какая страшная сила заложена в произведения, созданные две тысячи лет назад и вызывающие у нас слезы на глазах сейчас. Это такая неизмеримо-громадная задача, перед которой цепенел ум. Нужно было быть избранником, солью земли, чтобы набраться решимости приступить к такой задаче. И, представьте себе, то, что называется классической литературой, самые выдающиеся произведения были написаны за много лет раньше, чем явилась критика с своим аршином. При чем тут эта критика, и как она бедна… Я много читал и нигде не нашел того, что сейчас раскрывалось перед моими глазами. Нет, неправда: в исповеди Ж. – Ж. Руссо есть одно место, где он близко подходил к истине, объясняя процесс зарождения своих произведений. Кстати, я припомнил афоризм Любочки, что влюбленный человек понимает все, как я сейчас понимал все. Да, все… Это смело сказано и может вызвать снисходительную улыбку, но это правда, и я еще раз обращаюсь к сравнению: любовь – это молния, которая всполохом выхватывает громадную картину жизни, и вы видите эту картину в мельчайших подробностях, ускользающих от внимания в обыкновенное время.

Бывают такие моменты, когда человек начинает проверять себя, спускаясь в душевную глубину. Ведь себя нельзя обмануть, и нет суровее суда, как тот, который человек производит молча над самим собой. Эта психологическая анатомия не оставляет камня на камне. В такие только минуты мы делаемся искренними вполне. Проверяя самого себя, я пришел к выводам и заключениям самого неутешительного характера и внутренно обличил себя. Прежде всего, недоставало высокой нравственной чистоты, той чистоты, которую можно сравнить только с чистотой драгоценного металла, гарантированного природой от опасности окисления. Эту чистоту заменяла условная порядочность и самая обыкновенная нравственная чистоплотность. На этом скромном основании не могло развиваться в полную величину ни одно чувство, и оно появлялось на свет уже тронутым и саморазлагающимся, как новый лист растения, который развертывается из почки с роковыми пятнами начинающегося гниения. Гнилостное заражение происходило еще в зародыше. Как видите, я нисколько не обманывал себя относительно собственной особы и меньше всего верил в так называемые молодые порывы. Эта беспощадная критика имела тот смысл, что таким душевным тоном среднего человека нельзя писать, потому что все исходит из таинственных глубин нашего чувства. Мой роман сейчас меня приводит в отчаяние, как величайшая нелепость, вылепленная с грехом пополам по чужому шаблону. Я в отчаянии швырнул свою рукопись в угол.

– Ты это что? – удивился Пепко, никогда не терявший присутствия духа и лишенный способности приходить в отчаяние. – Малодушие?.. Разочарование в собственной особе?

Я молчал и только смотрел на него злыми глазами. Эта самодовольная посредственность не могла ничего понять, так что слова были излишни. В Пепке я ненавидел сейчас самого себя.

– Мы желали быть великими… гм… – думал вслух Пепко, начиная шагать по конуре. – Желание по своему существу довольно скромное, как всякое стремление к совершенству, прогрессу и еще черт знает к чему-то зазвонистому, сногсшибательному. Хе-хе… Прежде чем человек что-нибудь сделал, он разрешает вопрос о своей правоспособности на таковое величие и геройство. Очень недурно и даже мило… Настоящий большой талант вне всякой условной меры, вернее – он сам мера самому себе. Все эти рамочки, шаблоны и трафареты существуют только для жалкой посредственности… Настоящий большой человек никогда не будет думать, есть у него талант или нет, как не думает об этом река, когда в весеннее половодье выступает из берегов, как не думает соловей, который поет свою любовь. Вышло одно, именно – это томящая потребность выложить свою душу, охватить мир, подняться вверх… Даже самая добродетель теряет здесь всякую цену, потому что она никому не нужна, а нужны творчество, вдохновенье, высокий порыв.

– Река, берущая начало из нечистого источника, не может быть чистой, то есть утолять жажду.

– Все это прописная мораль, батенька… Если уж на то пошло, то посмотри на меня: перед тобой стоит великий человек, который напишет «песни смерти». А ведь ты этого не замечал… Живешь вместе со мной и ничего не видишь… Я расплачусь за свои недостатки и пороки золотой монетой…

– Твое величие совершенно недоступно… невооруженному глазу.

– В тебе говорит зависть, мой друг, но ты еще можешь проторить себе путь к бессмертию, если впоследствии напишешь свои воспоминания о моей бурной юности. У всех великих людей были такие друзья, которые нагревали свои руки около огня их славы… Dixi.[28] Да, «песня смерти» – это вся философия жизни, потому что смерть – все, а жизнь – нуль.

# XXIII

Мое отчаяние продолжалось целую неделю, потом оно мне надоело, потом я окончательно махнул рукой на литературу. Не всякому быть писателем… Я старался не думать о писаной бумаге, хоть было и не легко расставаться с мыслью о грядущем величии. Началась опять будничная серенькая жизнь, походившая на дождливый день. Расспрощавшись навсегда с собственным величием, я обратился к настоящему, а это настоящее, в лице редактора Ивана Ивановича, говорило:

– Что вы пишете мелочи, молодой человек? Вы написали бы нам вещицу побольше… Да-с. Главное – название. Что там ни говори, а название – все… Французы это отлично, батенька, понимают: «Огненная женщина», «Руки, полные крови, роз и золота». Можно подпустить что-нибудь таинственное в названии, чтобы у читателя заперло дух от одной обложки…

Первый месяц своей дачной жизни мы с Пепкой как-то совсем порвали и с «академией» и с Петербургом. Но «необходимость жевать» напомнила нам о том и о другом. Буквы а, е и о, которые Пепко называл своими кормилицами, давали ничтожный заработок, репортерской работы летом не было, вообще приходилось серьезно подумать о том, что и как жевать. А тут еще Любочка, которая начала систематически донимать Пепку. Она являлась ровно через день, как на службу, и теперь уже не стеснялась моим присутствием, чтобы разыгрывать сцены ревности, истерики и даже обмороки. Пепко только скрипел зубами от подавленной ярости, но ничего не мог поделать. При появлении Любочки я обыкновенно уходил, коварно предоставляя друга его собственной судьбе. Возвращаясь, я заставал самую мирную картину: Пепко обладал секретом успокаивать Любочку. Мне казалось, что он пускал в ход тот же маневр, как хозяин моей первой квартиры. Он заговаривал Любочку пустыми словами. Она была счастлива, как

поденка, и уезжала домой с улыбкой на лице. Пепко провожал ее тоже с улыбкой, а когда поезд отходил, впадал в моментальную ярость и начинал ругаться даже по-чухонски.

– Она из меня все жилы вытянула… Что я буду делать? Отчего я не турецкий султан и не могу бросить ее в воду, зашив предварительно в мешок? Отчего я не могу ее заточить куда-нибудь в монастырь, как делалось в доброе старое время? Проклятие вам, все женщины, все, все… Я чувствую, что меня оставляют последние силы, и я могу только воскликнуть с милашкой Нероном: какой великий артист погибает!.. Проклятие… и еще раз проклятие… О, я знаю, что такое женщина: это живая ложь, это притворство, это мертвая петля, это отрава…

– Послушай, ты говоришь, как старинный византийский хронограф…

– Женщина – это воплощение всяческой неправды и греха. Она создана на нашу погибель, вот эта самая милая женщина… И ведь какими детскими средствами они нас пугают – смешно сказать. Любочка твердит одно: утоплюсь, отравлюсь, брошусь под поезд. Нарочно читает газеты, вырезывает из них подходящие случаи самоубийства и преподносит их мне в назидание. Как это тебе понравится? И ведь знаю, отлично знаю, что не отравится и не утопится, а все-таки как-то жутко… Черт ее знает, что ей взбредет в башку! Благодарю покорно… Оставит еще записку: «Умираю от несчастной любви к такому-то студенту». Все газеты перепечатают, потом носа никуда нельзя будет показать… О, женщины, проклятие вам! Недаром в Китае считается верхом неприличия спросить почтенного человека о его жене или дочерях…

– Послушай, Пепко, ведь это прекрасная тема…

– Тема? Тьфу… Знаешь, чем все кончится: я убегу в Америку и осную там секту ненавистников женщин. В члены будут приниматься только те, кто даст клятву не говорить ни слова с женщиной, не смотреть на женщину и не думать о женщине.

– Бедные женщины!.. А я все-таки воспользуюсь твоей темой и даже название придумал: «Роман Любочки».

– А, черт, все равно… Катай Ивану Иванычу. Только название нужно другое… Что-нибудь этакое, понимаешь, забористое: «На волосок от погибели», «Бури сердца», «Тигр в юбке». Иван Иваныч с руками оторвет…

– Да, но… гм… Как-то претит, Пепко…

– Э, вздор! Печатаясь у Ивана Иваныча, никто не мешает тебе сделаться Шекспиром… Это даже полезно, потому что расширяет горизонт. Необходимо пройти школу…

Пепко умел возвышаться до настоящего красноречия, как я уже говорил, но в данном случае его слова для меня были пустым звуком. Конечно, я писал кое-какие мелочи для Ивана Иваныча, но здесь шел вопрос о «большой вещице», а это уже совсем другое дело. У меня уже составился целый план настоящего романа во вкусе Ивана Иваныча, и оставалось только осуществить его. Но даже в замысле мне все это казалось жалким предательством, почти изменой, потому что все это было только сделкой и подлаживаньем. Писать для настоящего большого журнала и писать для Ивана Иваныча – вещи несоизмеримые, и я вперед чувствовал давление невидимой руки. С этой именно точки зрения забракованный мною собственный роман показался мне особенно милым. Да, он выдуман, он вместо живых лиц дает манекенов, он не художественное произведение вообще, но зато он писался вполне свободно, писался для избранной публики, писался вообще с тем подъемом духа, который только и делает автора. А от Ивана Иваныча веяло спертым воздухом мелочной лавочки и ремесленничеством, которое

сводится на угождение публике. Тут не до идей и высоких помыслов… Я вперед предвидел, как от такой работы будет понижаться мой собственный душевный уровень, как я потеряю чуткость, язык, оригинальность и разменяюсь на мелочи. Вообще скверно. И это с самого начала, а что же будет потом?

Я опять перечитывал свой роман и начинал находить в нем некоторые достоинства, как описания природы, две-три удачных сцены, две-три характеристики. Есть авторы, которые выступают сразу в своем настоящем амплуа, и есть другие авторы, которые поднимаются к этому амплуа точно по лесенке. Вдумываясь в свое сомнительное детище, я отнес себя к последнему разряду. Да, впереди предстоял целый ряд неудач, разочарований и ошибок, и только этим путем я мог достигнуть цели. Я нисколько не обманывал себя и видел вперед этот тернистый путь. Что же, у всякого своя дорога… Ведь музыкант, прежде чем перейти к композиторству, должен пройти громадную школу, художник тоже, и одна теория ни тому, ни другому не дает еще ничего, кроме знания. Автору приходится сразу выступать композитором, и в этом громадная разница. Конечно, и у автора есть свой подражательный период, который только постепенно сменяется тем своим, что одно только и делает автора. В этом своем, как бы оно мало ни было, заключается весь автор; разница только в степени. Есть свои рядовые, офицеры, генералы и даже фельдфебеля и унтер-офицеры.

Все эти мысли и чувства проходили у меня довольно бессвязно, путались, сбивали друг друга и производили тот хаос, в котором трудно разобраться. А нужно было жить, нужно было работать… Ждать было нечего. Скрепя сердце я принялся за работу для Ивана Иваныча. Помню, как мне было совестно писать: «Роман в трех частях». Название пока еще не выяснилось, вернее – было несколько названий. Я старался писать потихоньку от Пепки, когда он пропадал в «Розе» или отправлялся с Любочкой гулять в парк. Стоял уже июль. Погода была жаркая, и работа туго подвигалась вперед. Мне все казалось, что я пишу не то, что следует, и начинаю торговать собой. Это было мучительное сознание, которое отравляло всю работу. Предо мной неотступно стоял Иван Иваныч с своей жирной улыбочкой и поощрительно говорил: «Ничего, уйдет на затычку»… А за ним стояла громадная толпа, которая требовала закрученной темы, кровавых эпизодов, экстравагантной завязки. Я начинал ненавидеть и эту толпу и самого Ивана Иваныча, которые совместно давили меня. Ведь, кажется, можно было написать хорошую «вещицу» и для этой толпы, о которой автор мог и не думать, но это только казалось, а в действительности получалось совсем не то: еще ни одно выдающееся произведение не появлялось на страницах изданий таких Иванов Иванычей, как причудливая орхидея не появится где-нибудь около забора. Всякому овощу свое место и свое время.

Раз я сидел и писал в особенно унылом настроении, как пловец, от которого бежит желанный берег все дальше и дальше. Мне опротивела моя работа, и я продолжал ее только из упрямства. Все равно нужно было кончать так или иначе. У меня в характере было именно упрямство, а не выдержка характера, как у Пепки. Отсюда проистекали неисчислимые последствия, о которых после.

Итак, я сидел за своей работой. В раскрытое окно так и дышало летним зноем. Пепко проводил эти часы в «Розе», где проходил курс бильярдной игры или гулял в тени акаций и черемух с Мелюдэ. Где-то сонно жужжала муха, где-то слышалась ленивая перебранка наших милых хозяев, в окно летела пыль с шоссе.

– О юноша, который пренебрег радостями земли и предался сладкому труду, – раздался в окне знакомый голос.

Поднимаю голову и вижу улыбающееся и подмигивающее лицо Порфира Порфирыча. Он был, по обыкновению, навеселе, причмокивал и топтался на месте. Из-за его спины заглядывали в

мое окно лица остальных членов «академии». Они были все тут налицо, и даже сам Спирька с его красным носом.

– Господа, пожалуйте… – приглашал я, пряча свою рукопись.

Компания ввалилась в нашу хибарку и наполнила все пространство, так что нечем сделалось дышать.

– Ото дворюга… – хрипло басил Гришук, который чуть не доставал головой потолка. – А где Пепко, сучий сын? Уехал и адреса не оставил, а мы же сами нашли.

– Не в этом дело… – бормотал Селезнев. – Мы хотели подышать свежим воздухом, как это делают теперь все порядочные люди, и сделать вам сюрприз. Адрес-то я разыскал… Зашел к Федосье и разыскал. Там еще познакомился с некоторой ученой девицей, которая тоже собирается к вам в гости. Говорит, что ее приглашал Пепко. А впрочем, не в этом дело…

Селезнев протянул сжатый кулак, и я понял, что у него есть деньги и что он опять предлагает мне братски разделить их.

– Что же мы будем здесь сидеть зря? – заговорил Спирька, вытирая свою рожу шелковым платком. – Мы ведь приехали подышать воздухом… Где у вас здесь воздух-то полагается?

Можно себе представить приятное изумление Пепки, когда вся «академия» ввалилась в садик «Розы». Он действительно гулял с Мелюдэ, которая при виде незнакомых мужчин вдруг почувствовала себя женщиной, взвизгнула и убежала.

– Это что? – спрашивал Спирька, провожая глазами убегавшую даму. – Ах, нехорошо, молодой человек, и даже весьма вредно… Ужо вот маменьке напишу, какую вы здесь тень наводите.

Дальнейшие события последовали в обычном порядке. Явился «человек» с салфеткой, явилась бутылка водки, бутерброды, солянка, ботвинья и т. д. Фрей был, по обыкновению, молчалив, молча пил рюмку за рюмкой и молча сосал свою трубочку. Спирька раскраснелся, хлопал всех по плечу и предлагал всем денег. Гришук впал в тяжелое настроение, которое им овладевало после десятой рюмки. Селезнев причмокивал, бормотал, подмигивал и все носился с своим кулаком, в котором оказалась зажатой «красная бумага», то есть десять рублей. Пепко был на высоте призвания и распоряжался в качестве тароватого хозяина. Все равно Спирька заплатит за всех. У меня так шумело в голове, и я был рад, что опять вижу «академию». Люди в сущности очень хорошие… Настоящее веселье началось с появлением Гамма, которого Пепко отрекомендовал как своего лучшего друга.

– Ну, немецкая фигура, показывай свой воздух… – заплетавшимся языком приставал к нему Спирька. – Тут была эта штучка… Ах, развей горе веревочкой!..

День промелькнул незаметно, а там загорелись разноцветные фонарики, и таинственная мгла покрыла «Розу». Гремел хор, пьяный Спирька плясал вприсядку с Мелюдэ, целовал Гамма и вообще развернулся по-купечески. Пьяный Гришук спал в саду. Бодрствовал один Фрей, попрежнему пил и попрежнему сосал свою трубочку. Была уже полночь, когда Спирька бросил на пол хору двадцать пять рублей, обругал ни за что Гамма и заявил, что хочет дышать воздухом.

– Жена спросит… где был? Ну, а я скажу… ежели я дышал…

«Роза» уже закрывалась, когда мы очутились на улице, то есть на шоссе. Подняли даже

Гришука, который только мотал головой. Пепко повел компанию через Второе Парголово. Мы шли по шоссе одной гурьбой. Кто-то затянул песню, кто-то подхватил, и мирные обители огласились неистовым ревом. Впереди шел Селезнев, выкидывая какие-то артикулы, как тамбур-мажор. Помню, как мы поровнялись с дачей, где жила «девушка в белом платье». В мезонине распахнулось окно, в нем показалось испуганное девичье лицо и сейчас же скрылось…

«Роман девушки в белом платье» был кончен.

# XXIV

Эту главу я мог бы назвать: «Пробуждение льва», как Пепко называл тот момент, когда просыпался утром.

– Мне кажется, что я только что родился, – уверял он, валяясь в постели. – Да… Ведь каждый день вечность, по крайней мере целый век. А когда я засыпаю, мне кажется, что я умираю. Каждое утро – это новое рождение, и только наше неисправимое легкомыслие скрывает от нас его великое значение и внутренний смысл. Я радуюсь, когда просыпаюсь, потому что чувствую каждой каплей крови, что живу и хочу жить… Ведь так немного дней отпущено нам на долю. Одним словом, пробуждение льва…

Рассуждения, несомненно, прекрасные; но то утро, которое я сейчас буду описывать, являлось ярким опровержением Пепкиной философии. Начать с того, что в собственном смысле утра уже не было, потому что солнце уже стояло над головой – значит, был летний полдень. Я проснулся от легкого стука в окно и сейчас же заснул. Стук повторился. Я с трудом поднял тяжелую вчерашним похмельем голову и увидал заглядывавшее в стекло женское лицо. Первая мысль была та, что это явилась Любочка.

– Пепко, вставай… К тебе.

– К черту… – мычал Пепко.

Он лежал на полу в самой растерзанной позе, как птица, которую раздавило колесом.

– Пепко, это свинство.

Пепко сел, покачал похмельной головой и, взглянув в окно, только развел руками. Он узнал медичку Анну Петровну. Я вчера совершенно забыл предупредить его, что она собирается к нам.

– Голубушка, Анна Петровна, подождите сущую малость, – взмолился Пепко, вскакивая горошком. – Вот так фунт!..

Я тоже поднялся. Трагичность нашего положения, кроме жестокого похмелья, заключалась главным образом в том, что даже войти в нашу избушку не было возможности: сени были забаррикадированы мертвыми телами «академии». Окончание вчерашнего дня пронеслось в очень смутных сценах, и я мог только удивляться, как попал к нам немец Гамм, которого Спирька хотел бить и который теперь спал, положив свою немецкую голову на русское брюхо Спирьки.

– Господа, вставайте… – сделал я попытку разбудить.

Ответил только один голос Спирьки, проговорив в изнеможении:

– Испить бы… Все нутро горит.

Потом голос прибавил умоляющим тоном:

– Где я?

В сенях было темно, и Спирька успокоился только тогда, когда при падавшем через дверь свете увидел спавшего Фрея, Гришука и Порфира Порфирыча. Все спали, как зарезанные. Пепко сделал попытку разбудить, но из этого ничего не вышло, и он трагически поднял руки кверху.

– Что я буду делать? О, что я буду делать?.. Это какой-то свиной хлев, а не жилище порядочных людей. Нечего сказать, товарищи…

– Ты иди сейчас с Анной Петровной гулять в парк, – советовал я, – а я тем временем все устрою. Ты потом найдешь нас в «Розе»…

– Но ведь у меня башка трещит, как у черта… Я ничего не понимаю, наконец. О, несчастный юноша!..

– Ничего, на свежем воздухе оправишься…

– Я чувствую себя свиньей, винной бочкой… Нет ли хоть нашатырного спирта?

– Ступай, ступай… Анна Петровна ждет. Оказывается, что ты сам приглашал ее в гости…

Большего наказания для Пепки нельзя было придумать. Я в окно поздоровался с гостьей и сказал, что Пепко сейчас выйдет. Анна Петровна сегодня выглядела свежее обыкновенного и казалась такой миловидной. В виде уступки летнему сезону на черной касторовой шляпе у нее был неумело прицеплен какой-то сиреневый бант. Вот посмеялась бы Наденька над этим наивным украшением, – она была великая мастерица по части дамских туалетов.

– К нам сейчас нельзя войти… – сбивчиво объяснял я. – Дача у нас крошечная, а вчера к нам приехали из города гости…

– А, понимаю, – протянула Анна Петровна одним звуком, и потрепанный черный зонтик в ее руке сделал нетерпеливое движение. – Я приехала, кажется, не во-время.

– Вы не можете приехать не во-время, – галантно заявил Пепко, показываясь в калитке. – Я вас давно поджидал… погода стоит отличная…

Анна Петровна с печальной улыбкой посмотрела на его измятое лицо, на опухшие красные глаза и как-то брезгливо подала свою маленькую худую ручку.

– Пока мы пройдемся по парку, Анна Петровна…

– Отлично… Я так давно не дышала свежим воздухом.

Пепко подошел ко мне и прошептал:

– Кажется, нам теперь лучше не ходить по Второму Парголову после вчерашнего концерта?

– Ступай в парк Третьим Парголовым… Нам теперь вход во Второе Парголово закрыт навсегда.

Этот вопрос Пепки поднял в моей памяти яркую картину нашего вчерашнего безобразия. Это

было не теоретическое свинство, а настоящее, реальное. Да, теперь со Вторым Парголовым все кончено… Что подумала вчера о нас эта милая девушка в белом платье? Нет, это ужасно… Идет орава пьяных людей и горланит песни. Так могли сделать пьяные дворники, дачный мужик, чухонцы, возвращающиеся из города… И в числе этих забулдыг и трактирных завсегдатаев идет будущий русский писатель? О, он никогда не будет писателем… Слышите, девушка в белом платье: никогда! Меня охватило такое отчаяние, что я готов был расплакаться, как ребенок. Неужели это был я? Где же разум, характер, совесть, где самая простая порядочность? Достаточно было приехать пьяному купцу, книжнику, чтобы мы все напились, как сапожники. Обидно, возмутительно, несправедливо… И как должна нас презирать вот эта серая девушка Анна Петровна, вся такая чистенькая, светлая и как-то печально-серьезная. Она явилась живой совестью нашего безобразного поведения… Об Александре Васильевне я старался не думать: это было святотатством.

– Послушайте, а где моя красная бумага? – умоляюще спрашивал хриплым голосом проснувшийся Селезнев.

Он шарил около себя руками и приходил в отчаяние: деньги были потеряны во время ночной прогулки. Этот случай рассмешил Спирьку до слез.

– Ах, Порфирыч, жаль мне тебя… Вот тебе и несгораемый шкап! Ошибку давал…

Старик вскочил, оделся и побежал в парк разыскивать потерянные деньги, а Спирька лежал и хохотал.

– Говорил вчера: отдай мне на сохранение… Ах, прокурат, прокурат!.. Ну, да деньги дело наживное: не радуйся – нашел, не тужи – потерял.

Через час вся компания сидела опять в садике «Розы», и опять стояла бутылка водки, окруженная разной трактирной снедью. Все опохмелялись с каким-то молчаливым ожесточением, хлопая рюмку за рюмкой. Исключение представлял только один я, потому что не мог даже видеть, как другие пьют. Особенно усердствовал вернувшийся с безуспешных поисков Порфир Порфирыч и сейчас же захмелел. Спирька продолжал над ним потешаться и придумывал разные сентенции.

– Может быть, бедный человек нашел твои десять целковых, ну, Богу помолится за тебя… Все же одним грехом меньше.

– Не в этом дело… гм… последние были.

– А я так делаю: постоянно молю Бога, чтобы самому кого не обидеть, а ежели меня кто обидит – мне же лучше. Так-то, малиновая голова…

Гришук и Фрей упорно молчали, как люди, которые шли на что-то с отчаянной решимостью.

– Эй ты, зебра полосатая, еще ейн фляш! – приказывал Спирька трактирному человеку и хохотал: слово «зебра» ему казалось очень смешным.

«Академия» была уже на первом взводе, когда появился Пепко в сопровождении своей дамы. Меня удивила решимость его привести ее в этот вертеп и отрекомендовать «друзьям». По глазам девушки я заметил, что Пепко успел наговорить ей про «академиков» невесть что, и она отнеслась ко всем с особенным почтением, потому что видела в них литераторов.

– Зачем ты затащил ее сюда? – журил я Пепку.

– Во-первых, дома у нас нет ни чаю, ни сахару, во-вторых, у меня башка трещит с похмелья, а дома ни одной капли водки, и в-третьих… да, в-третьих…

Пепко прищурил один глаз, покривил лицо и проговорил с особенной таинственностью, точно сообщил секрет величайшей важности:

– Я – несчастный человек, и больше ничего…

– Анна Петровна влюблена в тебя? – предупредил я исповедь.

– И даже очень… Три раза сказала, что скучает, потом начала обращать меня на путь истины… Трогательно! Точно с младенцем говорит… Одним словом, мне нельзя сказать с молоденькой женщиной двух слов, и я просто боялся остаться с ней дольше с глазу на глаз.

– Боялся, что она бросится к тебе на шею? Ах ты, шут гороховый…

Воображаю, как вознегодовала бы Анна Петровна, если бы только подозревала мысли Пепки. Мне вчуже было совестно за нее.

– Вы уж нас извините, барышня, – оправдывался Спирька за всех. – Человек не камень, в другой раз и опохмелиться захочет… Вышла у нас вчера небольшая ошибочка. Я так полагаю, что это не иначе, как от свежего воздуху. Ошибет человека, ну, он и закурит…

Девушка наскоро выпила стакан чаю и начала прощаться. Она поняла, кажется, в какое милое общество попала, особенно когда появилась Мелюдэ. Интересно было видеть, как встретились эти две девушки, представлявшие крайние полюсы своего женского рода. Мелюдэ с нахальством трактирной гетеры сделала вид, что не замечает Анны Петровны. Я постарался увести медичку.

– Я в первый раз вижу так близко этого сорта женщину… – говорила Анна Петровна с своей больной улыбкой. – Какая она красивая… Мне очень было интересно посмотреть на нее. Зачем вы меня увели?

– Нет, Анна Петровна, это не годится… Да и интересного мало. Лучше я вам расскажу…

Анна Петровна вздохнула и оглянулась, точно за ней по пятам гналась красивая тень этой жертвы общественного темперамента.

Появление «академии» имело роковое значение в нашем летнем сезоне, потому что послужило поворотным пунктом. Приходилось отсиживаться в своей избушке. На прогулки я выходил или ранним утром, или поздним вечером. Мне казалось, что все указывают на нас пальцами. Ничего не оставалось, как углубиться в роман для Ивана Иваныча, что я и делал. Правда, что эта роль падшего ангела доставалась нелегко, но человек может привыкнуть ко всему. Вообще было скверно и гадко на душе, и я долго не мог забыть нашей дикой прогулки по Второму Парголову. Специально для Пепки этот день принес некоторые специальные огорчения. Оказалось, что Анна Петровна приезжала с специальной миссией завести переговоры с Пепкой относительно Любочки, о положении которой она знала от Федосьи. Первая неудача не остановила медичку, и она явилась к нам вторично, но на этот раз вместо «академии» столкнулась с самой Любочкой, встретившей ее крайне враждебно, как явную соперницу. Произошла пренелепая сцена, причем Пепко очутился в положении свиньи, которую палят на огне со всех сторон.

– Вас кто просил заступаться за меня? – наступала Любочка на Анну Петровну с каким-то

бабьим азартом. – Это мое дело…

– Да ведь я в ваших же интересах хотела поговорить с Агафоном Павловичем…

– Покорно благодарю… Знаю я, какие у вас интересы. Отбить хотите у меня Агафона Павловича, вот и весь сказ… Меня не проведете. А еще студентка!..

– Послушайте, вы забываетесь…

– Нет, это вы забываетесь и считаете меня круглой дурой. Не беспокойтесь, живая не дамся в руки. Не таковская… Самой дороже стоит. Я ведь не посмотрю, что вы ученая, и прямо глаза выцарапаю… да. Я в ваши дела не мешаюсь: любите, кого хотите, а меня оставьте.

Дальше последовала непритворная истерика, угрозы по неизвестному адресу и вообще скандал в благородном семействе. Положение Пепки было самое отчаянное, и он молча скрежетал зубами.

– Значит, мне остается только уходить? – закончила сцену Анна Петровна, обращаясь к Пепке. – Я вступилась в это дело именно потому, что имею несчастие принадлежать к одной с вами корпорации, и могу только пожалеть…

– И уходите, и не нужно!.. – голосила Любочка. – Жениха вы себе ищете, вот что… Да не туда попали. Адрес не тот…

В сущности своим неистовым поведением Любочка спасла Пепку в глазах Анны Петровны.

– Это ужасно… ужасно… – повторяла она, когда я провожал ее на вокзал.

– Да, и не совсем красиво…

– И вы можете так спокойно говорить об этом? – возмущалась Анна Петровна уже по моему адресу. – Какая испорченность…

– Будемте справедливы, Анна Петровна: при чем же я-то тут? Поставьте себя на мое место. Вообще самая грустная ошибка.

– Хороша ошибка!.. И такая женщина… Нет, скажите мне, что могло их связать?

При всем желании дать основательный ответ на этот наивный вопрос, я только должен был пожать плечами. Мы говорили на двух разных языках.

## XXV

Наш летний сезон закончился «историей серого человека», о которой я и расскажу здесь, хотя и приходится несколько забежать вперед.

Вторая половина нашего дачного сезона прошла довольно скучно. Мы редко показывались из дома и вели жизнь отшельников. Не думаю, что этим мы исправили свою репутацию, которую, как известно, достаточно потерять всего один раз. Пепко был особенно мрачен и отдыхал только в «Розе». Даже периодические нападения Любочки уже потеряли свой острый характер и, кажется, начинали надоедать ей самой. Она теперь ревновала Пепку к Анне Петровне, упорно и несправедливо, как это умеют делать только безнадежно влюбленные женщины.

– Черт возьми, она наводит на меня дурные мысли! – ругался Пепко, напрасно стараясь рассердиться. – Так я и в самом деле могу влюбиться в Анну Петровну… Она мне даже начинает нравиться. Я так не люблю, когда женщина первая начинает подавать реплики… Это мое несчастье, что женщины не могут видеть меня равнодушно…

– У тебя просто расстроенное воображение, Пепко. Могу тебя уверить, что твоя единственная победа – это Любочка…

Я начинал вообще замечать какую-то перемену в настроении Пепки. Отдавая должную дань концу лета, он часто принимал задумчивый вид и мурлыкал про себя:

… От ликующих,
Праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведя меня в стан погибающих
За великое дело любви.[29]

Мне лично было как-то странно слышать эти слова именно от Пепки с его рафинированным индиферентизмом и органическим недоверием к каждому большому слову. В нем это недоверие прикрывалось целым фейерверком каких-то бурных парадоксов, афоризмов и полумыслей, потому что Пепко всегда держал камень за пазухой и относился с презрением как к другим, так и к самому себе.

Начались дождливые дни. Дунул холодный ветер. Пожелтевшие листья засыпали аллеи парка. По усвоенному маршруту я почти ежедневно обходил все те места, которые казались мне освященными невидимым присутствием Александры Васильевны. Да, она проходила здесь, садилась отдохнуть, а сейчас холодный ветер точно отпевал промелькнувшее короткое счастье. Да и было ли оно, это счастье? Оно начинало казаться мне мифом, выдумкой, плодом воображения… Но вот эти сосны и ели, которые видели ее, – значит, счастье было. Мое паломничество заканчивалось обыкновенно приютом доброй феи, она же и ундина. Помню, как мы подходили с Пепкой к этому приюту в дождливый и холодный осенний день. Ставни дачи были закрыты, в садике неизвестно откуда появились кучи сора, и на калитке была прилеплена бумажка с надписью: «ресторан закрыт». Пепко перечитал несколько раз эту бумажку, вздохнул и проговорил:

– Это нам повестка: пора удирать с дачи. На днях Мелюдэ тоже уезжает… Как будто даже чего-то жаль. Этакое, знаешь, подлое, слезливое чувство, а в сущности наплевать…

Я молчал, испытывая такое же подлое и слезливое чувство, – оно появилось с первым желтым листом.

Кстати, вместе с сезоном кончен был и мой роман. Получилась «объемистая» рукопись, которую я повез в город вместе с остальным скарбом. Свою работу я тщательно скрывал от Пепки, а он делал вид, что ничего не подозревает. «Федосьины покровы» мне показались особенно мрачными после летнего приволья.

– Это же удивительно, что на всем земном шаре нигде не нашлось места подлее, – ворчал Пепко. – Где-то синеет южное небо, где-то плещет голубая морская волна, где-то растут пальмы и лотосы, а мы должны пропадать в этой подлой дыре… И ведь это только так кажется, что все это пока, так, до поры до времени, а настоящее еще будет там, впереди, – ничего не будет, кроме деликатной перемены одной дыры на другую. Тьфу! Я вообще чувствую себя заживо погребенным, вроде шильонского узника. О, проклятие несправедливой судьбе!

Федосья встретила нас довольно холодно, а потом начала таинственно ухмыляться, поглядывая на Пепку. Анна Петровна попрежнему жила в своей каморке и попрежнему умела оставаться незаметной. Остальной состав жильцов возобновился почти в прежнем виде, за исключением Горгедзе, который кончил курс и уехал к себе на Кавказ. Да, все было попрежнему, как это умеет делать только скучное, бесцветное и вялое, – всякая энергия выражается переменами в том или другом смысле. «Федосьины покровы» таким образом являлись мерой своих обитателей. Все эти грустные мысли являлись в невольной связи с открывавшимся из нашего окна ландшафтом забора, осенним дождем и каким-то унынием, висевшим в самом воздухе.

В одно непрекрасное утро я свернул в трубочку свой роман и отправился к Ивану Иванычу. Та же контора, тот же старичок секретарь и то же стереотипное приглашение зайти за ответом «недельки через две». Я был уверен в успехе и не волновался особенно. «Недельки» прошли быстро. Ответ я получил лично от самого Ивана Иваныча. Он вынес «объемистую рукопись», по привычке, как купец, взвесил ее на руке и изрек:

– А ведь вещица-то не годится, молодой человек…

– Как не годится, Иван Иваныч!..

– А так… Вы знаете, что по существу дела мы не обязаны отвечать, а просто не подходит, и все тут. У вас удачнее маленькие рассказики…

У меня как-то вдруг закружилась голова от этого ответа. Пропадало около четырехсот рублей, распланированных вперед с особенной тщательностью. Ответ Ивана Иваныча прежде всего лишал возможности костюмироваться прилично, то есть иметь приятную возможность отправиться с визитом к Александре Васильевне. В первую минуту я даже как-то не поверил своим ушам.

– Да, не годится, – добродушно тянул Иван Иваныч, как хирург, который по всем правилам науки отрезывает голову живому человеку. – Приносите маленькую вещицу – напечатаю с удовольствием.

Это был вообще страшный удар. С возвращенной рукописью я отправился прямо в портерную, где заседала «академия». Налицо оказался один Фрей. Он молча выслушал меня и, не выпуская трубки, решил:

– Что-нибудь неспроста… Я разузнаю… Хотите пива?

Я чувствовал только одно, что вполне заслужил такой афронт: сама судьба карала за допущенный компромисс. Да, есть что-то такое, что справедливее нас.

Через несколько дней Фрей мне сообщил все «неспроста».

– У вас есть враг… Он передал Ивану Иванычу, что вы где-то говорили, что получаете с него по десяти рублей за каждого убитого человека. Он обиделся, и я его понимаю… Но вы не унывайте, мы устроим ваш роман где-нибудь в другом месте. Свет не клином сошелся.

– Ах, делайте, что хотите! Мне решительно все равно…

Это равнодушие, кажется, понравилось Фрею, хотя он по привычке и не высказал своих чувств. Он вообще напоминал одного из тех лоцманов, которые всю жизнь проводят чужие суда в самых опасных местах и настолько свыкаются с своим ответственным и рискованным делом, что даже не чувствуют этого.

Итак, с романом было все кончено. Впереди оставалось прежнее репортерство, мыканье по ученым обществам, вообще мелкий и малопроизводительный труд. А главное, оставалась связь с «академией», тем более что срок запрещения «Нашей газеты» истек, и машина пошла прежним ходом.

Мысль об Александре Васильевне не оставляла меня все время. Я с ней ложился и с ней вставал. Весь вопрос опять сводился на то, как явиться к ней «оригиналом». Я готов был продать душу черту, чтобы достать приличный костюм, и делал отчаянные попытки в этом направлении, которые, к сожалению, не привели ни к чему. Подходящего костюма не нашлось ни у одного из товарищей, то есть отдельные подробности находились, но из них еще не получалось приличного целого. Положение, во всяком случае, получалось трагикомическое, и я не поверил своей тайны даже Пепке. Все равно он ничего бы не понял…

Здесь именно мне приходится забежать вперед, к февралю месяцу, когда в клубе художников, существовавшем в Троицком переулке, устраивался студенческий бал. У меня в этот вечер было заседание в Техническом обществе, но я предпочел отправиться на бал, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых репортеров и от них позаимствовать что-нибудь для отчета. Вопрос о костюме разрешился тем, что я достал у одного из товарищей летнюю серую пару. Никогда я не забуду этого костюма… Ничтожное по своей сущности стремление быть одетым, как другие, отравило мне весь вечер. Мне казалось, что трехтысячная толпа смотрит на одного меня, и все улыбаются, поглядывая на «серого человека». Чувство жуткое и неприятное, особенно когда все одеты во фраки и сюртуки. Я уныло бродил из залы в залу, тщетно отыскивая другого «серого человека». Как назло, такого alter ego не оказалось, и я опять чувствовал, что все смотрят на меня. Глупое чувство, нелепое, но оно меня мучило… В довершение всего встречаю Александру Васильевну, которая шла под руку с каким-то франтиком во фраке. Она сейчас же оставила его руку и обратилась ко мне с упреком:

– И вам не совестно? Нисколько?.. А я-то ждала вас…

– Александра Васильевна, я был серьезно болен, – соврал я с самым серьезным лицом.

– А как же Надя мне говорила, что вы здоровы и просто не хотите быть у меня?.. Вы просто бессовестный человек…

Она, кажется, еще никогда не была так красива, как сейчас. И опять в неизменном черном шелковом платье, еще сильнее вытенявшем матовую белизну кожи. Она так просто взяла под руку «серого человека» и пошла по залам. Это уже было геройство, и я чувствовал себя на седьмом небе. Да, она была красива, настолько красива, что толпа почтительно расступалась перед ней, провожая нас почтительным шепотом. «Серый человек» шел под руку с признанной царицей бала и позабыл все на свете… Она о чем-то расспрашивала, он что-то отвечал, сознавая только одно, что она опять около него, цветущая, красивая, чудная, восхитительная, как греза поэта. Она опять смеялась, а «серый человек» держал себя с таким непринужденным видом, точно ему было все равно, или, вернее сказать, вся трехтысячная толпа превратилась в таких же серых человеков. Свою смелость «серый человек» довел до того, что пригласил даму на кадриль, каковая и была исполнена визави с Пепкой, танцевавшим с Анной Петровной.

– Трогательная картина, – шепнул мне Пепко, выделывая solo во второй фигуре. – Похоже на семейную радость.

Анна Петровна с каким-то печальным изумлением смотрела на мою даму и участливо улыбалась мне.

– Какая красавица… – проговорила она, когда в шестой фигуре перешла в мои объятия. – Это даже несправедливо!..

После танцев Александра Васильевна захотела пить, и я был счастлив, что имел возможность предложить ей порцию мороженого. Мы сидели за мраморным столиком и болтали всякий вздор, который в передаче является уже полной бессмыслицей. Ее кавалер демонстративно прошел мимо нас уже три раза, но Александра Васильевна умышленно не замечала его, точно отвоевывала себе каждую четверть часа. Наконец, кончилось и мороженое. Она поднялась, подавая руку, и устало проговорила:

– Проводите меня в следующую комнату, где сидит мой… кавалер.

Последнее слово она выговорила с заметным усилием, а потом улыбнулась и прибавила:

– А вы все-таки бессовестный… Я жду вас.

– О, конечно. Я буду так счастлив видеть вас…

Сколько таких обещаний не выполняется никогда, гораздо больше, чем не сбывается снов. Но я верил в свои слова, отводя свою даму к ее компании. Я даже не посмотрел, кто там сидел, а отправился прямо в «мертвецкую», где сейчас же напился с горя и почувствовал себя «серым человеком» с новой силой. Откуда-то появился Пепко, освободившийся от дамы. Он тоже был мрачен. Опьяняла вся обстановка: шум голосов, пение, табачный дым. Когда я вышел в зал, публики оставалось едва одна половина. К моему удивлению, я заметил другого серого человека, который внимательно наблюдал меня. Я вдруг почувствовал облегчение, точно встретил родного брата. Такой же точно летний костюм, такой же рост, и даже лицом походит на меня. Я пошел к нему, он двинулся навстречу мне. Потом… потом оказалось, что это было отражение в стенном зеркале моей собственной персоны. «Серый человек» так и остался в одиночестве.

# XXVI

В предыдущем очерке я забежал вперед, чтобы закончить историю «серого человека», а сейчас возвращусь к моменту, когда Фрей взял у меня рукопись романа. Через три дня он мне объявил:

– С января будет издаваться новый журнал «Кошница», материала у них нет, и они с удовольствием напечатают ваш роман. Только, чур, условие: не следует дешевить.

– Постараюсь…

– Да, да… Не забывайте, что не вы один, не следует сбивать цен.

Разговор происходил в трактире Агапыча, где мы снова водворились вместе с восстановлением деятельности «Нашей газеты». Притягательной силой являлись привычка к своему насиженному углу и некоторый кредит, который открывал Агапыч своим завсегдатаям. Вообще мы здесь чувствовали себя по-домашнему, как богатые люди в своих клубах. Прислуга давно уже выделила нас из остальной, случайной публики и относилась к нам по-родственному, чему немало способствовало и то, что в глазах этого трактирного человечества мы являлись представителями литературы. Лакеи с салфетками подмышкой являлись той благосклонной публикой, которая уже служила для каждого автора живым фоном. Литературные имена котировались на этой читательской бирже. Тут были уже твердые, установившиеся фирмы, как

Порфир Порфирыч, рассказы которого лакеи читали взасос. К моему удивлению, я убедился, что тоже начинаю приобретать некоторое имя, хотя и нахожусь еще в периоде искуса. Седой лакей Степаныч как-то по-отечески шепнул мне:

– Помилуйте-с, читали мы ваши рассказы… Ничего-с, форменно, хоша супротив Порфира Порфирыча еще и не дошли-с. У них искра-с…

Это были первые пары той несчастной литературной славы, которая окутывает автора, как дым фабрику. Не скрою, что мне было приятно слышать отзыв Степаныча: искаженная, искалеченная и изувеченная условиями мелкого литературного рынка мысль неведомыми путями проникала к читателю, и еще более неведомыми путями возникала там писательская физиономия. Невыгодное для меня сравнение с Порфиром Порфирычем нисколько не было обидно: он писал не бог знает как хорошо, но у него была своя публика, с которой он умел говорить ее языком, ее радостями и горем, заботами и злобами дня. Принципиально великих людей нет, как принципиально нет холода; величие создается только нашим эгоизмом. Нивелирующей силой здесь является только одно чувство. С другой стороны, меня в отзыве Степаныча поразило то привилегированное положение, которое занимают по отношению к читателю беллетристы. Например, тот же Степаныч ценил и уважал Фрея, как «серьезного газетчика», но его симпатии были на стороне Порфира Порфирыча: «Они, Порфир Порфирыч, конечно, имеют свою большую неустойку, значит, прямо сказать, слабость, а промежду прочим, завернут такое тепленькое словечко в другой раз, что самого буфетчика Агапыча слезой прошибут-с»… Да, у нас уже была своя маленькая публика, которая делала нас общественным достоянием.

Кстати, во время моего разговора с Фреем относительно «Кошницы» из остальных членов «академии» присутствовал один Порфир Порфирыч. Он сидел в кресле и дремал. За последнее время старик сильно изменился и даже не мог пить. Жаль было смотреть на это осунувшееся пожелтевшее лицо с умными и такими жалкими глазами. Многолетнее искусственное возбуждение напитками сменилось теперь страдальчеством завзятого алкоголика. Притупленные и проржавевшие нервы возбуждались только по инерции, по привычке к знакомым словам: есть своя профессиональная энергия, которая переживает всего человека. Так сейчас, когда Фрей заговорил о «новом журнале», Порфир Порфирыч точно проснулся, причмокнул и даже подмигнул в пространство. Ага, новый журнал! Так-с… Отлично. «Кошница»? Превосходно, хотя название и с претензией!

– Весьма одобряю… – тихо проговорил старик, улыбаясь, и прибавил с грустной улыбкой: – Сколько будет новых журналов, когда нас уже и на свете не будет! И литератор будет другой… Народится этакой чистоплюй и захватит литературу. Хе-хе… И еще горьким смехом посмеется над нами, своими предками, ибо мы были покрыты грязью и несовершенствами. Да, посмеется… А того не будет знать, через какие трущобы мы брели, какие тернии рвали нашу душу и как нас обманывали на каждом шагу блуждающие огоньки, делавшие ночь еще темней. Чистоплюй он, и по своему чистоплюйству будет доволен всем, потому что будет думать только о себе. Вон название то какое: «Кошница»… Этак как будто и славянофильством попахивает и о присовокуплении чего-то говорит… А впрочем, не в этом дело-то, о юноша!

Старик закашлялся, схватившись за натруженную грудь, и долго не мог прийти в себя.

– Да, «Кошница»… – шептал он, вытирая слезы, выступившие от натуги. – Отчего не «Цевница»? А впрочем, юноша, не в этом дело… да. Мы в потемках кончим дни своего странствия в сей юдоли, а вы помните… да, помните, что литература священна. Еще седмь тысящ мужей не преклоняло колен пред Ваалом… Ты написал печатный лист; чтобы его прочесть, нужно minimum четверть часа, а если ты автор, которого будет публика читать

нарасхват, то нужно считать, что каждым таким листом ты отнимаешь у нее сто тысяч четвертей часа, или двадцать пять тысяч часов. Это составит… составит около тысячи дней, или около трех лет… Уже этот механический расчет представляет все величие твоего призвания, а посему гори правдой, не лукавствуй и не давай камень вместо хлеба. Не формальная правда нужна, не чистоплюйство, а та правда, которая там живет, в сердце… Маленький у тебя талантик, крошечный, а ты еще пуще береги эту искорку, ибо она священна. Величайшая тайна – человеческое слово… Будь жрецом.

Отвлеченные рассуждения сделались теперь слабостью Порфира Порфирыча, точно он торопился высказать все, что наболело в душе. Трезвый он был совсем другой, и мне каждый раз делалось его жаль. За что пропал человек? Потом я знал, чем кончались эти старческие излияния: Порфир Порфирыч брал меня под руку, отводил в сторону и, оглядевшись, говорил шепотом:

– Помните… тогда… на даче? Ведь вы видели у меня тогда красную бумагу? И вдруг нет ничего… Нет – и кончено, все кончено.

– Послушайте, Порфир Порфирыч, не стоит даже говорить об этом… Вы заработаете десять таких красных бумаг, если захотите.

– Не стоит? Хе-хе… А почему же именно я должен был потерять деньги, а не кто-нибудь другой, третий, пятый, десятый? Конечно, десять рублей пустяки, но в них заключалась плата за квартиру, пища, одежда и пропой. Я теперь даже писать не могу… ей-богу! Как начну, так мне и полезет в башку эта красная бумага: ведь я должен снова заработать эти десять рублей, и у меня опускаются руки. И мне начинает казаться, что я их никогда не отработаю… Сколько бы ни написал, а красная бумага все-таки останется.

Бедняга начинал заговариваться. «Красная бумага» являлась для него роковым «пунктиком», и он постоянно возвращался к этой теме, как магнитная стрелка к северу. Все члены «академии» были посвящены им в эту тайну и решили, что у Порфирыча заяц в голове, как выражался Пепко. Потом Порфир Порфирыч скрылся с нашего горизонта; потом прошел слух, что он серьезно болен и лежит где-то в больнице, а потом в уличном листке, в котором он работал, появилось коротенькое известие о его смерти. Некролог, написанный дружеской рукой, в теплых выражениях вспоминал заслуги покойного, его незлобивость и даже «роковую слабость», которая взяла у литературы столько жертв. Между прочим, явился в газетке и посмертный рассказ старика «Бедный Йорик». Рассказ был слаб, вымучен, и от него уже веяло тлением, – внутренний человек умер раньше. Я припомнил, как Порфир Порфирыч, подмигивая и причмокивая, говорил:

– Эге, а мы, литераторы, умеем сводить концы… Разве собака умирает дома? И мы тоже…

На моих глазах это была еще первая литературная смерть, которая произвела сильное впечатление. В самом деле, какими неведомыми путями создается вот этот русский писатель, откуда он приходит, какая роковая сила выталкивает его на литературную ниву? Положим, что писатель Селезнев был маленький писатель, но здесь не в величине дело, как в одной ткани толщина и длина отдельных ниток теряется в общем. Есть роковые силы, которые заставляют человека делаться тем или другим, и я уверен, что никакой преступник не думает о скамье подсудимых, а тюремщик, который своим ключом замыкает ему весь вольный белый свет, никогда не думал быть тюремщиком.

«Академия» жалела Порфира Порфирыча и даже устроила по нем тризну, на которой главным образом обсуждались «теплые слова» некролога.

– Умер человек, так нет, и мертвому не дают покоя, – ворчал Фрей. – К чему эта похоронная ложь, и кому она нужна?..

– А все-таки… – спорил пьяный Гришук, – чтобы другие чувствовали… да.

– А ты пошел на похороны? Ты навестил его в больнице?

Вся «академия» была смущена этими простыми вопросами, и каждый постарался представить какое-нибудь доказательство своей невинности.

Меня удивило, что всех больше поражен был смертью Порфира Порфирыча мой друг Пепко.

– Да, вообще… – бормотал он виновато. – Черт знает, что такое, если разобрать!.. Помнишь его рассказ про «веревочку»? Собственно, благодаря ему мы и познакомились, а то, вероятно, никогда бы и не встретились. Да, странная вещь эта наша жизнь…

Как свежую могилу покрывает трава, так жизнь заставляет забывать недавние потери благодаря тем тысячам мелких забот и хлопот, которыми опутан человек. Поговорили о Порфире Порфирыче, пожалели старика – и забыли, уносимые вперед своими маленькими делами, соображениями и расчетами. Так, мне пришлось «устраивать» свой роман в «Кошнице». Ответ был получен сравнительно скоро, и Фрей сказал:

– Вот видите, у них нет материала… Да и где его взять по нынешним временам…

Я отправился в редакцию «Кошницы», которая помещалась в Троицком переулке. Бельэтаж. Двери отворил лакей, в переднюю выбежали два ирландских сеттера – вообще совсем другое, чем у Ивана Иваныча. Редакция помещалась в квартире издателя, который и принял меня. Это был господин под тридцать лет, южного типа, безукоризненно одетый и сиявший брильянтами.

– Это ваш роман? Он уже печатается… Кстати, ваши условия?

Я с некоторой робостью выговорил цифру, – лист был гораздо меньше, чем у Ивана Иваныча, и я назначил ту же цену, выгадывая на разнице.

– Что же, хорошо… – согласился сияющий господин. – Кстати, я только издатель, а редакцией заведует…

Он назвал фамилию редактора, сообщил его адрес и посмотрел на меня такими глазами, когда желают покойной ночи.

От издателя я полетел к редактору, который жил у Таврического сада. Это был очень милый и очень образованный человек в каком-то мундире.

– Очень рад с вами познакомиться… Вы уже видели нашего издателя? Очень хорошо… Я только редактор. – В этот момент я не придал особенного значения этим словам, потому что был слишком счастлив, как, вероятно, счастлива та женщина, которую так мило обманывает любимый человек. Есть и такое счастье…

Роман принят, роман печатается не в газете, а в журнале «Кошница», – от этого хоть у кого закружится голова. Домой я вернулся в каком-то тумане и заключил Пепку в свои объятия, – дольше скрываться было невозможно.

– Пепко, мой роман печатается… Да, печатается! Понимаешь?..

– И ты рад? И я тоже рад… Значит, мы оба рады. На всякий случай поздравляю…

Изверг даже не спросил, где печатается мой роман, но я ему прощал вперед, потому что, очевидно, Пепко ревновал меня к моему первому успеху. Конечно, теперь все мне завидовали, весь земной шар…

# XXVII

С Пепкой что-то случилось, начиная с того, что он теперь отсиживался дома и выходил только утром на лекции. Федосья уже несколько раз иносказательно давала мне понять, что он влюблен в Анну Петровну. Единственным основанием для такого заключения было то, что Пепко по вечерам пил чай у Анны Петровны и таким образом осуществлял того «мужчину», который, по соображениям Федосьи, должен был быть у каждой женщины, как бывают детские болезни. Кстати, Федосья наносила Пепке систематический вред, и я только мог удивляться его терпению. Дело в том, что летом Федосья подружилась с Любочкой, и теперь Любочка почти каждый день приходила к ней. Они о чем-то вечно шептались, и Пепко жил в ожидании какого-нибудь скандала. С другой стороны, он не хотел уступать и казаться малодушным, а поэтому продолжал свои вечерние чаи у Анны Петровны. Часто случалось так, что Пепко сидит у медички, а Любочка – у Федосьи. Я не понимал в данном случае поведения Анны Петровны, которая раз уже имела крупную неприятность от Любочки. Впрочем, может быть, здесь объяснением могло служить то, что медичка считала себя выше всяких подозрений и тоже не желала уступать. Так или иначе, но скандал все-таки разыгрался; Любочка подкараулила вечером Анну Петровну на улице, бросилась на нее и, кажется, хотела откусить нос. К счастью, никого не было поблизости, и дело обошлось семейным образом. Любочка вбежала с воплями и причитаниями к Федосье и проявила большие наклонности к буйству, так что потребовалось вмешательство Пепки.

– Если вы еще раз явитесь сюда, я… я… – задыхаясь и сжимая кулаки, кричал Пепко. – Да, я…

Он схватил Любочку за плечи и вытолкнул на улицу. Получилась сцена, до последней степени возмутительная, так что мне пришлось вмешаться.

– Пепко, это гадость…

Пепко тяжело дышал и только смотрел на меня обезумевшими глазами. Он был бледен как полотно, и побелевшие губы шевелились беззвучно, как у китайской куклы. Сцена происходила в коридоре, и единственной свидетельницей была Федосья, наслаждавшаяся готовым вспыхнуть ратоборством. Обезумевший Пепко уже сделал шаг ко мне, лицо искривилось улыбкой, правая рука протянулась вперед, – вероятно, его бешенство обрушилось бы на меня, и мне, вероятно, пришлось бы разделить участь Любочки, но в этот трагический момент появилась в дверях Анна Петровна. Еще момент – и протянутая рука Пепки опустилась. Анна Петровна взяла его за плечо, повернула и втолкнула к себе в комнату, как напроказившего ребенка. Он повиновался, и я заметил, как у него дрожали губы.

Распорядившись с Пепкой, Анна Петровна обратила теперь свое благосклонное внимание на меня.

– Вы… вы… вы… – шептала она хрипло. – Я вас ненавижу… да. Сейчас разыгралась дикая и нелепая сцена, но вы хуже в тысячу раз его с вашей бессильной добродетелью… У вас не хватит силенки даже на маленькое зло. Вы – ничтожность, приличная ничтожность… Да, да, да…

Это было повторением сцены с Любочкой ночью в Парголове, и я только рассмеялся. Моя улыбка окончательно взбесила Анну Петровну.

– И вы еще можете смеяться, несчастный? Наконец… наконец, если вы хотите знать… да, хотите… я его люблю… Он в тысячу раз лучше вас всех, да, лучше.

– Я могу только поздравить вас с счастливым приобретением…

– Вы – циник!!.

Признаюсь, я тоже был взбешен. Если Любочка могла себе позволить неистовство, то она на это имела «полное римское право», как говорила Федосья. По-женски Любочка была вполне последовательна, потому что она была только женщиной и ничем другим. Но Анна Петровна совсем другое, – у нее должны были существовать некоторые задерживающие центры. Я подошел к двери в комнату Анны Петровны и крикнул:

– Эй ты, трус, выходи!.. Я имею сказать тебе несколько теплых слов, которые поднимут твою храбрость на приличную высоту!

За дверью послышалось рычание Пепки, а затем он одним прыжком был в дверях. Анна Петровна не растерялась и захлопнула у него дверь под носом, а мне величественным жестом показала на дверь моей комнаты. Я поклонился и пошел в противоположный конец коридора, к выходу. У меня горела голова, в висках стучала кровь, и я почему-то повторял про себя: «Нет, погодите, господа… да, погодите, черт возьми!» Я вышел на лестницу и нашел там Любочку, которая сидела на ступеньке, схватившись руками за голову. Это была живая статуя страдания.

– Любочка, идите домой. Вам нечего здесь делать, если не хотите, чтобы вас били… Нужно иметь хоть какую-нибудь гордость…

Любочка только глухо всхлипывала. Я насильно отнял от лица ее руку, – рука была холодна, как лед.

– Любочка, вы простудитесь… Сюит ли рисковать своим здоровьем из-за какого-то негодяя.

– Он не виноват… – простонала Любочка. – Он хороший…

На меня напала непонятная жестокость… Я молча повернулся, хлопнул дверью и ушел к себе в комнату. Делать я ничего не мог. Голова точно была набита какой-то кашей. Походив по комнате, как зверь в клетке, я улегся на кушетке и пролежал так битый час. Кругом стояла мертвая тишина, точно «Федосьины покровы» вымерли поголовно и живым человеком остался я один.

«Нет, погодите, господа…» – повторял я про себя давешнюю бессмысленную фразу.

В самом деле, я-то тут при чем? Благодарю покорно… Режьтесь, отравляйтесь, деритесь, – я ничего больше знать не хочу и не разогну для вас пальца. Да-с, так и знайте… Свое негодование с Пепки я, по логике рассерженного человека, перенес на Анну Петровну… Вот вы какая, Анна Петровна! Отлично… Кто мог подумать про вас что-нибудь подобное! И какая энергия… Очень недурно, как в плохом театре, где комики говорят трагическим тоном, а трагики вызывают неудержимый смех. А потом, как это мило: полное повторение того, что говорила летом Любочка. О, женщины!.. как сказал Шекспир.

Сильные волнения у меня всегда заканчивались бессовестно-крепким сном, – вернейший признак посредственности, что меня сильно огорчало. Так было и в данном случае: я неожиданно заснул, продолжая давешнюю сцену, причем во сне оказался гораздо более находчивым и остроумным, чем в действительности. Вероятно, я так бы и проспал до утра, если бы меня не разбудил осторожный стук в дверь.

– Войдите…

Дверь скрипнула, зашуршало платье, и незнакомый женский голос проговорил:

– Да у вас совсем темно.

– Виноват… Я сейчас зажгу лампу.

Зажигая лампу, я чувствовал, что незнакомка пристально рассматривает меня.

– Вы, вероятно, удивлены, молодой человек, что к вам в одиннадцать часов ночи врывается совершенно незнакомая дама…

Голос был молодой и приятный, но его обладательница имела уже блеклый вид в той мере, в какой он нравится совсем неопытным юношам. На мой немой вопрос она объяснила:

– Я к вам по делу… Позвольте представиться: сестра Анны Петровны. Зовут меня Аграфеной… Вы, вероятно, догадываетесь о цели моего посещения?

– Ах, да… почти… Садитесь, пожалуйста.

Я только теперь рассмотрел ее хорошенько: шатенка, среднего роста, в коричневом платье не первой молодости, которое не скрывало очень солидных форм. Серые глаза, чуть-чуть подведенные, смотрели с веселой дерзостью. Меня поразили густые волосы, сложенные на затылке тяжелым узлом. Она медленно оглядела комнату, оглядела ветхий стул, который ей я подал, а потом села и спокойно перевела глаза на меня.

– Послушайте, молодой человек…

– Меня зовут Василием Ивановичем…

– Виновата, Василий Иваныч… Скажите, пожалуйста, вам не совестно? Нисколько?

– Странный вопрос…

– Вы понимаете, о чем я говорю. По крайней мере вы должны испытывать неловкость, что заставили замужнюю женщину прийти к вам с объяснениями довольно интимного характера. Это не по-джентельменски…

– Я могу только удивляться, Аграфена Петровна, – именно, что вам за охота вмешиваться в чужие дела?..

– Как чужие? Ведь Анна Петровна – моя сестра, родная сестра. Положим, мы видимся очень редко, но все-таки сестра… У вас нет сестры-девушки? О, это очень ответственный пост… Она делает глупость, – я это сказала ей в глаза. Да… Она вас оскорбила давеча совершенно напрасно, – я ей это тоже высказала. Вы согласны? Ну, значит, вам нужно идти к ней и извиниться.

– ?

– Вы забываете, что сестра моя женщина, больше – девушка, и мужчина виноват всегда, особенно если выведет ее из себя.

Это была оригинальная логика, и серые глаза весело улыбнулись. Сделав небольшую паузу, она проговорила с расстановкой:

– Агафон Павлыч ваш друг? Моя бедная сестра имела несчастье его полюбить, а в этом состоянии женщина делается эгоисткой до жестокости. Я знаю историю этой несчастной Любочки и, представьте себе, жалею ее от души… Да, жалею, вернее сказать – жалела. Но сейчас мне ее нисколько не жаль… Может быть, я несправедлива, может быть, я ошибаюсь, но… но… Одним словом, что она может сделать, если он ее не любит, то есть Любочку?

Я засмеялся. Разве Пепко мог кого-нибудь любить? Этот ответ, видимо, обидел моего парламентера.

– Аграфена Петровна, я все-таки не понимаю, что вам нужно от меня?

– Я уже сказала вам… А затем моя сестра надеется исправить вашего друга. Я подозреваю, что эта миссия именно и увлекает ее. Что делать, мы, женщины, все страдаем неизлечимой доверчивостью. Многое она приписывает вашему дурному влиянию.

Это уже было слишком, и я расхохотался. Моя собеседница закусила губы и вызывающе посмотрела на меня. Потом она точно передумала и опять улыбнулась.

– Все-таки вы сделаете по-моему, пойдете и извинитесь… да. Это вы сделаете для меня… Скажу больше, – вы меня проводите, потому что уже поздно. Вы этому рады, конечно, потому что избавляетесь от меня…

– Хорошо. Я согласен… Но только извинюсь не сегодня.

– О, это решительно все равно…

У нее явилось усталое выражение, и она с трудом сдержала зевоту.

Я отправился ее провожать. Стояла холодная зимняя ночь, но она отказалась от извозчика и пошла пешком. Нужно было идти на Выборгскую сторону, куда-то на Сампсониевский проспект. Она сама меня взяла под руку и дорогой рассказала, что у нее есть муж, который постоянно ее обманывает (как все мужчины), что, кроме того, есть дочь, девочка лет восьми, что ей вообще скучно и что она, наконец, презирает всех мужчин.

– Не стоит жить, – закончила она свою исповедь. – А сегодня у меня какая-то особенная тоска… К сестре я попала совершенно случайно – и вдруг попадаю на эту глупую историю. Я серьезно против ее увлечения…

Мы остановились у подъезда. Внутренно я был рад, что и моя миссия закончилась. Моя дама что-то медлила и устало проговорила:

– Муж возвращается только в два часа ночи… девочка давно спит…

Она с тоской посмотрела на меня, крепко пожала мою руку и молодым движением скрылась в дверях. Я стоял на тротуаре и думал: какая странная дама, по крайней мере для первой

встречи. Тогда еще не было изобретено всеобъясняющее слово «психопатка».

Когда я вернулся домой, Пепко спал на своей кровати невинным сном грудного младенца. Меня это даже не возмутило… Что же, счастлив тот, кто может спать так крепко.

# XXVIII

Первая книжка нового журнала «Кошница» должна была выйти первого января, но этому благочестивому намерению помешали разные непредвиденные обстоятельства, и книжка вышла только в конце января. Понятно, что я ждал с нетерпением этого события: это был первый опыт моего журнального «тиснения»…

Объявление о выходе «Кошницы» я прочел в газете. Первое, что мне бросилось в глаза, это то, что у моего романа было изменено заглавие – вместо «Больной совести» получились «Удары судьбы». В новом названии чувствовалось какое-то роковое пророчество. Мало этого, роман был подписан просто инициалами, а неизвестная рука мне приделала псевдоним «Запорожец», что выходило и крикливо и помпезно. Пепко, прочитав объявление, расхохотался и проговорил:

– «Для начала недурно», как сказал турок, посаженный на кол… Да, не вредно, господин Запорожец, а удары судьбы были провиденциальным назначением каждого доброго запорожца… На всякий случай поздравляю «с полем», как говорят охотники, когда убита первая дичь.

Мне была совершенно понятна затаенная ревность Пепки: он печатался только в газетах, а тут настоящий журнал, хотя и «Кошница». Собственно, и к названию и к псевдониму Пепко был совершенно равнодушен, но, кроме начинающейся славы, он провидел и другую сторону – получение гонорара «кучкой», ибо «причиталось» по приблизительному расчету мне получить около ста рублей. У меня никогда не бывало ста рублей, и эта цифра точно жгла мой мозг, и мне делалось даже совестно, что я из богемы делаю скачок прямо в заколдованный круг Ротшильдов.

– Невинные восторги первого авторства погибают в неравной борьбе с томящей жаждой получить первый гонорар, – резюмировал Пепко мое настроение: – тут тебе и святое искусство, и служение истине, добру и красоте, и призвание, и лучшие идеи века, и вклад во всемирную сокровищницу своей скромной лепты вдовицы, и тут же душевный вопль: «Подайте мне мой двугривенный!» Я уверен, что литература упала, – это факт, не требующий доказательств, – от двух причин: перевелись на белом свете меценаты, которые авторам давали случаи понюхать, чем пахнет жареное, а с другой – авторы нынешние не нюхают табака. Ты не смейся, – это гораздо серьезнее, чем ты думаешь, и упадок современной поэзии находится в прямой зависимости от брошенной привычки набивать себе нос табаком. Вот прекрасная тема для диссертации…

– А как же классические поэты?

– О, я убежден, что и они нюхали табак, а потом человечество на целую тысячу лет забыло об этом, пока Колумб снова не открыл табак уже в Америке. Да, так что было бы в доброе старое время? Ты написал свои «Удары судьбы», несешь их меценату… Меценат дает их читать своему любимому арапу, а потом жертвует тебе золотую табакерку, кафтан с своего меценатского плеча, сапоги, штанишки и отпускает корм с своей кухни. По торжественным дням ты сочиняешь ему оды и получаешь новую мзду не за обычай. Но ты уже получаешь известность… Выступает женщина – чудная женщина доброго старого времени, богомольная безбожница, суеверная, ласковая, красивая – да, всегда красивая. Она уже заметила тебя, пролила слезу и

вытащит тебя за ушко в люди. А теперь что: отправишься ты в свою «Кошницу», получишь свой двугривенный, – и все тут. Публика совсем не интересуется тобой, как не интересуется клоуном, который на ее благосклонных глазах сорвался с трапеции и проломил себе башку.

– Это, кажется, относится ближе к твоим «Песням смерти», чем к моей скромной прозе.

– Ты прав, против собственного желания… Да, теперь время скверной прозы, а священный огонь поэзии обрекает на самую подлую нищету. Живой пример у тебя на глазах… Я не виноват, что родился слишком поздно. Представь себе, лежит этакий восточный деспотище, который даже не может ничего желать, – до того он пресыщен всем… Сегодня он отрубил уши тридцати тысячам человек, которые имели дерзость защищать свое отечество, вчера он превратил в пепел цветущую страну, третьего дня избил младенцев в собственном государстве; у него дремлет в смертельной истоме целый сад красавиц, ожидающих его ласки, как трава в зной ждет капли дождя, а деспотище уже ничего не может и для развлечения кромсает придворную челядь! И вдруг является посланец богов – поэт, то есть я… Да, это я вхожу к деспотищу в своем вретище и подношу ему несколько чудных газелей, где воспевается любовь, молодость, красота… Я – сладчайший Фирдуси,[30] я – Гафиз. У деспотища от моих стихов защипало в носу, деспотище проливает слезу… И посланник богов получает мзду в виде целого стада верблюдов, другого стада гаремных красавиц, достигших предельного возраста, и еще, и еще. Или: Луишка Каторз.[31] заскучал… Лик короля-солнца покрыт зловещими морщинами, и вдруг опять я с напудренным, вспененным и наркотизированным стихом – и морщины на челе Луишки Каторза разглаживаются, а глаза делают безмолвно знак какому-нибудь маршалу осчастливить меня на всю жизнь. Я скромно целую руку у последней королевской метрессы, делаю реверанс и удаляюсь к благополучию. Или: русский вельможа… Он все съел, все выпил и страдает одышкой. У него тяжелые ночи, как у страсбургского гуся, у которого вся жизнь сосредоточивается в одной печенке. И вдруг является поэт, который пишет оду на смерть российского Цинцинната[32] Да, вот что я такое… А сейчас я должен питаться всего тремя буквами, да и те вынужден тащить на улицу, в кабак.

– Да, ты потерял много времени совершенно напрасно…

– И мне ничего не остается, как купить табакерку на свой собственный счет и открыть новую эру в поэзии. Діхі.

Действительность не оправдала тех надежд, с какими я шел в первый раз в редакцию «Кошницы». Во-первых, издателя не оказалось дома, и «человек» не мог сказать, когда он бывает дома.

– Да ведь бывает же он когда-нибудь дома? – приставал я, охваченный первой тенью сомнения.

– Сегодня были-с…

– А завтра?

– Не могу знать-с… Иногда они уезжают из дому дня на три.

Я чувствовал, что издатель дома и что меня просто-напросто «не принимают». Кстати, я в первый раз даже не заметил фамилии издателя и прочитал ее в первый раз на обертке журнала: С. Я. Райский. Пепко видел в ней залог несомненного блаженства, что для первого раза не оправдалось.

Пришлось уйти не солоно хлебавши. Признаюсь, меня охватило мрачное предчувствие, что

дело как будто неладно. Вдобавок, в надежде на получение гонорара, я издержал последние гроши и сейчас не имел денег даже на конку. Пришлось шагать пешком к Таврическому саду. «Только редактор» оказался дома и принял меня с изысканной любезностью.

– Поздравляю… Это ваш первый опыт, кажется?

– Да, первый…

– Вы, конечно, понимаете, что он мог бы быть и лучше, но первому блину многое прощается…

Эта развязность «только редактора» немного кольнула меня, и я без предисловий перешел к вопросу о гонораре.

– Я уже вас предупреждал, что я только редактор и в хозяйственную часть журнала не вмешиваюсь. Я такой же сотрудник, как и вы…

– Послушайте, от кого же я могу получить сведения о сроке получения гонорара? Для меня это очень важный вопрос… При редакции полагается обыкновенно контора.

– Да, да… Но у нас дело новое, и пока никакой конторы не существует, а ее совмещает в себе Райский. Он немножко легкомысленный человек и не признает никаких сроков…

Одним словом, я вернулся ни с чем, кроме тяжелого предчувствия, что мой первый блин выйдет комом. Мое положение было до того скверное, что я даже не мог ничего говорить, когда в трактире Агапыча встретил «академию». Пепко так и сверлил меня глазами, изнемогая от любопытства. Он даже заглядывал мне в карманы, точно я по меньшей мере спрятал Голконду.[33] Меня это взорвало, и я его обругал.

– Ты глуп до святости, мой друг.

– Послушай, это не по-товарищески – скрывать сокровище.

– Убирайся к черту!..

Пепко почувствовал, что стряслась какая-то беда, и в качестве истинного друга тайно торжествовал. Фрей хмурился и старался не смотреть на меня. Это было скверным знаком… Наконец, он отвел меня в сторону и конфиденциально сообщил:

– А знаете, этот Райский просто мазурик, из мелких клубных шулеров. Я слишком поздно узнал… Необходимо действовать энергично.

Я рассказал свой первый «опыт», и брови Фрея приняли угрожающее положение, а трубочка захрипела.

На следующий день я, конечно, опять не застал Райского; то же было и еще на следующий день. Отворявший дверь лакей смотрел на меня с полным равнодушием человека, привыкшего и не к таким видам. Эта скотина с каждым разом приобретала все более и более замороженный вид. Я оставил издателю письмо и в течение целой недели мучился ожиданием ответа, но его не последовало.

– Возьмите рукопись, и ну их к черту! – советовал Фрей.

– Это неудобно: может быть, и заплатят!

Брови Фрея сильно сомневались в возможности такого исхода, а мне в утешение оставалась только вера, – не хотелось расстаться с блестящей иллюзией.

«Только редактор» был постоянно дома и вечно что-то такое строчил. Он старался успокоить меня разными остроумными предположениями, не забывая выгораживать свою личную неприкосновенность.

– Да, мы разделяем общую участь, – повторял он. – Вы видите, что я постоянно работаю. Одних рукописей сколько приходится перечитывать, а потом поправлять их.

– А как вы думаете, Райский заплатит что-нибудь?

Этот вопрос заставил руки «только редактора» раскинуться в такой форме, точно я пригвождал его ко кресту.

– Могу сказать только про себя и о себе, что я… Знаете французскую поговорку: «La plus jolie fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a».[34]

Поговорку я слышал в первый раз, и она стоила мне около пятисот рублей.

«Только редактор» для меня лично навсегда остался неразрешимой загадкой, как шестой палец. Он имел специальное образование, знал три языка, где-то служил и кончил тем, что сделался редактором сомнительного журнала «Кошница». Можно проследить даже периоды появления таких никому не нужных журналов, которые разделяют печальную участь писем, отправленных без адреса. Какими путями зарождается мысль о таких журналах, как они осуществляются и как находятся люди, которые решаются отдавать им и деньги, и труд, и энергию? Впоследствии я встречал много таких людей, которые как-то бочком всю жизнь проведут «около литературы». Замечательно то, что именно эти люди с особенной беззаветностью преданы литературе и для нее готовы пожертвовать всем. Впрочем, есть целая категория так называемых «друзей артистов», и к ней примыкают «друзья литературы». В этой пестрой и оригинальной среде много лишнего, и подчас сюда вторгаются даже совсем нежелательные элементы, как издатель Райский.

Опыт с «Кошницей» имел для меня только то значение, что послужил предостережением не делать таких опытов в другой раз.

# XXIX

Сгоряча я было махнул рукой на свои «Удары судьбы», но Фрей смотрел на дело иначе.

– Нет, так нельзя, – упрямо повторял он. – С какой стати каким-то прохвостам бросать пятьсот рублей? Мы испортим им характер…

– Что же делать?

– А к мировому!

– Знаете, как-то неудобно начинать литературную деятельность с прошения к мировому.

– Вздор! Я сам пойду за вас… Так нельзя, государь мой! Это грабеж на большой дороге…

Мне было тяжело и обидно даже думать о таком обороте дела, и я употреблял все усилия, чтобы кончить дело миром. Опять начались бесплодные хождения к «только редактору»,

который ударял себя в грудь и говорил:

– Посмотрите на меня: я работаю больше вас и тоже ничего не получаю.

– Это, во-первых, дело вкуса, а во-вторых – плохое утешение для меня.

– Нет, извините, чужие несчастия – наше лучшее утешение. Мы – друзья по несчастию.

Когда я намекнул относительно вчинения иска законным порядком, «только редактор», видимо, струсил и вручил мне двадцать пять рублей.

– Ага, я говорил!.. – торжествовал Фрей. – Впрочем, первая ласточка еще не делает весны… И мы все-таки вчиним иск, черт меня побери!..

Мне дорого обошлась эта «первая ласточка». Если бы я слушал Фрея и вчинил иск немедленно, то получил бы деньги, как это было с другими сотрудниками, о чем я узнал позже; но я надеялся на уверения «только редактора» и затянул дело. Потом я получил еще двадцать пять рублей, итого – пятьдесят. Кстати, это – все, что я получил за роман в семнадцать печатных листов, изданный вдобавок отдельно без моего согласия.

А жизнь шла своим чередом, загромождая путь к славе бесплодным камением и евангельскими терниями. В неудаче с первым романом я начинал видеть достойную кару за сделку с совестью. А не пиши романов для сомнительных изданий, не имей дела с сомнительными людьми… Человек, наделавший ошибок и глупостей, с трогательной настойчивостью предается отыскиванию истинного виновника, а в данном случае он был налицо, это – я сам. Следующим моментом этой философии впавшего в ошибку человека является скромное желание искупить ее деянием противоположного характера, покрывающего содеянное прегрешение. Да, нужно было искупление, нужна очистительная жертва… А она была тут, налицо. Я добыл заброшенные рукописи и принялся их перечитывать с жадностью. Да, в них было и чистое и хорошее, то, для чего стоит жить, а главное – нет принижающего подлаживанья к кому-то и чему-то. Много незрелого, вымученного, придуманного и все-таки хорошего. Я с какой-то жадностью перечитывал свой первый роман, потерпевший фиаско уже в двух редакциях, и невольно пришел к заключению, что ко мне там были несправедливы. Один редактор «толстого журнала» говорил, что слишком много описаний и мало сцен, а другой – что описаний мало. Где же правда? Кстати, я припомнил Пепку, который серьезно верил в мой талант и предсказывал даже литературную будущность. Милый Пепко… Он пока один ценил меня… Что же, другие потом убедятся, как они ошибались, то есть даже не ошибались, а просто не заметили, какой умный человек замешался среди них. И умный и талантливый… Да, работать, работать, работать! К черту все сомнения!.. Хотя, с другой стороны, если подумать, что в России сто миллионов населения, что интеллигенции наберется около миллиона, что из этого миллиона в течение десяти лет выдвинется всего одно или, много, два литературных дарования, – нет, эта комбинация приводила меня в отчаяние, потому что приходилось самого себя считать избранником, солью земли, тем счастливым номером, на который падает выигрыш в двести тысяч. Нет, выиграть двести тысяч даже легче (два раза в год можно выиграть), чем сделаться писателем. А сколько тысяч неудачников, ожесточенных самолюбий, озлобленных умов и неудовлетворенных самомнений на этом тернистом пути – настоящий дремучий лес! А какая масса растрачивается никому не нужного труда, энергии, лучших чувств, просто физической силы, чтобы получалась вся эта мякина и шелуха!

Эти предварительные родовые схватки творческих мук доводили меня до отчаяния. Я хватался за перо и начинал писать, чтобы потом уничтожить написанное. Выступала другая сторона дела: существует русская литература, немецкая, французская, итальянская, английская,

классическая, целый ряд восточных, – о чем не было писано, какие вопросы не были затронуты, какие изгибы души и самые сокровенные движения чувства не были трактованы на все лады! Я перебирал классические произведения и приходил к печальному заключению, что все уже написано и что я родился немного поздно. Что можно было сказать нового на этом пире избранников? Какое новое слово можно принести в этот мир князей мысли? Наконец, каждый человек является продуктом своего времени, своих обстоятельств, условий своей жизни… Да, хорошо писать заграничному автору, когда там жизнь бьет ключом, когда он родится на свет уже культурным, когда в самом воздухе висит эта культурная тонкость понимания, – одним словом, этот заграничный автор несет в себе громадное культурное наследство, а мы рядом с ним нищие, те жалкие нищие, которые прячут в тряпки собранные по грошикам чужие двугривенные. Много ли у нас своего? Ведь лучшие наши произведения – только подражания, более или менее удачные, лучшим заграничным образцам… Да иначе и не могло быть, потому что у нас, собственно, и жизни нет. Автор должен ее придумывать, прикрашивать, сдабривать вот эту несуществующую жизнь… Я прикинул свое собственное «поле зрения» и пришел в ужас. Да разве можно быть автором, заживо похоронив себя в каких-нибудь «Федосьиных покровах»? Здесь можно только задыхаться, и ни одна здоровая мысль не пробьется в эту проклятую дыру, а чувства должны атрофироваться, как атрофируются глаза рыб, попавших в подземные озера.

Позвольте, да и это все уже давно сказано лучшими русскими людьми, сказано талантливо, убедительно, красиво! Неужели ново только то, что хорошо позабыто? «Несовершенство» нашей русской жизни – избитый конек всех русских авторов, но ведь это только отрицательная сторона, а должна быть и положительная. Иначе нельзя было бы и жить, дышать, думать… Где эта жизнь? Где эти таинственные родники, из которых сочилась многострадальная русская история? Где те пути-дороженьки и роковые росстани (направо поедешь – сам сыт, конь голоден, налево – конь сыт, сам голоден, а прямо поедешь – не видать ни коня, ни головы), по которым ездили могучие родные богатыри? Нет, жизнь есть, она должна быть…

Я писал, перечитывал написанное и рвал.

Действительность выражалась в редком хождении на лекции и в репортерстве. Тут еще ярче выступала печальная истина, что мы плетемся в хвосте Европы и питаемся от крох, падающих со стола европейской науки. Наши ученые имена не шли дальше добросовестных компиляций, связанных с грехом пополам собственной отсебятиной. Исключений было так мало, а остальное подавляющее большинство представляло ту жалкую посредственность, которая заклеймена в Вагнере у Гете. Мое репортерство открывало мне изнанку этой русской науки и тех лилипутов, которые присосались к ней с незапамятных времен. По своим обязанностям репортера я попал на самые боевые пункты этой ученой трагикомедии и был au courant[35] русской доброй науки. Свои отчеты я попрежнему приносил в трактир Агапыча, где попрежнему священнодействовал Фрей. Я искренне полюбил этого фанатика газетного дела, – только такими людьми и держится мир. Кроме газеты, для него ничего не существовало, и он всегда был на своем посту.

– А, черт… – ругался однажды Фрей, просматривая телеграммы.

– Что такое случилось?

– А вот, полюбуйтесь…

Фрей ткнул пальцем на телеграммы о герцеговинском восстании. Я не понял его негодования.

– Что же тут дурного, полковник? Люди хотят освободиться от ига… Турецкие зверства,

наконец…

– Э, батенька, стара штука… А скверно то, что вот из таких пустяков загораются большие события. Да… Там этих братушек сколько угодно: сербы, болгары, Македония. Ну, мы заступимся за них, загорится война – вот вам, то есть нам, репортерам, и мат. Кто будет читать наши ученые общества и разные известия о пожарах, убийствах, банковых крахах и юбилеях? Ложись и умирай… Публику хлебом не корми, а только подавай войну. Вот на этом самом теперь все газетчики и наигрывают, кроме «Нашей газеты». Одним словом, дрянь дело. Порохом пахнет…

Фрей предсказал войну, хотя знал об истинном положении дел на Балканском полуострове не больше других, то есть ровно ничего. Русско-турецкая война открыла нам и Сербию и Болгарию, о которых мы знали столько же, сколько о китайских делах. Русское общество ухватилось за славян с особенным азартом, потому что нужен же был какой-нибудь интерес. Сразу выплыли какие-то никому не известные деятели, ораторы, радетели и просто жалобные люди, взасос читавшие последние известия о новых турецких зверствах.

Фрей находился в каком-то ожесточенном настроении и с особенным удовольствием ухватился за мое дело, как я ни уговаривал его бросить.

– Нет, постой, так нельзя… – мрачно говорил он, запрятывая в карман полученную от меня доверенность. – Этак с живого человека будут кожу драть, а он будет «покорно благодарю» говорить.

Подано было прошение мировому судье, и к делу приобщены три книжки «Кошницы», в которых печатался мой роман. Я был в камере только публикой. Со стороны Райского никто не явился, и мировой судья присудил Василию Попову четыреста пятьдесят шесть рублей. Это решение было обжаловано Райским, и дело перешло в съезд мировых судей. Дальше мне было совестно беспокоить Фрея; через две недели я выступил в съезде уже лично. Съезд утвердил решение мирового судьи, потому что противная сторона опять не явилась, и я получил исполнительный лист.

– Так-то будет лучше, – торжествовал Фрей, перечитывая этот ценный документ. – Мы им покажем.

Однако нам так и не удалось «им показать», потому что Райский скрылся из Петербурга неизвестно куда, а имущество журнала находилось в типографии. Судебный пристав отказал производить взыскание, так как не было ни редакции, ни конторы, ни склада изданий… В течение восьми недель я ходил в съезд с своим исполнительным листом, чтобы разрешить вопрос, но непременные члены только пожимали плечами и просили зайти еще. Наконец, нашелся один добрый человек, который вошел в мое положение.

– Вы давно ходите к нам с этим исполнительным листом?

– Да вот уже два месяца…

– Да? Знаете, что я вам посоветую: бросьте это дело… Все равно ничего не выйдет.

– Я сам начинаю об этом догадываться…

– Да, да…

Фрей даже зарычал, когда я предложил свой исполнительный лист ему на память. Он хотел

еще куда-то жаловаться, искать местожительство Райского и т. д., но я его уговорил бросить всю эту комедию.

– Послушайте, я считал вас умнее, Попов…

– Что делать: таков уродился.

Пепко, узнавший об исходе дела, остался совершенно равнодушен и даже по своему коварству, кажется, тайно торжествовал. У нас вообще установились крайне неловкие отношения, выход из которых был один – разойтись. Мы не говорили между собой по целым неделям. Очевидно, Пепко находился под влиянием Анны Петровны, продолжавшей меня ненавидеть с женской последовательностью. Нет ничего хуже таких отношений, особенно когда связан необходимостью прозябать в одной конуре.

– Послушай, ты должен быть мне благодарен, – заметил Пепко, принимая какой-то великодушный вид. – Да, благодарен. Ведь я мог бы тебе сказать, что все это можно бы предвидеть и что именно я это предвидел и так далее. Но я этого не делаю, и ты чувствуй.

## XXX

Все эти треволнения, усиленная работа и не менее усиленное пьянство привели меня к естественному концу. Кстати, о пьянстве. Может быть, я начал именно с того, чем должен кончить русский писатель. Я уже говорил выше об условиях работы и образе нашей жизни. С семи часов вечера я обыкновенно уходил на работу, то есть в заседание какого-нибудь общества. Домой возвращаться приходилось уже поздно, в полночь. Затем Федосья будила меня в шесть часов утра. Нужно было написать отчет к восьми часам и немедленно снести в редакцию, то есть трактир Агапыча. В своей специальности я уже набил руку и вполне усвоил репортерскую привычку писать о совершенно незнакомых вещах с развязностью завзятого специалиста. Обвинять же репортерское незнание, пожалуй, несправедливо, потому что поневоле приходится репортеру писать обо всем, а маленькая газетная кляча не обязана быть Гумбольдтом.[36]

Итак, мы работали, работали и пили. Приходишь к Агапычу, Фрей на своем посту и кто-нибудь из членов «академии». Такое деловое утро начиналось обыкновенно с водки. Трактирный «человек» даже не спрашивал, что нужно, а без предупреждения подавал графинчик водки. Фрей методически выпивал две рюмки, закусывал водку соленым огурцом, нюхал корочку черного хлеба и делался нормальным Фреем. Я водки с утра не мог пить, а спрашивал себе бутылку пива. Это быстро вошло в привычку. Начинал сосать пьяный червячок, если не выпьешь своей порции. Выпитое натощак пиво быстро дурманило, и вместе с тем чувствовалось какое-то облегчение, – совершенно особенное чувство, какое испытывается при прекращении зубной боли. В первый момент не верится, что эта боль утихла, и как-то повторяешь ее про себя и только потом привыкнешь быть попрежнему здоровым. Так и при пьянстве: количество выпитого не играет здесь особенной роли, потому что большая или меньшая «приемность» слишком субъективна. Выпив свою бутылку пива, я всегда испытывал приятное возбуждение, точно снимал с себя какую-то тяжесть. Затем этого заряда энергии начало недоставать, и пришлось пить другую бутылку. И так изо дня в день. Мысль о выпивке являлась с раннего утра. Я сознавал, что это нехорошо, что это вредно, глупо, и все-таки повторял свои порции. Молодой организм быстро поддается излишествам. Вечером являлась выпивка уже не в счет и в неопределенных размерах. Если не было заседания, я все чаще и чаще возвращался домой сильно под хмельком.

Настоящей многолетней привычки еще не могло быть, но пьянство было. Про себя я утешался

рассуждением каждого пьяницы, что вот возьму и брошу, а сегодня это только так, пока. Сколько людей на Руси гибнет от жестокого пьянства, а между тем, чего, кажется, проще отказаться от одной рюмки, всего от одной. Я быстро пошел по избитой дорожке и усвоил эту пьяную логику. К моему счастью, явился протест со стороны организма, что меня и спасло от окончательного падения. Началось с простого недомогания, бессонницы, плохого аппетита и лихорадки. Я не обращал на такие пустяки внимания и старался избавиться от них усиленной дозой напитков. Наконец, все завершилось кризисом, и в одно прекрасное утро я почувствовал, что серьезно болен и что продолжать прежний образ жизни невозможно. Это было органическое темное чувство, вызывавшее страшную тяжесть, апатию и неспособность к какой бы то ни было работе.

Странная вещь болезни вообще, и у них есть своя философия. По крайней мере это было верно лично для меня. Сколько передумаешь, перечувствуешь и переживешь в течение какого-нибудь одного дня. Первым ощущением у меня являлось то, как будто какая-то невидимая рука взяла тебя и вывела из круга здоровых людей. С каждым ударом сердца эта отчужденность усиливалась, и с роковой быстротой увеличивалось расстояние, отделявшее тебя от жизни. Теперь все сосредоточивалось где-то там, внутри, где незримо работала какая-то разрушительная сила. Еще вчера был здоров и не думал о здоровье, а сегодня уже пронеслась в воздухе грозная мысль об уничтожении, о смерти, о собственной ничтожности. Все, что делал, к чему стремился, о чем заботился, все это теперь являлось в совершенно другом свете. В самом деле, какое ничтожество каждый отдельный человек, взятый только сам по себе, и как мало дела всем остальным ничтожествам, если одним ничтожеством сделается меньше. От больных не сторонятся только из вежливости, из вежливости выслушивают их жалобы и очень рады, когда могут опять вернуться в общество своих здоровых людей. Все это я с особенной яркостью видел на моем друге Пепке и не обвинял его, потому что сам, вероятно, сделал бы то же самое.

Да, я лежал на своей кушетке, считал лихорадочный пульс, обливался холодным потом и думал о смерти. Кажется, Некрасов сказал, что хорошо молодым умереть. Я с этим не мог согласиться и как-то весь затаился, как прячется подстреленная птица. Да и к кому было идти с своей болью, когда всякому только до себя! А как страшно сознавать, что каждый день все ближе и ближе подвигает тебя к роковой развязке, к тому огромному неизвестному, о котором здоровые люди думают меньше всего.

Но я ошибался. За мной следила смешная и нелепая по существу женщина Федосья. Мы с ней периодически враждовали и ссорились, но сейчас она видела во мне больного и отнеслась с чисто женским участием. Получалась трогательная картина, когда она приносила то чашку бульона, то какие-то сухари, то кусок жареной говядины.

– Что вы все лежите, Попов?.. – ворчала она. – Пошли бы прогуляться, а то одурь возьмет… Вон ночью как сегодня кашляли!

– Ничего, пройдет…

– А отчего вы в клинику не хотите сходить?

– Незачем…

К клинике Федосья возвращалась с особенной настойчивостью, и это меня начинало злить.

– Вам хочется избавиться от меня, – заметил я ей довольно грубым тоном. – Боитесь, что я умру у вас…

Федосья что-то прибирала в нашей комнате, остановилась и с удивлением посмотрела на меня. Она не обиделась, а только удивилась. Я ей платил черной неблагодарностью за ее женскую доброту. В другое время она ответила бы соответствующей же грубостью, но сейчас только посмотрела на меня такими жалеющими добрыми глазами. Мне сделалось совестно, и я в первый раз подумал, что вот живу у Федосьи скоро два года, а ни разу даже не подумал, что это и хорошая и, главное, добрая женщина. Да… А когда я умру, она, может быть, одна проводит меня на кладбище, искренне поплачет над могилой и будет по-женски хорошо жалеть. Она и сейчас жалела, хотя и надоедала своей клиникой. Да, мне сделалось совестно, и я посмотрел на эту смешную Федосью совсем другими глазами.

Убедившись, что с клиникой ничего не поделаешь, Федосья обратилась к другим средствам. Она недолюбливала жиличку Анну Петровну, в которой ревновала женщину, но для меня примирилась с ней. Я это сразу понял, когда в одно непрекрасное февральское утро Анна Петровна постучала в дверь моей комнаты и попросила позволения войти.

– Пожалуйста…

Девушка вошла с немного сконфуженным видом, вероятно, припоминая нашу ссору из-за Любочки.

– Вы больны, Попов?

– Да, что-то нездоровится… Так, пустяки.

– Какие же пустяки… Вы ничего не будете иметь, если я вас выслушаю?

– Вы, кажется, начинаете смотреть на меня, как на медицинский препарат?

Медичка строго сложила губы и сделала вид, что не расслышала моего ответа.

– Впрочем, как хотите… – поправился я. – Вам полезно поупражняться в перкуссии…

– Да, да, именно полезно.

Я отдался в ее распоряжение и стал вслушиваться в постукиванье молотка, который разыгрывал на моей груди оригинальную мелодию. Левое легкое было благополучно, нижняя часть правого тоже, а в верхушке его послышался характерный тупой звук, точно там не было хозяина дома и все было заперто. Анна Петровна припала ухом к пойманному очагу и не выдержала, вскрикнув с какой-то радостью:

– Взвизгивает… да, совершенно ясно взвизгивает!..

Она радовалась, как охотник, выследивший интересную дичь, и совершенно забыла обо мне. Я отлично понимал, что означает этот медицинский термин, и почувствовал, как у меня перед глазами заходили темные круги и «Федосьины покровы» точно пошатнулись. Я очнулся от легкого обморока только благодаря холодной воде, которой меня отпаивала Анна Петровна.

– Ничего… это бывает… – бормотала она смущенно. – Если уехать в Крым и взять там весну…

– Еще лучше, если уехать в Ментону… да. У меня притупление правого легкого?

– Да…

– Приятное открытие…

– Проклятый петербургский климат…

– И многое другое… Впрочем, очень благодарен вам.

– Необходимо урегулировать питание… хорошее вино… легкий моцион…

– Послушайте, не будем говорить об этом, Анна Петровна… У меня в кармане ровно двугривенный, а работать сейчас я не могу. Впрочем, все это пустяки…

Притупление легкого – это начало форменной чахотки. Из ста случаев один шанс остаться в живых, особенно когда в кармане двугривенный. Вот когда пригодились бы пропавшие за Райским деньги. Да, это был почти смертный приговор, а остальное все придет само собой в свое время. И время стояло проклятое: конец февраля. До петербургской кислой весны было еще далеко. Меня охватило вполне понятное отчаяние… Благодаря занятиям в медицинской академии я отлично знал, как систематически пойдет весь процесс, пока из живого человека не получится cadaver.[37] Неужели все кончено и нет спасения? Я носил уже смерть в собственной груди, и будущее заключалось только в постепенном разложении живого тела. Молодой неокрепший организм так быстро реагирует в таких случаях, и пламя жизни потухает, как те светильники, в которые евангельские девы позабыли налить масла.

О, как я помню эту ужасную ночь!.. Это была ночь итога, ночь нравственной сводки всего сделанного и мук за несделанное, непережитое, неосуществленное. Прежде всего больная мысль унесла меня на родной благодатный юг, под родную кровлю. Да, там еще ничего не знают, да и не должны ничего знать, пока все не разрешится в ту или другую сторону. Бедная мать… Как она будет плакать и убиваться, как убивались и плакали те матери, детьми которых вымощены петербургские кладбища. Приехать домой больным и отравить себе последние дни видом чужих страданий – нет, это невозможно. Тем более что во всем виноват я сам, и только я сам. Моя болезнь – только результат беспутной, нехорошей жизни, а я не имею права огорчать других, получая достойную кару за свое недостойное поведение.

Да, я по косточкам разобрал всю свою недолгую жизнь и пришел к убеждению, что еще раз виноват сам. Одно пьянство чего стоило и другие излишества! Если бы можно было начать жить снова… Неужели нет спасенья и со мной умрет все будущее? По скрытой ассоциации идей я припомнил Александру Васильевну, какой я видел ее на балу. Ведь это было так недавно, чуть не на днях… Да, она такая молодая, свежая, полная сил… На меня смотрели эти чудные девичьи глаза, а в них смотрело счастье, любовь и целый ряд детских глаз – да, глаза тех наших детей, в которых мы должны были продолжиться и которых мы никогда-никогда не увидим. Мне безумно захотелось видеть ее и сказать, как я ее любил, как мы были бы счастливы, как прошли бы всю жизнь рука об руку… Разве написать ей? Может быть, она приедет…

А кругом стояла немая ночь. В коридоре почикивали дешевенькие стенные часы. Кругом темнота. Такая же ночь и на душе, а вместо дешевеньких часов отбивает такт измученное сердце. Я садился на своей кушетке и смотрел в темное пространство, из которого выступал целый ряд картин. Голые ноги повесившегося канатчика, пьяная улыбка Порфира Порфирыча, заплаканные глаза Любочки… Меня охватывала мучительная жажда жизни, именно – жажда. Я не хочу умирать… слышите?.. Я хочу жить, любить, работать, давать жизнь другим. Не правда ли, я ведь еще так молод, и это было бы величайшей несправедливостью – умереть на рассвете жизни. Я, наконец, не настолько испорченный человек, чтобы не мог исправиться. Ведь живут же никому не нужные старики и старухи, калеки и нищие, разбойники и просто негодяи, безнадежные пьяницы и совсем лишние люди? Зачем именно я должен умереть?..

# XXXI

Болезнь с неудержимой быстротой шла вперед. Я уже решил, что все кончено. Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, – и только. Вещь по своему существу не только обыкновенная, но даже прозаичная. Конечно, жаль, но все равно ничего не поделаешь. Человек, который, провожая знакомых, случайно остался в вагоне и едет совсем не туда, куда ему нужно, – вот то ощущение, которое меня преследовало неотступно.

Но я не был один. Федосья зорко следила за мной и не оставляла своими заботами. Мне пришлось тяжелым личным опытом убедиться, сколько настоящей хорошей доброты заложила природа в это неуклюжее и ворчливое существо. Да, это была добрая женщина, не головной добротой, а так, просто, потому что другой она не умела и не могла быть.

– А я вам парного молока добыла… – как-то конфузливо-сурово сообщала Федосья, глядя куда-нибудь в сторону. – У дворника есть курицы, так тоже скоро нестись будут. Свежее яичко хорошо скушать. Вот если бы красного вина добыть…

На последнем пункте политическая экономия Федосьи делала остановку. Бутылка вина на худой конец стоила рубль, а где его взять… Мои ресурсы были плохи. Оставалась надежда на родных, – как было ни тяжело, но мне пришлось просить у них денег. За последние полтора года я не получал «из дома» ни гроша и решился просить помощи, только вынужденный крайностью. Отец и мать, конечно, догадаются, что случилась какая-то беда, но обойти этот роковой вопрос не было никакой возможности.

Кроме физической стороны, Федосью занимала и психология болезни. Она решила про себя, что мне вредно оставаться одному, с неотвязной мыслью о своей болезни, и старалась развлекать меня, что оказалось труднее вопросов питания. По вечерам Федосья приходила в мою комнату, становилась у двери и рассказывала какой-нибудь интересный случай из своей жизни: как ее три раза обкрадывали, как она лежала больная в клинике, как ее ударил на улице пьяный мастеровой, как она чуть не утонула в Неве, как за нее сватался пьянчуга-чиновник и т. д. О себе она говорила, как о постороннем человеке, и все эти воспоминания сводились обязательно на что-нибудь неприятное. Вся жизнь Федосьи составляла одну сплошную неприятность. Когда этот личный материал исчерпался, Федосья перешла к жильцам, и я мог только удивляться ее наблюдательности. Она, как оказалось, отлично понимала бедствовавшую в ее конурах молодость и делала меткие характеристики. Впрочем, чужие злоключения и ошибки Федосья понимала по личному горькому опыту.

Раз Федосья заявилась с бутылкой дешевенького красного вина. Заметив мой недовольный взгляд, она поспешила оправдаться:

– Не мое вино-то… И бутылка почата… Это муж у Аграфены Петровны был именинник, так вино-то и осталось. Все равно так же бы слопали… Я как-то забежала к ней, ну, разговорились, ну, она мне сама и сует бутылку. А я не просила… Ей-богу, не просила. Она добрая…

Мне было совестно пользоваться любезностью почти совсем незнакомой женщины, тем более что у меня явилось подозрение относительно правдивости Федосьи. Наверно, она просила, а это являлось уже чуть не милостыней.

– Не хочу я вина… – решительно заявил я. – Не хочу, – и все тут.

Федосья отличалась большим упрямством и повела дело другим путем. В этот же день явилась ко мне сама Аграфена Петровна.

– Вы это что капризничаете? – напустилась она на меня без всяких предисловий. – Это я сама послала вам вино… Все равно испортилось бы. Я не пью, а мужу вредно пить. Одним словом, вздор…

Она осмотрела комнату и только покачала головой. На окне не было шторы, по углам пыль, мебель жалкая, – одним словом, одна мерзость. Мое девственное ложе тоже возбудило негодование Аграфены Петровны. Результатом этой ревизии явилось совершенно неожиданное заключение:

– Мы с вами будем играть в карты…

– Я не умею.

– А я научу. Будем играть в рамс… Я ужасно люблю. А вам необходимо развлечься немного, чтобы не думать о болезни. Сегодня у нас что? Да, равноденствие… Скоро весна, на дачу поедем, а пока в картишки поиграем. Мне одной-то тоже не весело. Сидишь-сидишь, и одурь возьмет. Баб я терпеть не могу, а одной скучно… Я вас живо выучу. Как жаль, что сегодня карт не захватила с собой, а еще думала… Этакая тетеря…

Аграфена Петровна была немного странная женщина и поражала неожиданными фантазиями. Одна из таких фантазий – ухаживать за «больным студентом». Хорошо было то, что она все делала как-то заразительно просто, с вечной улыбкой. На меня действовала больше всего именно эта простота. Так и пахнуло каким-то домашним теплом, уютным спокойствием и улыбающейся добротой. Каждое появление Аграфены Петровны сопровождалось какой-нибудь реформой: один раз переставлен был письменный стол, в другой – моя кушетка, в третий – стулья. Свою ненависть к Пепке она переносила и на его вещи и говорила: «Ну, этот и так живет»…

Вечера за картами проходили действительно веселые. Аграфена Петровна ужасно волновалась и доходила до обвинения меня в подтасовке. Кажется, в репертуар развлечения больного входили и карточные ссоры. В антракты Аграфена Петровна прилаживалась к столу, по-бабьи подпирала щеку одной рукой и говорила:

– Ну, рассказывайте что-нибудь… Вы ведь были влюблены в эту пухлявку Наденьку. Не отпирайтесь, пожалуйста, я все знаю… Рассказывайте. Я люблю, когда рассказывают про любовь… Ведь вы были влюблены? да?

– Да, но только не в Наденьку.

– А в кого? Хотите, я сама съезжу к ней с письмом?.. Она, наверно, не знает, что вы больны. О, как это хорошо – любить!.. Особенно когда весна, цветы, соловей… Вы любите луну? Когда я смотрю на луну, мне почему-то хочется плакать.

Эти разговоры вызвали во мне желание поделиться своей тайной. Все равно умру, и никто не узнает. Аграфена Петровна выслушала мою исповедь с широко раскрытыми глазами и в такт рассказа качала головой.

– И только? – удивилась она, когда я кончил.

– Что же вам еще нужно?

– Как что? Даже ни разу не поцеловать хорошенькой девушки? Да вы просто мямля и тюфяк… Вас никогда женщины не будут любить. Не может же девушка первая броситься на шею к

мужчине… Первый шаг должен сделать он.

– Я не хотел повторять историю с Любочкой…

– Что же, она сама виновата, если позволила себе слишком много. Есть известная граница… да. Не забывайте, что жизнь так и пройдет меж пальцев, а спохватитесь – уже поздно. Я вашего Пепку презираю, но он не теряет напрасно времени. Он – настоящий мужчина.

– Извините меня, но я вас не понимаю…

– А вы – мямля… Что же будет, если молодые люди не будут целовать девушек?.. Всё книжки да книжки, а когда же жить?.. Хотите, я съезжу к этой Александре Васильевне и привезу ее сюда? Адрес узнаю в адресном столе или у Наденьки.

– Нет, нет…

– Ну, это другое дело: значит, вы ее не любили по-настоящему. Если она любит, то приедет… Пешком придет и меня еще благодарить будет.

Мое здоровье ухудшалось с каждым днем. Особенно донимал холодный пот. Сидишь – и вдруг всего точно обольет холодной водой, а потом сейчас же наступало страшное бессилие. Я чувствовал, как жизнь выходила всеми порами и уничтожение близилось. Особенно тяжелы были бессонные ночи… Чего-чего не передумаешь в такую ночь! Обидно было то, что наступала весна, все готовились к ней, в газетах появились объявления о дачах… А там, на юге, уже совсем хорошо. Скоро тронутся реки, высыплет первая зеленая травка, весело запестреют первые цветы. Мысль о доме все чаще и чаще посещала меня, подрывая нежелание огорчать родную семью своей смертью на глазах у всех. Кажется, я решился бы уехать на юг, если бы не Аграфена Петровна.

Она явилась раз с известием, что наняла дачу.

– Будем вместе жить, – решила она за меня. – Я буду ухаживать за вами… У вас будет своя комната; я сама готовлю обед и откормлю вас. Все зависит от еды, а лекарства – пустяки…

– А где вы наняли дачу?

– В Третьем Парголове… Там отлично. Один Шуваловский парк чего стоит… Кстати, у вас там есть свои приятные воспоминания. Одним словом, все отлично…

Мне оставалось только благодарить за внимание. Оставалась надежда на чистый воздух начинавшейся Финляндской возвышенности. Да, там хорошо…

Я плохо помню, как время дотянулось до конца апреля. Взглянув на себя в зеркало, я даже испугался: это был какой-то живой скелет.

Мой друг Пепко совершенно забыл обо мне, предоставив меня своей участи. Это было жестоко, но молодость склонна думать только о самой себе, – ведь мир существует только для нее и принадлежит ей. Мы почти не говорили. Пепко изредка справлялся о моем здоровье и издавал неопределенный носовой звук, выражавший его неудовольствие:

– Да… Гм…

Он почти все время проводил в комнате у Анны Петровны и был счастлив.

Накануне отъезда Аграфена Петровна пришла собрать мои вещи и уложила все в чемодан. Вещей было так немного, а место еще оставалось. Она так посмотрела кругом, что мне показалось, что она и меня с удовольствием тоже уложила бы в чемодан. Я невольно засмеялся.

– Вы это чему смеетесь, мямля?

Она присела ко мне на кушетку, пощупала мой лоб, покачала головой, а потом быстро наклонилась и поцеловала прямо в губы с энергией, излишней для больных. Через ее плечо я видел, как в дверях показалась фигура Пепки и благочестиво скрылась.

# XXXII

Перед самым отъездом на дачу ко мне завернула Любочка. Она имела самый несчастный вид: исхудала, пожелтела и не обращала даже внимания на свой костюм, – последняя степень женского отчаяния. Она даже не знала, зачем пришла, что ей нужно было сказать и что делать. Это была тень живого человека. У меня сжалось сердце при виде убитой девушки. Все что-то делали, куда-то стремились, чего-то желали и на что-то надеялись; одна она была выкинута из этого живого круга, обреченная на специально женскую муку мученическую. Зашла в мою комнату, огляделась кругом с каким-то детским удивлением и присела на стул, позабыв даже поздороваться с хозяином.

– Как поживаете, Любочка?

– Я? не стоит говорить…

Она даже улыбнулась какой-то больной улыбкой. Я не знал, что говорить и что делать с ней. Ее безмолвное присутствие начинало меня тяготить. Есть известная граница, до которой чужое горе нас трогает, а дальше этой границы оно начинает раздражать, как плач или крик. Именно так и я посмотрел на Любочку. Что же в самом деле, ведь нельзя же заставить человека полюбить насильно! Я не оправдывал Пепку, но, с другой стороны, и Любочка разыгрывала трагедию не по нашему серенькому времени. Что такое любовь? Разве может быть любовь без взаимности? Представление об этом чувстве у меня, признаюсь, было довольно смутное, и я не мог понять, как это люди теряют голову и всякое самообладание. Опять является вопрос о границах… Потом мне было как-то совестно за Анну Петровну, являвшуюся в роли злой разлучницы. Как будто и нехорошо… Возникал неразрешимый вопрос о женском соперничестве, не предусмотренный никакими кодексами и сводами законов. Для меня ясно было одно, – именно, что Анна Петровна, охваченная эгоизмом собственного чувства, устраняла Любочку без всякого сожаления, и поэтому я смотрел на настоящую живую Любочку, сидевшую передо мной, с тем сожалением, на какое она имела право рассчитывать.

– Вам что-нибудь нужно, Любочка?

– Мне? Нет, ничего не нужно… Ах, нет, очень, очень нужно…

Любочка поднялась и кинулась мне в ноги.

– Уговорите Агафона Павлыча… Он вас послушает… – шептала она, заливаясь слезами. – Вы все знаете… Скажите ему…

– Любочка, встаньте…

– Не встану, если вы не пообещаете. Умру вот здесь… у вас… Ну, что вам стоит? Вы мне дайте честное слово, самое честное слово…

Несчастная ничего не понимала и ничего не желала понимать. Я ее насильно поднял, усадил и дал воды. У меня от слабости кружилась голова и дрожали ноги. Затем я, по логике всякой слабости, возненавидел Любочку. Что она ко мне-то пристает, когда я сам едва дышу? Довольно этой комедии. Ничего знать не хочу. До свидания… Любочка смотрела на меня широко раскрытыми глазами и только теперь заметила, как я хорош, – краше в гроб кладут.

– Я больше не буду, Василий Иваныч… – как-то по-детски покорно проговорила она, поднимаясь со стула. – Я уйду сейчас… Вы больны.

– Да, да, болен, черт возьми! Умираю, а вы ко мне лезете с вашими пустяками… Какое мне дело до вас? Зачем вы пришли ко мне?

Когда Любочка вышла, не простившись со мной, у меня начался пароксизм жестокой лихорадки. И опять этот пот… В последнее время начали появляться признаки апатии. Э, не все ли равно, когда ни умереть? Да и стоит ли жить вообще, когда столько гадостей кругом и когда в самом тебе эти же гадости таятся в зачаточном состоянии, потому что не выпало еще подходящего случая им реализоваться. И что такое смерть сама по себе? Во-первых – абсолютный покой, во-вторых – вопрос моей личной хронологии. Ведь все равно умирать когда-нибудь придется, сколько ни живи, и только одна иллюзия, что мне не нужно умирать и не нужно умирать именно сейчас, в данный момент. В болезнях есть своя философия.

На дачу я готовился переезжать в очень дурном настроении. Мне все казалось, что этого не следовало делать. К чему тревожить и себя и других, когда все уже решено. Мне казалось, что еду не я, а только тень того, что составляло мое я. Будет обидно видеть столько здоровых, цветущих людей, которые ехали на дачу не умирать, а жить. У них счастливые номера, а мой вышел в погашение.

Мой добрый гений Аграфена Петровна сама уложила мои вещи, покачивая головой над их скудным репертуаром. Она вообще относилась ко мне, как к ребенку, что подавало повод к довольно забавным сценам. Мне даже нравилось подчиняться чужой воле, чтобы только самому ничего не решать и ни о чем не думать. Это был эгоизм безнадежно больного человека. Ухаживая за мной, Аграфена Петровна постоянно повторяла:

– Андрей Иваныч всегда так делает… Андрей Иваныч это любит… Андрей Иваныч терпеть не может, чтобы кто-нибудь подходил к его письменному столу.

Одним словом, этот неизвестный мне Андрей Иваныч, казалось, наполнял всю вселенную и для Аграфены Петровны являлся чем-то вроде той атмосферы, которая окружает земной шар. Выражаясь фигурально, можно было подумать, что она дышала им. Я понимал только одно, что дома этот всеобъемлющий и всенаполняющий Андрей Иваныч являлся только дорогим гостем, а делала всю «домашность» одна Аграфена Петровна: она и дачу нанимала, и все укладывала, и перевозила на дачу весь скарб, и там все приводила в новый порядок, и делала все так, чтобы Андрею Иванычу было и удобно, и беззаботно, и хорошо. Разве Андрей Иваныч понимает что-нибудь в этих домашних дрязгах? Он лампы не умеет зажечь. Я почему-то вперед возненавидел этого трутня, который потерял всякий облик мужчины, как главы дома. Да, мужчина должен строить свое гнездо, оберегать и защищать его, а не сваливать всю работу на женские плечи. Меня возмущало это добровольное рабство Аграфены Петровны, и я понял, что в медичке Анне Петровне есть родственные черты: она точно так же ухаживала за своим Пепкой и так же его баловала. Одним словом, обе сестры принадлежали к типу тех женщин, которые создают культ

мужчины и всю жизнь служат кому-нибудь. Несчастная Любочка принадлежала к этому же типу, хотя ей и выпал дурной номер…

Пепку я видел совсем мало. Между нами установились какие-то глупые, натянутые отношения. Я чувствовал, что он меня ненавидит, и понимал, что единственным основанием этой ненависти было только то, что я все-таки оставался живым свидетелем его истории с Любочкой. Он видел во мне какой-то упрек себе и помеху своему счастью, и я уверен, что был бы рад моей смерти. О, Пепко был величайший эгоист, который думал, что мир скромно существует только для него! Перед моим отъездом он соблаговолил сказать мне несколько теплых слов:

– Всего лучшего, collega… Надеюсь, что ты не будешь терять даром своего маленького дачного времени. Аграфена Петровна такая добрая… Желаю успеха.

Это был намек на тот поцелуй, свидетелем которого невольно сделался Пепко. Он по своей испорченности самые чистые движения женской души объяснял какой-нибудь гнусностью, и я жалел только об одном, что был настолько слаб, что не имел силы проломить Пепкину башку. Я мог только краснеть остатками крови и молча скрежетал зубами.

– А ты куда помещаешь свою особу на лето? – спросил я, чтобы сказать что-нибудь.

– Не знаю еще хорошенько: в Павловск или в Ораниенбаум.

У Пепки были совершенно необъяснимые движения души, как в данном случае. Для чего он важничал и врал прямо в глаза? Павловск и Ораниенбаум были так же далеки от Пепки, как Голконда и те белые медведи, которые должны были превратиться в ковры для Пепкиных ног. По-моему, Пепко был просто маниак. Раз он мне совершенно серьезно сказал:

– Ты обратил внимание на мой профиль? Это профиль человека, который ездит на резине, имеет свои собственные дома, дачу в Крыму, лакея, который докладывает каждый день о состоянии погоды, – одним словом, живет порядочным человеком. По-моему, все зависит от профиля… Возьми историю Греции и Рима – вся сила заключалась только в профиле.

Забавнее всего было то, что профиль Пепки требовал серьезных поправок и даже снисхождения, но он серьезно гордился им и при разговоре часто поворачивал голову в три четверти, как настоящий актер.

Аграфена Петровна уехала на дачу раньше, чтобы окончательно все там приготовить. Я должен был тронуться с места только через два дня. Помню, как свежий весенний воздух пьянил меня и как моя голова кружилась в смертельной истоме. Я едва доехал до Финляндского вокзала, хотя до него было рукой подать. Весенняя дачная суета раздражала меня. Куда они все торопятся, о чем хлопочут, чему радуются, когда нужно только одно – чтобы не кружилась голова и не ныла зловеще грудь? Мне казалось, что вокзал – это моя собственная голова и что в этой собственной голове торопятся, бегут и кружатся все эти пассажиры. Я чувствовал, как все куда-то плывет, сливаясь в одну мутную полосу. Из этого забытья меня выводил какой-то неугомонный пассажир, жужжавший около меня, как осенняя муха. Это был мужчина в критическом возрасте, в котелке и золотом пенсне. Сначала он потерял свои вещи, потом свою даму в синей вуали, потом еще что-то – вообще он ужасно суетился, представляя своей особой типичный образчик дачного мужа. Дама в синей вуали, видимо, капризничала и говорила несчастному очень обидные и ядовитые вещи, потому что он делал умоляющее лицо и начинал виновато улыбаться, как только что наказанная собака. Чтобы искупить свои прегрешения, он пускался на отчаянное средство: навешивал на себя все

картонки, узелки, пакеты и свертки, брал в руки саквояжи, подмышки два дамских зонтика и превращался в одного из тех фокусников, которые вытаскивают все эти вещи из собственного носа и с торжеством удаляются со сцены, нагруженные, как верблюды. Этот маневр бедняге удавался, и дама в синей вуали улыбалась. Мне эта немая сцена семейного дачного счастья порядочно надоела, и я хотел переменить место, чтобы избавиться от дачного мужа, начинавшего уже поглядывать на меня с заискивающей улыбкой человека, который вот-вот любезно заговорит с вами о погоде. Но мой маневр не удался. Я только что поднялся, как дачный муж остановил меня.

– Извините, пожалуйста… – бормотал он. – Если я не ошибаюсь, вы Василий Иваныч Попов?

– К вашим услугам…

– Представьте себе, я узнал вас по описанию жены… Ведь вы едете в Третье Парголово? Ваши вещи отправлены раньше? Видите, как я все знаю…

Мне оставалось только удивляться догадливости дачного мужа, который взял меня под локоть, таинственно отвел меня в сторону и проговорил шепотом:

– Имею честь представиться: Андрей Иваныч… Слышали?.. Хе-хе… До некоторой степени ваш хозяин, то есть я-то тут ни при чем, а все Агриппина, да. Так вот видите ли… гм… да… Я провожаю в Шувалово одну даму… да… моя дальняя родственница… да… Так вы того… В случае, зайдет разговор, ради Бога не проболтайтесь Агриппине… Она такая нервная… Одним словом, вы понимаете мое положение.

– О, совершенно понимаю…

Дачный муж схватил меня за руку и крепко пожал ее, точно давал взятку.

– Мне сорок лет, и в эти года показаться смешным – смерть… – бормотал он, заискивающе улыбаясь. – Вы меня понимаете, одним словом…

Дама в синей вуали сделала демонстративное движение, и Андрей Иваныч бросился к ней с такой поспешностью, как бегут вытаскивать из воды утопающего.

Для начала встреча вышла недурная. Знаменитый Андрей Иваныч, не умевший зажечь лампы, проявлял настоящий талант вьючного животного. Эта чета повторяла с небольшими вариациями моих первых квартирных хозяев.

# XXXIII

Я опять в Третьем Парголове. У нас исправляет обязанность дачи простая деревенская изба, оклеенная внутри дешевенькими дачными обоями… Мое помещение вверху, на чердаке, – летняя комната, – ужасно напоминает большой гроб, потому что потолок сделан именно гробовой крышкой. Ничего, скверно, особенно в холодные дни. Вся жизнь семьи Андрея Иваныча выяснилась до мельчайших подробностей в несколько дней, как жизнь большинства петербургских чиновничьих семей. Дома Андрей Иваныч изображал из себя божка-мужчину и пользовался всеми привилегиями своего божественного состояния. Доходило до того, что «Агриппина» знала все его похождения и снисходила. Это унижение меня возмущало.

– Да ведь он мужчина? – удивлялась в свою очередь Агриппина. – У него каждый год новая привязанность… Но я совершенно спокойна, потому что знаю, что он никуда от меня не

уйдет…

– Действительно, счастье большое, – иронически соглашался я.

– А как бы вы думали? О, вы совсем не знаете жизни… Потом, он ни одной ночи не провел вне дома. Где бы ни был, а домой все-таки вернется… Это много значит. Теперь он ухаживает за этой старой девой… Не делает чести его вкусу – и только.

Сам Андрей Иваныч в шутливом тоне очень любил поговорить о своей новой привязанности и даже требовал внимания Агриппины к ней. В одно прекрасное утро незнакомка в синей вуали сидела у нас на балконе и кисло улыбалась. Я только теперь хорошенько рассмотрел ее. Блондинка, с грязноватым цветом волос, лицо маленькое, покрытое веснушками, детская картавость и претензии на манеры женщины «из общества». Звали ее Анжеликой Карловной. Меня лично она возмущала, как живое воплощение всевозможной кислоты. Очевидно, желание познакомиться с Агриппиной было ее капризом, и Андрей Иваныч крутился, как береста на огне. Терпимость Аграфены Петровны меня тоже возмущала.

– О, у Агриппины своя политика! – объяснял мне конфиденциально Андрей Иваныч. – Ей нравится, что я нравлюсь женщинам… А это главное. Хе-хе… Анжелика в меня влюблена, как кошка.

Это было повторением мании Пепки, что все женщины влюблены в него. Но за Пепкой была молодость и острый ум, а тут ровно ничего. Мне лично было жаль дочери Андрея Иваныча, семилетней Любочки, которая должна быть свидетельницей мамашиного терпения и папашиных успехов. Детские глаза смотрели так чисто и так доверчиво, и мне вчуже делалось совестно за бессовестного петербургского чиновника.

Мое здоровье быстро начало поправляться. Это было настоящее чудо, которому я был обязан только начинавшемуся финляндскому предгорию. Целые дни я проводил в Шуваловском парке, где дышал озонированным воздухом финляндского леса. Может быть, молодость брала свое, но я свое исцеление приписываю только парку. Да, я приехал сюда умирающим, а через две недели почувствовал уже облегчение и первый прилив сил: пораженная верхушка легкого начала рубцеваться. Я не верил, что спокойно начинаю спать, что у меня явился аппетит, что весь мир точно изменился сразу, а главное – на душе было так хорошо и радостно. Нужно иметь свою привычку даже к здоровью, как я убедился по личному опыту. Просыпаясь утром, я задавал себе целый экзамен и упорно подыскивал какие-нибудь признаки болезни. Но их не было, кроме слабости. Аграфена Петровна ухаживала за мной, как мать, и торжествовала. Я чувствовал постоянно на себе ее пристальный взгляд, и это внимание доставляло мне удовольствие. Иногда Аграфена Петровна начинала тревожиться и производила мне свой собственный экзамен: на первом плане аппетит, потом сон, потом настроение духа.

– Все болезни бывают от огорчений, – уверяла она совершенно серьезно. – Уж это верно… Как у человека неприятность, так он и заболевает. Я это знаю по себе.

Утром, напившись парного молока, я уходил в Шуваловский парк и гулял здесь часа три, вспоминая прошлое лето и отдаваясь тем юношеским мечтам, которые несутся в голове, как весенние облачка. И жутко, и хорошо, и какая-то смутная тоска охватывает… Я вспоминал Александру Васильевну, – где-то она теперь, бедная? – мне именно казалось, что она бедная и что я почему-то должен ее жалеть. Потом мне хотелось ее от чего-то защищать, утешить, приласкать – просто унести в какой-то неведомый край, где и светло, и хорошо, и цветут сказочные цветы, и поют удивительные птицы, и поэтически журчат фонтаны, и гуляет «девушка в белом платье», такая чудная и свежая, как только что распустившийся цветок. Нет,

хорошо жить! Мысль о смерти, как грозовая туча, унеслась далеко-далеко. Да, мы будем жить, девушка в белом платье, и вы живите, и все пусть живут, и пусть все любят друг друга. Не нужно слез, горя, нужды, неправды… Это радостное и восторженное настроение нарушалось только воспоминанием о бедном Порфире Порфирыче, – я именно теперь почему-то часто думал о нем и тоже жалел бедного старика, как Александру Васильевну. Вот он уже не увидит больше ни этого солнца, ни этой небесной синевы, ни зелени, ни цветов… Мысль о смерти теперь придавала особенно интенсивную окраску всему живому. Как коротка жизнь, как мало у каждого осталось впереди дней и как нужно ими пользоваться, чтобы не прожить даром. Я мечтал с открытыми глазами, подавленный этой жаждой жизни. Повторялись прошлогодние муки творчества, и мне иногда казалось, что я начинаю сходить с ума. Меня окружала уже целая толпа моих будущих героев и героинь, которым я дам жизнь. Я их уже чувствовал и почти видел, то есть видел опять самого себя в разных положениях. Я любил всех этих женщин, я им всем говорил такие хорошие слова, я объяснял им самих себя, и они отвечали мне такими благодарными улыбками, влюбленными взглядами, – да, они будут любить меня, ловить каждое мое слово и будут счастливы.

Переложить этот бред на бумагу, конечно, не было никакой физической возможности, и я ограничивался тем, что заносил отдельные сцены, характеристики и описания в свою записную книжку. Может быть, все это было смешно, но мне доставляло громадное наслаждение быть таким смешным мечтателем. Я идеализировал встречавшихся в парке дачников и в них продолжал свои мечты. Неужели можно удовлетвориться одной своей жизнью? Нет, жить тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец – вот где настоящая жизнь и настоящее счастье! В порыве такого отождествления я раз машинально забрел на чужую дачу и очень сконфузился, увидев реальных людей.

Это возвышенное настроение совпадало с твердым намерением начать новую жизнь. Да, все старое кончено и никогда больше не повторится. Прощай, милая «академия», прощай, о ты, коварный друг Пепко!.. Я с ужасом припоминал последние два года, проведенные в этом милом обществе. Взять хоть прошлое пьяное лето с кутежами в «Розе» и разными дурацкими похождениями до пьяного безобразия включительно. Кончено, все кончено… Будем жить по-новому, по-другому. Я даже ни разу не прошел мимо своей прошлогодней избушки, не заглянул в «Розу», не полюбопытствовал, как живет во Втором Парголове «девушка в белом платье».

Раз я гулял в парке, занятый планом какой-то фантастической легенды, – мне было уже тесно в рамках обыкновенного существования обыкновенных смертных, – как меня окликнул знакомый голос. Я оглянулся и остолбенел: меня догонял Пепко. Он был в летнем порванном пальто и с газетой в руках, – признак недурной…

– Вася, постой…

– Пепко, ты ли это? Ведь ты живешь в Павловске?

– Как ты легкомыслен, мой друг… Кто живет в Павловске? Разжиревшая буржуазия, гнусные аристократы, бюрократы, гвардейцы, а я – мыслящий пролетариат. Представь себе, что я живу в двух шагах от тебя, – знаешь Заманиловку? Это по дороге к доброй фее… Я, брат, нынче шабаш: ни-ни. Запрещено все.

Пепко тревожно посмотрел в соседнюю аллею, где на скамейке виднелась женская фигура, и сбавил шагу.

– Я тоже шабаш, – признался я.

– Ты-то с какой стати? – укоризненно заметил Пепко и сделал неодобрительное движение головой. – Впрочем, всякий дурак по-своему с ума сходит.

Потом он остановился, трагическим жестом указал на скамью с женской фигурой и трагически проговорил:

– Видишь – скамья? Кажется, просто… На скамье сидит дама – кажется, еще проще? Да… А между тем это не скамья и не дама, а мое несчастье, моя погибель, моя могила. Да, да, да… Она, то есть дама, а не скамья, довела меня до того, что я разорвал самые священные узы дружбы, я готов был отречься даже от своей одной доброй матери… Она стоит над моей душой и сторожит каждую мысль, – одним словом, это самое ужасное из всех рабств… Вот сейчас я разговариваю с тобой, а сам трепещу… А чего боюсь? Боюсь, голубчик, этих слез, этих немых упреков, этого вечного домашнего сыска… Я больше не принадлежу себе, как не принадлежит самой себе какая-нибудь вещь домашнего обихода. Боже мой, как я завидую тебе, то есть твоей свободе! Я когда увидел тебя, первой мыслью было броситься, догнать и сказать: «Милый, родной, беги от женщины»… О, я знаю, что такое женщина! И знаешь, что в женщинах самое ужасное: они все напоминают друг друга, как дождевые капли. Образованная Анна Петровна делает то же самое, что делала глупенькая Любочка… Она меня ревнует даже к неодушевленным предметам, к моим тайным мыслям. А самое скверное то, мой друг, что Анна Петровна – умная, развитая, хорошая женщина… О, от этой, брат, никуда не уйдешь! Она, брат, все видит… Она создаст из жизни такую пытку, что позавидовал бы сам святой отец Игнатий Лойола. Знаешь, иногда я мечтаю, – потихоньку от нее мечтаю, – отчего я не женился на Федосье? Чтобы она, Федосья, была старая и рябая, и чтобы у нее был любовник, скверный солдат, и чтобы этот скверный солдат меня бил…

– Пепко, ты по своей привычке преувеличиваешь… Вероятно, какая-нибудь самая обыкновенная семейная ссоришка.

Пепко захохотал, а потом спохватился, закрыл рот рукой и даже спрятался за меня. Потом он взял меня за руку и повел назад.

– Пусть она там злится, а я хочу быть свободным хоть на один миг. Да, всего на один миг. Кажется, самое скромное желание? Ты думаешь, она нас не видит?.. О, все видит! Потом будет проникать мне в душу – понимаешь, прямо в душу. Ну, все равно… Сядем вот здесь. Я хочу себя чувствовать тем Пепкой, каким ты меня знал тогда…

Мы сели. Пепко развернул свою газету, поискал что-то глазами и расхохотался, как это с ним случалось, – расхохотался без всякой видимой причины.

– На, читай… – ткнул он мне газету, отмечая ногтем столбец.

Газета трактовала о герцеговинском восстании и что-то такое о Сербии. Я за время своей болезни отстал от печатной бумаги и никак не мог понять, что могло интересовать Пепку.

– Ты не понимаешь? – удивлялся Пепко.

– Ровно ничего не понимаю…

– А независимость Сербии? Зверства турок? Первые добровольцы? И теперь не понимаешь? Ха-ха!.. Так я тебе скажу: это мое спасение, мой последний ход… Ты видишь, вон там сидит на скамейке дама и злится, а человек, на которого она злится, возьмет да и уйдет добровольцем освобождать братьев славян от турецкого зверства. Ведь это, голубчик, целая идеища… Я даже во сне вижу этих турок. Во мне просыпается наша славянская стихийная тяга на Восток…

– Ну, это будет не совсем на Восток.

– Э, не все ли равно!..

– Анна Петровна знает твои намерения?

– В том-то и дело, что ничего не знает… ха-ха!.. Хочу умереть за братьев и хоть этим искупить свои прегрешения. Да… Серьезно тебе говорю… У меня это клином засело в башку. Ты только представь себе картину: порабощенная страна, с одной стороны, а с другой – наш исторический враг… Сколько там пролито русской крови, сколько положено голов, а идея все-таки не достигнута. Умереть со знаменем в руках, умереть за святое дело – да разве может быть счастье выше?

– Однако Анна Петровна…

– Вот, вот… Что мне может сказать Анна Петровна, когда я в одно прекрасное утро объявлюсь пред ней добровольцем? Ведь умные-то книжки все за меня, а тут я еще поеду корреспондентом от «Нашей газеты». Ха-ха… Ради Бога, все это между нами. Величайший секрет… Я хотел сказать тебе… хотел…

Пепко как-то сразу сорвался с места и, не простившись со мной, бросился догонять уходившую Анну Петровну. Пепко был неисправим…

# XXXIV

Славянский патриотизм Пепки мне показался для первого раза просто мальчишеской выходкой, одной из тех смешных штук, какие он любил выделывать время от времени. Но вышло гораздо серьезнее. Он дня через два после нашей встречи зашел ко мне и потащил в «Розу».

– Зачем идти в трактир? – слабо протестовал я. – Напились бы чаю у меня и потолковали…

– Нет, не могу, Вася. Мне нужен этот трактирный воздух… И чтобы трактир был такой, с грязцой: салфетки коробом, заржавленные, у лакеев фраки в пятнах, посуда разномастная, у буфетчика красный нос, – одним словом, полное великолепие. Да… Я ведь, кроме чая, ни-ни.

Последнему я позволил себе не поверить.

– Стакан чаю, – приказал Пепко грязному лакею и посмотрел на него таким вызывающим взглядом, точно спросил яду.

Мне доктор советовал для восстановления сил пить пиво, и стоицизм Пепки подвергался серьезному искусу. Но он выдержал свое «отчаяние» с полной бодростью духа, потому что страдал жаждой высказаться и поделиться своим настроением. На него нападала временем неудержимая общительность. Прихлебывая чай, Пепко начал говорить с торопливостью человека, за которым кто-то гонится и вот-вот сейчас схватит.

– Видишь ли, Вася… я много думал… Ночи даже не сплю. В самом деле, если разобрать: какая наша жизнь? Одно сплошное свинство… Мы даже любить не умеем, а только тянем один из другого жилы… Да… Мне просто опротивело жить, есть, дышать, смотреть. Понимаешь: не хочу. Для чего я сейчас хлебаю вот это пойло? Неизвестно, а пойло негодное и ненужное. И все так… Мы всю жизнь именно делаем то, что нам не нужно. Я дошел до того, что эту ложь вижу даже в неодушевленных предметах: вот возьми хоть этот трактирный садишко – ведь

деревья только притворяются деревьями, а в сущности это зеленые лакеи, которые должны прикрывать своей тенью пьяниц, влюбленные парочки и всякую остальную трактирную гадость. Понимаешь, я не верю вот этим зеленым листьям – они тоже лгут, потому что в сущности не листья, а черт знает что. Разве услужающий, буфетчик, тапер – люди? Мне кажется, что и стулья притворяются стульями, столы – столами, салфетки – салфетками и что больше всех притворяюсь я, сидящий на этих стульях и утирающий свою морду этими салфетками. Ты меня понимаешь?

– Порыв раскаяния в национальном стиле. Остается только выйти куда-нибудь на Красную площадь, подняться на высокое место лобное и оттуда раскланяться на все четыре стороны: «Прости, народ православный».

– Да, да, именно. Так делал Иван Грозный, Стенька Разин, Емелька Пугачев… Это наше. Ни Мария Антуанетта,[38] ни Луишка Сез[39] так не делали, когда их привели к гильотине. Да, это наше… И за этим, знаешь, что стоит: мучительнейшая жажда подвига, искупления. Ведь в каждом русском человеке сидит именно такой подвижник. Я нынче читаю жития русских угодников и вижу, что они в себе воплотили нашу исконную русскую покаянно-подвижническую черту. Это стихийная сила, с которой даже невозможно считаться. Они, подвижники, тоже ушли от окружавшего их свинства и мучительным подвигом достигли желаемого просветления, то есть настоящего, того, для чего только и стоит жить. И мне надоело жить, и я тоже мучительно ищу подвига, искупления…

– Одним словом, желаешь быть добровольцем?

– Да, да… Ты представь себе, что и другие тоже мучатся, как я, и тоже ищут подвига. Мы не знаем друг друга, но уже вперед делаемся братьями по душе.

– Извини, я сделаю одно замечание: большую роль в данном случае играет декоративная сторона. Каждый вперед воображает себя уже героем, который жертвует собой за любовь к ближнему, – эта мысль красиво окутывается пороховым дымом, освещается блеском выстрелов, а ухо слышит мольбы угнетенных братьев, стоны раненых, рыдания женщин и детей. Ты, вероятно, встречал охотников бегать на пожары? Тоже декоративная слабость…

– Ну, уж извини, пожалуйста. Тоже русская черта: по всякому поводу предаваться дешевенькому скептицизму. Ничего ты не понимаешь, Вася, и мне просто жаль, этак просто, по-хорошему жаль… Да, я могу ошибиться, я преувеличиваю, идеализирую, – все, что хочешь, но все-таки я переживаю известный подъем духа и делаюсь лучше.

В доказательство Пепко достал из кармана целую пачку вырезок из газет, в которых описывались всевозможные турецкие зверства над беззащитными. По свойственному Пепке деспотизму он заставил меня выслушать весь этот материал, рассортированный с величайшей аккуратностью: зверства над мужчинами, зверства над женщинами, зверства над детьми и зверства вообще. В нужных местах Пепко делал трагические паузы и вызывающе смотрел на меня, точно я только что приготовился к совершению какого-нибудь турецкого зверства.

– Вася, пойдем вместе, – закончил Пепко, бережно укладывая драгоценные материалы. – Ей-богу… А то ведь исподличаешься, очерствеешь, заржавеешь.

– Ты забываешь, что я только что начал поправляться. Кстати, что Анна Петровна?

– Пока она ничего не знает… Я ей который день читаю о зверствах. Знаешь, нужно подготовить постепенно. Только, кажется, она не из тех, которые способны признавать чужие горести. Она

эгоистка, как ты и как все вы. Она, во всяком случае, не понимает моего настроения, а настроение – все.

– Еще один нескромный вопрос: что Любочка? Она перед отъездом на дачу приходила ко мне…

– Она, конечно, разыскала меня в Заманиловке и устраивает мне скандалы. Придет к даче, сядет на лавочку и сидит целый день… Знаешь, это хуже всего. Моя Анна Петровна пилит-пилит меня… А при чем же я тут?.. Могу сказать, что женщины в нравственном отношении слишком специализируются. Да и какая это нравственность…

– И вдруг ты уезжаешь добровольцем, избавляясь разом от двух бед: не будет сидеть Любочка против дачи, и не будет пилить Анна Петровна… Это недурно…

– К сожалению, ты прав… Подводная часть мужской храбрости всегда заготовляется у себя дома. Эти милые женщины кого угодно доведут до геройства, которому человечество потом удивляется, разиня рот. О, как я теперь ненавижу всех женщин!.. Представь себе, что у тебя жестоко болит зуб, – вот что такое женщина, с той разницей, что от зубной боли есть лекарство, больной зуб, наконец, можно выдернуть.

Пепко начал просто одолевать меня своим добровольческим настроением, и не проходило двух дней, чтоб он не тащил меня в «Розу» поделиться новыми зверствами. Дома Андрей Иваныч тоже читал жене о зверствах, так что я сам готов был превратиться в башибузука. Дело дошло до того, что Пепко и Андрей Иваныч соединились и принялись вместе устраивать в Шувалове какие-то герцеговинские вечера. Нужно заметить, что Аграфена Петровна относилась к Пепке как-то подозрительно и до сих пор не могла примириться с его ролью зятя. Для меня это было задачей. В последнее время Пепко начал приходить к нам, но старался не попадаться Аграфене Петровне на глаза.

– Ты ее боишься? – спросил я его однажды.

– Агриппины? О да… Недостает, чтобы еще она бросилась мне на шею. Будет. Довольно… Я презираю всех женщин.

Относительно герцеговинских вечеров Аграфена Петровна составила себе сейчас же свое собственное мнение.

– Два дурака сошлись, – коротко объяснила она. – Еще мой-то Андрей Иваныч поумнее будет… Он хлопочет для Анжелики, чтобы ее на публику выставить билетершей или благотворительной продавщицей. А Пепко сам не знает, чего хочет. Удивляюсь я сестре Анюте…

Аграфена Петровна обыкновенно не договаривала, чему она удивляется, и только строго подбирала губы. Вообще это была странная женщина. Как-то ни с того ни с сего развеселится, потом так же ни с того ни с сего по-бабьи пригорюнится. К Андрею Иванычу она относилась, как к младенцу, и даже входила в его любовные горести, когда Андрей Иваныч начинал, например, ревновать Анжелику к какому-то офицеру.

– Это она тебя подвинчивает, – объясняла Аграфена Петровна. – Все женщины так делают, когда начинают сомневаться в мужчине… Значит, Анжелика дорожит тобой.

– Ты в этом уверена, Агриппина?

– Спроси кого угодно… Даже Василий Иваныч понимает, а тебе-то стыдно не знать таких

пустяков.

Относительно моей невинности Аграфена Петровна любила иногда прогуляться, и я чувствовал, что начинаю превращаться в младенца номер второй. В манере держать себя у нее было что-то мягкое и ласково-угнетающее, и мне это не нравилось. Еще больше мне не нравилось любопытство Аграфены Петровны. По некоторым намекам я догадался, что она читает мои письма и мои рукописи. Это уже было слишком, и я раз откровенно ей заметил, что нехорошо простирать свое любопытство так далеко. Она вся вспыхнула и отреклась от всего начисто, как отпираются иногда дети.

– За кого вы меня принимаете, Василий Иваныч? – повторяла она, напрасно стараясь попасть в тон несправедливо обиженного человека. – И, наконец, какое мне дело…

– Я так, к слову…

В конце концов я сам уверился, что она права, и даже попросил извинения. Этого было достаточно, чтобы Аграфена Петровна расхохоталась и заявила:

– Читала, все читала… Не могла никак удержаться. И даже плакала над одной главой… Женское любопытство одолело. А вы сами виноваты, зачем не прячете того, чего я не должна читать. Не могу… Пойду убирать комнату, так меня и потянет взглянуть хоть одним глазком, что он такое пишет. Ах, если бы я умела писать…

– Сейчас бы Андрея Иваныча описали?

– Нет, другое…

У Аграфены Петровны явилось серьезное лицо, и она с печальной улыбкой проговорила:

– Я написала бы, что думает и чувствует одинокая женщина… Ведь все женщины в конце концов остаются одинокими. Вот вы этого-то, главного, и не понимаете, Василий Иваныч…

Вместе с выздоровлением у меня явилась неудержимая потребность к творчеству. Я еще раз перебрал все свои бумаги, еще раз проверил написанное и еще раз убедился, что вся эта писаная бумага никуда не годится. Пережитая болезнь открыла мне глаза на многое, чего я раньше не понимал и не замечал. Приходилось начинать с новых опытов. Это была увлекательная работа, тем более что я уже не думал ни о редакциях, ни о публике, ни о критике, – не все ли равно, как там или здесь отнесутся к моей работе? Важно одно, именно, чтобы она до известной степени удовлетворяла самого автора и служила выражением его внутреннего человека. В этом все, а остальное пустяки. Журналы могут не печатать, публика не читать, критики разносить, – все это может быть одной случайностью, а важно только одно, именно, что у автора есть свое собственное содержание, свое я. Конечно, до известной степени он явится подражателем кого-нибудь из своих любимых авторов-предшественников, – это неизбежно, как детские болезни, – но автор начинается только там, где начинает проявлять свое я, где внесет свое новое, маленькое новое, но все-таки свое. До сих пор я дальше Ивана Иваныча и «Кошницы» не мог пойти именно потому, что только бессознательно кому-то подражал, что писал о людях понаслышке, придумывал и высиживал жизнь.

Плодом этого нового подъема моего творчества явилась небольшая повесть «Межеумок», которую я потихоньку свез в Петербург и передал в знаменитую редакцию самого влиятельного журнала. Домашняя уверенность и литературная храбрость сразу оставили меня, когда я очутился в редакционной приемной. Мне казалось, что здесь еще слышатся шаги тех знаменитостей, которые когда-то работали здесь, а нынешние знаменитости проходят вот этой

же дверью, садятся на эти стулья, дышат этим же воздухом. Меня еще никогда не охватывало такое сознание собственной ничтожности… Принимал статьи высокий представительный старик с удивительно добрыми глазами. Он был так изысканно вежлив, так предупредительно внимателен, что я ушел из знаменитой редакции со спокойным сердцем.

Ответ по обычаю через две недели. Иду, имея в виду встретить того же любвеобильного старичка европейца. Увы, его не оказалось в редакции, а его место заступил какой-то улыбающийся черненький молодой человечек с живыми темными глазами. Он юркнул в соседнюю дверь, а на его место появился взъерошенный пожилой господин с выпуклыми остановившимися глазами. В его руках была моя рукопись. Он посмотрел на меня через очки и хриплым голосом проговорил:

– Мы таких вещей не принимаем…

Я вылетел из редакции бомбой, даже забыл в передней свои калоши. Это было незаслуженное оскорбление… И от кого? Я его узнал по портретам. Это был громадный литературный человек, а в его ответе для меня заключалось еще восемь лет неудач.

## XXXV

Неудача «Межеумка» сильно меня обескуражила, хотя я и готовился вперед ко всевозможным неудачам. Уж слишком резкий отказ, а фраза знаменитого человека несколько дней стояла у меня в ушах. Это почти смертный приговор. Вероятно, у меня был очень некрасивый вид, потому что даже Пепко заметил и с участием спросил:

– Опять обзатылили?

– Да и еще как…

Я рассказал свою «дерзость» и результаты оной, до уничтожающей фразы включительно.

– «Мы таких статей не принимаем»? – повторил Пепко ответ знаменитого человека, видимо, его смакуя. – Ну, а ты что же?

– Я? Кажется, я походил на собаку, которая хотела проникнуть в кухню и вместо кости получила палку… Вообще подлое чувство. День полного отчаяния, день отчаяния половинного, день просто сомнения в самом себе и в заключение такой вывод: он прав по-своему…

– Ах ты, мякиш!

– Не, не мякиш… Я буду там печататься и добьюсь своего. Эти неудачи меня только ободряют… Немного передохну – и опять за работу…

– История первого портного? Что же, не вредно… Могу только сочувствовать. Да… У нас вон тоже неудача: кассирша сбежала. А мы с Андреем Иванычем все-таки не унываем… да.

– Нашли занятие…

– И прекрасное занятие. Мы уже отправили триста рублей в славянский комитет. Лепта вдовицы по размерам, а все-таки лепта. Если бы каждый мог внести столько.

Пепко, как известно из предыдущего, жил взрывами, переходя с сумасшедшей быстротой от одного настроения к другому. Теперь он почему-то занялся мной и моими делами. Этот прилив

дружеской нежности дошел до того, что раз Пепко явился ко мне в час ночи, разбудил меня, уселся ко мне на кровать и, тяжело дыша, заговорил:

– Знаешь, я все время думаю…

– Постой, который теперь час?

– Два… то есть второй.

– Да ты с ума сошел, Пепко… Что такое случилось?

– Мне нужно серьезно поговорить с тобой о «Межеумке». Я прочитал рукопись и отправлюсь с ней в редакцию для некоторых объяснений. Видишь ли, он тебя оскорбил… Это нехорошо, очень нехорошо. Он слишком большой человек, а ты сущая литературная ничтожность. Да… Значит, он должен быть вежлив прежде всего. Это minimum… Допустим, что ты написал неудачную статью, – это еще не беда и ни для кого не обидно. Даже опытный автор может написать неудачную статью… Занятие, во всяком случае, скромное. Я приду к нему и скажу: «Милостивый государь, я вас очень люблю, уважаю и ценю, и это мне дает право прийти к вам и сказать, что мне больно, – да, больно видеть ваши отношения к начинающим авторам»… О, я ему все скажу! Я буду красноречив… Ведь он нанес тебе оскорбление.

– Послушай, ты, кажется, рехнулся?.. С какой стати ты полезешь объясняться?.. Оскорбителен был тон, – да, но ты прими во внимание, сколько тысяч рукописей ему приходится перечитывать; поневоле человек озлобится на нашего брата, неудачников. На его месте ты, вероятно, стал бы кусаться…

– Нет, нет, этого дела так нельзя оставлять. Я скажу ему несколько теплых слов.

– Редакции не обязаны мотивировать свои отказы и отвечать по существу дела: для этого не хватило бы времени. Если каждый отвергнутый автор полезет с объяснениями, когда же он сам будет писать?.. Нет, это дело нужно оставить.

Мне стоило большого труда успокоить Пепку. Он кончил тем, что принялся ругать меня, колотил в стену кулаками и вообще проявил формальное бешенство.

– Вася, ты глуп… о, как ты глуп! С каким удовольствием я сейчас вздул бы тебя…

– Ты сядь, Пепко… Странно, что твои добрые намерения заканчиваются непременно мордобитием.

– Дерево деревянное!.. Ветчина!.. олух!..

За этим пароксизмом последовал быстрый упадок сил. Пепко сел на пол и умолк. В единственное окно моего гроба глядело уже летнее утро. Какой-то нерешительный свет бродил по дешевеньким обоям, по расщелявшемуся деревянному полу, по гробовой крышке-потолку, точно чего-то искал и не находил. Пепко сидел, презрительно мотал головой и, взглядывая на меня, еще более презрительно фыркал. Потом он достал из кармана несколько написанных листов и, бросив их мне в физиономию, проворчал:

– На, черт тебя возьми…

– Что это такое?

– А вот, читай… Целую неделю корпел. Знаешь, я открыл, наконец, секрет сделаться великим писателем. Да… И как видишь, это совсем не так трудно. Когда ты прочтешь, то сейчас же превратишься в мудреца. Посмотрим тогда, что он скажет… Ха-ха!.. Да, будем посмотреть…

Просматривая Пепкину работу, я несколько раз вопросительно смотрел на автора, – кажется, мой бедный друг серьезно тронулся. Всех листов было шесть, и у каждого свое заглавие: «Старосветские помещики», «Ермолай и Валетка», «Максим Максимыч» и т. д. Дальше следовало что-то вроде счета из ресторана: с одной стороны шли рубрики, а с другой – цифры.

– Пепко, извини, это выше моего понимания…

– Ага!.. Я взял у каждого знаменитого автора по рассказу и произвел самый точный химический анализ, вернее – анатомическое вскрытие. Вот не угодно ли: вступление – двадцать три строки, вводная сцена – сорок семь строк, описание летнего утра – семнадцать строк, вывод главного действующего лица – тридцать две строки, завязка – пятнадцать строк, размышления автора – пятьдесят девять строк, сцена действия – сто строк, описание природы, лирическое отступление, две параллельные сцены – у меня все высчитано, голубчик. И посмотри, что из этого выходит… Лист шестой: сравнительный анализ – у Гоголя столько-то строк занимают описания природы, столько-то характеристики, столько-то сцены, столько-то лирические отступления; у Лермонтова – столько-то, у Тургенева – столько-то, у Льва Толстого – столько-то. Затем сравнительный порядок, в котором расположены эти отдельные части у каждого автора, – одним словом, решительно все. Еще ни одна бестия-критик не додумался до подобного точного метода исследования, а в этом весь секрет упадка нашей критики, что уже не составляет ни для кого тайны.

– Пепко, да ведь здесь недостает только масштаба… Ты авторов меряешь аршином.

– А ты слушай: я анатомировал твоего «Межеумка» и убедился, что ты ближе всего подходишь к Гоголю. Да… Ведь это целое открытие, и тебе только остается им воспользоваться. Прежде чем писать что-нибудь, сделай сценарий: тут описание природы столько-то строк, тут выход героини, там любовная сцена, – одним словом, все как на ладони. Знаешь, я хотел высчитать, сколько каждый автор употребил имен существительных, прилагательных, глаголов, наречий, затем, сколько у него главных предложений и придаточных, многоточий, знаков восклицаний и т. д. Не хватило терпения, да и сделать это может только какой-нибудь немец. Нашелся такой подлец Карл Иваныч, который высчитал, сколько раз у Цицерона встречается союз ut во всех его сочинениях.

Мне показалось, что Пепко серьезно рехнулся, и я в тот же день отправился к нему на дачу. Это был мой первый визит. Анна Петровна, как все молодые жены, ревновала мужа больше всего к его старым друзьям, служившим для нее олицетворением тех пороков, какими страдал муж; ведь сам он, конечно, хороший, милый, чудесный, если бы не проклятые друзья. История известная, и я до сих пор старался не отягощать Анну Петровну своим присутствием, да и роль олицетворенного порока мне не нравилась. К моему счастью, Анны Петровны не оказалось дома, а Пепко шагал по дачному садику в гимназическом ранце. Оказалось, что ранец был набит камнями, и он вперед приучал себя к трудностям предстоявшей боевой жизни.

– Я уж теперь могу сделать пять тысяч шагов без одышки, – объяснял он. – Впрочем, зависит от питания… Ведь я уже целый месяц питаюсь солдатским пайком. Труднее всего перелезать в роще через забор…

– Это еще что такое?

– А видишь ли, забор для меня заменяет горы… Сначала я мог перелезать всего сорок раз, а сейчас уже достиг до сотни. Вот, не хочешь ли попробовать?

– Нет, благодарю. Я ведь не собираюсь поступать в герои…

Пепко огляделся, подмигнул мне и шепотом сообщил:

– Я сделал чудное открытие, Вася… Ха-ха!.. Знаешь, я раньше очень страдал… ну, в семейной жизни это случается. Серьезно страдал… да. А теперь, брат, шалишь… Например, Анюта меня оскорбит… понимаешь? Мне обидно… Раньше я дня на два терял расположение духа, а теперь надену ранец – и в парк. При легких огорчениях достаточно сделать две тысячи шагов, при серьезных тысячи четыре – и все как рукой снимет. Дело в том, что нужно создать физический противовес внутренней душевной тяжести – и равновесие восстановляется. Не правда ли, как это удобно? Анюта, например, говорит: «ты – негодяй», – это стоит двести шагов; «ты испортил мне всю жизнь», – ну, это триста пятьдесят, даже все четыреста; «ты – пьяница и умрешь под забором», – это всего пятьдесят шагов, а когда она начинает плакать, – тут уж прямо тысяча. У меня есть таблицы, где я веду строгую отчетность и даже высчитываю те ошибки, которые у астрономов подводятся под личное уравнение. У меня, братику, все по счету, ибо цифра составляет душу мира, как говорили еще пифагорейцы.

Пепко опять был мил, как ребенок, и я чувствовал, что опять начинаю его любить. В нем была эта проклятая черта русского характера, за которую можно простить человеку все… Он меня заразил даже своим славянским патриотизмом, особенно когда вспыхнуло сербское восстание. Где-то далеко-далеко рубили лес, и щепки долетали до нас… На вокзале я встретил уже несколько братушек в расшитых куртках, в каких-то шапочках и шароварах. Откуда они взялись? В газетах шел набат, – Фрей был прав. Общество было охвачено движением. Все радовались чему-то. Чувствовался подъем и мысли и чувства. Теперь, почти через двадцать лет, трудно об этом судить, но движение было, и такое хорошее движение, заражавшее всех, от гимназиста до седовласого старца.

Мы раз отправились с Аграфеной Петровной в Шувалово на вечер, устроенный Пепкой и Андреем Иванычем уже в пользу сербов. Публики было много. На каждом шагу – возбужденные лица. У буфета кто-то кричал: живио!.. Хор любителей пел сербские песни, оркестр играл сербские мотивы. Вообще в самом воздухе стояло что-то захватывающее, возбуждающее и хорошее. Сейчас это движение осмеяно и подвергнуто беспощадной критике, а тогда было хорошо. Я даже начинал завидовать Пепке, который даже в мелочах проявлял такую кипучую деятельность. Одна Аграфена Петровна смотрела на оживленную публику грустными глазами и потихоньку вздыхала. Мне казалось, что она жалела, что не может накормить всех этих угнетенных герцеговинцев, сербов и болгар, – кормить кого-нибудь было ее слабостью. Она была слишком женщина…

– Живио! – кричал Пепко, подбегая к нам.

– Вот танцевать-то как будто нехорошо, Агафон Павлыч, – оговорила его Аграфена Петровна. – Там зверства, а вы танцуете…

Из Шувалова мы возвращались с Аграфеной Петровной вдвоем; дорога парком в летнюю теплую ночь была чудная. Я находился под впечатлением сербского вечера и еще раз завидовал Пепке. Мы шли пешком и даже немного заблудились.

– Присядемте… Я устала.

Садовая скамейка была к нашим услугам. Аграфена Петровна села и долго молчала, выводя на

песке зонтиком какие-то фигуры. Через зеленую листву, точно опыленную серебристым лунным светом, глядела на нас бездонная синева ночного неба. Я замечтался и очнулся только от тихих всхлипываний моей дамы, – она плакала с открытыми глазами, и крупные слезы падали прямо на песок.

– Аграфена Петровна, что с вами?

Заплаканные глаза смотрели на меня, а потом голова Аграфены Петровны очутилась на моем плече.

– Милый, милый, как я… я счастлива.

Когда женщина первая делает признание в любви, мужчина попадает в крайне неловкое положение. Я помню, что поцеловал ее в лоб, что потом это горячее заплаканное лицо прижалось к моему лицу, что… Прежние романисты ставили на этом пункте целую страницу точек, а я ограничусь тремя.

# XXXVI

Что может быть хуже обмана, особенно обмана в той интимной области, где все должно освещаться искренним чувством… И я шел по этой торной дороге лжи и обмана, усыпленный первой женской лаской, первыми признаниями и поцелуями. Давно ли я обличал Пепку, а теперь делал то же, нет – гораздо хуже. Не скрою, что мне временами делалось ужасно совестно, я начинал презирать себя, но ласковый женский шепот тушил эти последние проблески. Разве вся история – не обман? И герой и нищий одинаковы, особенно когда дело касается собственности, которая сама идет к своему вору с ласками и поцелуями. И все-таки я презирал себя, молча и сосредоточенно, как иногда презирал Аграфену Петровну, Андрея Иваныча, Пепку и весь род людской вообще, точно все были виноваты моей собственной виной. Мне было обидно, что так нелепо поместились мои первые восторги; ведь я даже не любил Аграфены Петровны, а отдавался простому физическому влечению. Где же идеалы, где та светлая и чистая, которая носилась в тумане юношеских грез? Меня охватывало чувство позора и стыда.

– Вы, кажется, предаетесь угрызениям совести? – заметила однажды Аграфена Петровна с улыбкой. – Успокойтесь, мой милый… Мы с Андреем Иванычем только играем в мужа и жену, по старой памяти.

– Тем хуже… Я-то при чем тут?

Меня удивляло ее спокойствие. Она решительно ничем не выдавала себя и оставалась такой же, какой была раньше. Я был уверен, что ее даже совесть не мучила. Она просто шла своей дорогой, полная сегодняшним днем, как это умеют делать женщины. Впрочем, должен сознаться, что трудно ее и винить: будь другой муж – и ничего бы не было. К самому себе я всегда был строг и называл вещи их собственными именами, хотя гораздо удобнее ненавидеть и прощать свои собственные пороки и недостатки, когда их находишь в других людях. До этого я еще не дошел. Да, я пил из отравленного источника и, как пьяница, хотел пить и пить без конца. К Андрею Иванычу у меня было смешанное чувство ненависти, презрения и ревности; ведь никто так не ревнует, как любовник. Меня, конечно, главным образом волновали картины прошлого счастья Андрея Иваныча. В душу закрадывалось то подлое чувство собственности, которое из мужчины делает самца.

Пепку я старался совсем не встречать и даже избегал его. Впрочем, ему было не до меня.

События разгорались. Уже весь Балканский полуостров был охвачен могучей мыслью о национальной независимости.

– Представьте себе, этот сумасшедший Пепко едет на войну, – заявила однажды Аграфена Петровна (она говорила «сумашедчий», как горничная). – Анюта прибегала ко мне…

– Неужели едет? – удивлялся я самым бессовестным образом.

– Да, да… В добровольцы поступает. И Анюта тоже сумашедчая… Как же, помилуйте, и она туда же за ним!.. И что она только нашла в нем… Удивляюсь, удивляюсь!..

Я расхохотался внутренно. Мечты Пепки хотя на время избавиться от жены рушились самым позорным образом. Жена ехала вместе с ним… Это уже входило в область комедии. То-то он в последнее время совсем глаз не показывает. Тоже есть кое-какая совесть. Ловко, Анна Петровна… Я про себя злорадствовал по адресу своего друга, точно желал выместить на нем свое собственное свинство. Я даже с нетерпением ждал случая, когда, наконец, увижу женатого добровольца. Как-то все геройство Пепки уничтожалось одним этим словом: жена. Получалась обидная нелепость идти на войну с женой. Одним словом, только Пепко мог очутиться в таком дурацком положении.

– Анюта едет фельдшерицей, – объяснила Аграфена Петровна. – Что же, оно, может, и хорошо, а притом и муж все-таки на глазах. Мало ли что на войне может случиться… Эти лупоглазые турчанки как раз изведут добра молодца.

Движимая родственным патриотизмом, Аграфена Петровна усиленно что-то шила, проявляя сестринскую любовь. Она даже раза два всплакнула над работой, так, по-бабьи всплакнула, потому что и глаза на мокром месте и война – страшное слово.

Наступил день отъезда. Пепко не завернул даже проститься, а написал коротенькую записку с просьбой приехать на Варшавский вокзал.

– Что же, надо проводить, – решила Аграфена Петровна. – Все-таки родственники…

Она ходила уже целых два дня с заплаканными глазами, и, как мне казалось, ей самой нравилось это родственное горе и то, что она может поплакать на определенную тему. Кстати, она заготовила целую корзину съестного, – голодные они там, так пусть покушают.

Варшавский вокзал имел необычно оживленный вид. Зала и платформа были битком набиты. Большинство составляла провожающая публика. Все лица имели возбужденно-торжественный вид. Толпу охватило то хорошее общественное чувство, которое из будней делает праздник. И барин, и мужик, и мещанин, и купец – все точно приподнялись. Да, совершалось что-то необычно хорошее, трогательное и братское. Это было написано у всех в глазах, в движениях, в тоне голоса. Это движение впоследствии было осмеяно, а сами добровольцы сделались притчей во языцех, но это просто несправедливо, вернее сказать – дурная русская привычка обращать все в позорище. Как сейчас вижу эту разношерстную и разномастную толпу добровольцев, состоявшую главным образом из отставных солдат. Как-то странно было видеть самые обыкновенные лица, которые сделались необыкновенными. Положим, что в массе эти кучки добровольцев были плодом газетного поджиганья, патриотических речей, таких же разговоров и главным образом того, что дома уж очень тошно жилось. Но были и другие сюжеты. Я невольно полюбовался двумя братьями-добровольцами – старший с офицерской выправкой, а младший просто хороший юнец. Оба такие славные и серьезные. Их никто не провожал, и они держались в сторонке от общей волны. Трогательно было смотреть, как старший брат ухаживал за красавцем младшим. Эти знали, куда идут и зачем идут.

Я боялся за Пепку, именно боялся за его настроение, которое могло испортить общий тон. Но он оказался на высоте задачи. Ничего театрального и деланого. Я его еще никогда не видал таким простым. Немного резала глаза только зеленая веточка, пришпиленная, как у всех добровольцев, к шапке. Около Пепки уже юлил какой-то доброволец из отставных солдат, заглядывавший ему в лицо и повторявший без всякого повода:

– Ах, ваше благородие, мне бы хучь одного турку прикончить… Неужто Господь-Батюшка не приведет?.. Уж я бы… ах ты, братец ты мой…

Пепко уже успел заручиться ординарцем, и солдат таскал его вещи, суетился и повеличивал «вашим благородием». У Пепки вообще было что-то привлекающее к себе. Когда Пепко сконфузился немного при виде корзины с съестным, которую Аграфена Петровна привезла на вокзал, выручил солдат.

– Позвольте, сударыня… У нас все уйдеть… Как же можно, ваше высокоблагородие. Можно сказать: дар божий. Уйдеть… Тут еще, ваше высокоблагородие, одна женщина, желающая нащет провианту.

– Какая женщина?

Притиснутая толпой, стояла наша Федосья. Она протягивала молча какой-то узелок.

– Проводить пришла, Агафон Павлыч, – виновато повторяла она, точно оправдывалась за свою смелость. – Бывало, ссорились… так уж вы того…

Растроганный этой лептой вдовицы, Пепко заключил в свои объятия Федосью и по-русски расцеловал ее из щеки в щеку. Эта ничтожная сцена произвела на всех впечатление: Аграфена Петровна отвернулась и начала сморкаться, Анна Петровна плотно сжала губы и моргала, стараясь подавить просившиеся слезы, у меня тоже сдавило горло, точно прихлынула какая-то теплая волна. Потом толпа нас разъединила, и я почувствовал, как Федосья тянет меня куда-то за рукав. Я пошел за ней. В самом дальнем уголке вокзала сидела Любочка, одетая в черное. Она казалась девочкой. Худенькое бледное личико совсем вытянулось и глядело такими трогательно-напуганными глазами.

– В сестры в милосердные записалась… – объяснила Федосья.

– Здравствуйте, Любочка… И вы на войну?

– Не знаю… Куда повезут, Василий Иваныч. Не поминайте лихом…

Пепкин солдат очутился опять около нас и куда-то потащил Любочкин багаж.

– Ты это куда поволок? – уцепилась за него Федосья.

– А как же? – удивился и обиделся солдат. – Вместях все едем… Одна компания. Значит, у их благородия супруга на манер милосердной сестры, и вот они в том же роде… Уж я потрафлю, не беспокойтесь, только бы привел Господь сокрушить хучь в одном роде это самое турецкое челмо… а-ах, Боже мой!..

Солдат являлся в роли той роковой судьбы, от которой не уйдешь. Любочка только опустила глаза. Я уверен, что она сейчас не думала о Пепке. Ей просто нужно было куда-нибудь поместить свое изболевшее чувство, – она тоже искала своего бабьего подвига и была так хороша своей кроткой простотой.

– И что только будет… – шептала Федосья, покачивая головой. – Откуда взялся этот проклятущий солдатишко… Люба, а ты не сумлевайся, потому как теперь не об этом следовает думать. Записалась в сестры – ну, значит, конец.

Хлопотавшие с отправкой добровольцев члены Славянского общества усаживали свою беспокойную публику в вагоны. Из залы публика хлынула на платформу. Безучастными оставались одни буфетные человеки и фрачные лакеи, – их трудно было прошибить. Пепко разыскал меня, отвел в сторону и торопливо заговорил:

– Мне давно хотелось сказать тебе, Вася… да, сказать… ах, нехорошо, Вася!.. Мне больно тебе это говорить…

– Да ты о чем?

– А ты не знаешь, о чем? Перестань… ах, нехорошо!.. Может быть, не увидимся, Вася… все равно… Одним словом, мне жаль тебя. Нельзя так… Где твои идеалы? Ты только представь себе, что это кто-нибудь другой сделал… Лучше бы уж тебе ехать вместе с нами добровольцем. Вообще скверное предисловие к той настоящей жизни, о которой мы когда-то вместе мечтали.

Я чувствовал, как вся кровь хлынула мне в голову и как все у меня завертелось пред глазами, точно кто меня ударил. Было даже это ощущение физической боли.

– Мне странно слышать это именно от тебя, Пепко… – бормотал я и неожиданно прибавил: – А ты видел Любочку?

– Да, она едет вместе с нами… Я говорил с ней. Только ты ошибаешься: это совсем другое. Тут была хоть тень чувства и увлечения, а не одно холодное свинство…

– Послушай, ты говоришь о том, чего не знаешь, и позволяешь себе слишком много… да.

Мне вдруг захотелось сказать Пепке что-нибудь такое обидное и несправедливое, но раздался уже второй звонок, и мы расстались совершенно холодно.

Помню, как я стоял в толпе чужим человеком. Обидные слезы душили меня, и в то же время мне хотелось во всем обвинить Пепку. Вот рассаженные по вагонам добровольцы запели «Спаси, Господи, люди Твоя», и толпа, как один человек, обнажила головы. Все были охвачены одним жутким чувством. Рядом со мной стоял купец, толстый и бородастый, и плакал какими-то детскими слезами… У меня тоже катились слезы. А знакомый с детства церковный мотив разрастался и широкой волной покрыл всю платформу, – пел стоявший рядом купец, пел официант с салфеткой подмышкой, пела Федосья… Подступала одна общая волна, которая была сильнее того пара, который должен был сейчас унести горсть добровольцев.

Трогательный момент был нарушен только Пепкиным солдатом. Он как-то кубарем выскочил без шапки из вагона и кинулся к члену Славянского общества.

– Вашескородие, шапку украли… Что же это такое?.. Можно сказать, душу полагать готов, а они, подлецы, например, шапку… Каким же манером, я, например, в Сербию? Все в шапках, а я один оглашенный…

Солдата едва успокоили и как-то засунули обратно в вагон. Поезд тронулся, а за ним поплыл и торжественный церковный мотив…

# XXXVII

Осенью, когда я с дачи вернулся в гостеприимные недра «Федосьиных покровов», на мое имя было получено толстое письмо с заграничным штемпелем. Это было первое заграничное письмо для меня, и я сейчас же узнал руку Пепки. Мое сердце невольно забилось, когда я разрывал конверт. Как хотите, а в молодые годы узы дружбы составляют все. Мелким почерком Пепки было написано целых пять листов.

«Белград, военный госпиталь (потихоньку от жены, которая следит за мной, как рыба за червяком, извивающимся на крючке), койка No 37. Милый, дорогой друг… Извини, что я так давно не писал тебе, то есть не писал совсем. Главной причиной этому было то, что, уезжая в Сербию, я ненавидел тебя самым благородным манером, как сорок тысяч благородных братьев, возведенные в квадрат. Да… Потом – это уж роковая черта всякой истинной дружбы – я совсем позабыл о твоем существовании. Итак, я не писал тебе и сейчас пишу только потому, что лежу в госпитале уже второй месяц и скучаю, как, вероятно, будут скучать только будущие читатели твоих будущих произведений. Потом – я ненавижу проклятых братушек и всю эту опереточную войну… Еще потом – моя любезная супруга не отходит от меня, и я ненавижу ее больше того, если бы сложить Сербию и Болгарию вместе и помножить эти прелестные страны на Герцеговину, Боснию и Черногорию. Одним словам, ты уже предчувствуешь излитие священной эссенции дружбы и с мужеством еще нераненого добровольца пускаешься в чащу дружеских признаний и конфесьенов. Милый друг, представь себе самую смешную картину: раненый Пепко лежит в военном госпитале в Белграде… Он сейчас походит на одну из тех восковых фигур, какие показываются на ярмарочных балаганах, это – смешной, выцветший и захватанный руками дрянной манекен, к которому нельзя дотронуться, чтобы не нарушить семейного счастья какой-нибудь добродетельной моли. Я иногда думаю, что для полноты картины недостает только твоей раненой персоны… Вдвоем оно все-таки веселее – поругались бы хоть для развлечения. Постой, главное-то, почему я пишу тебе, я и забыл сказать – пишу сие, братику… да, пишу… Помнишь романс:

Не говори, что молодость сгубила,
Ты ревностью истерзана моей…
Не говори: близка моя могила,
А ты цветка весеннего свежей.[40]

Помнишь, еще провизор пел тогда у Наденьки? Нейдет он у меня из башки вторую неделю – лежу и повторяю его про себя. Повторял, повторял, да и додумался: ведь это про меня сказано, да и про тебя тоже. Ты раскинь умом, вникни, и восчувствуешь некоторую подлую тоску… Я свое настроение скрыл даже от своей любезной супруги, которая любит ковыряться у меня в душе и, как кошка, выцарапывает самые тайные мысли. У женщин, братику, на это есть какой-то чертовский нюх… Прямо носом чуют, где жареным пахнет. Как-то у нас в лагерях появилась одна сербочка-маркитантка… Мордашка у нее, я тебе скажу, как у котенка, и в глазенках этакая приглашающая пожарная тревога, – одним словом, фрукт. Ты знаешь мое несчастие: женщины не могут меня видеть равнодушно. Ну, и тут альте гешихте: сколько было офицеров, а она в меня влюбилась – сразу врезалась. Время военное, сегодня жив, а завтра неизвестно, – ну, я, признаюсь, немного того… Приходит она ко мне этак в палатку, рубашечка на ней в сборочках, расшитая курточка, а я ее этак за рукав и начинаю курточку расстегивать… Жмется, хихикает, а тельце у нее такое смугленькое, на верхней губе усики… Расстегиваю я эти национальные пуговки, как вдруг кто-то меня сзади бац: в самое ухо. Супружница… Табло. Побежала сейчас же к Черняеву развод просить, – ну, а он, натурально, говорит, что это не его дело и что в наказание пошлет меня в секрет на линию. Одним словом, спас меня генерал… И как же был я рад, когда так дешево отделался. Как видишь, политические события иногда

зависят черт знает от чего, от каких-то серебряных пуговок… Кстати, увы! – сербочки моей уж нет – фюить! сбежала с каким-то казачьим офицером в Расею. До сих пор жаль… фруктик был правильный и все в порядке. А я разве виноват, что она сама первая мне на шею бросается, да еще в поенное время?.. Тсс… Грядет сама, и я прячу свои грешные конфесьены, как улитка рога…»

Письмо было скомкано. Пепко, вероятно, прятал его куда-нибудь под подушку, когда показалась сама, то есть Анна Петровна. Следующий лист был написан уже другими чернилами – тоже результат семейной инквизиции. Мне очень понравился беспорядочный тон этого удивительного послания, – Пепко не думал, а гонялся за мыслями, как выпущенная в первый раз в поле молодая собака. Милый Пепко, как я его опять любил, и он опять был весь на этих смятых исписанных листах. Он вежливо предоставлял мне право восстановлять связь между отдельными частями его письма и отыскивать смысл. Следующий лист начинался так:

«Извини за невольный перерыв: семейное счастье всегда идет скачками… Возвращаюсь к прерванному повествованию. Позволь сначала отрекомендоваться: я – герой, я делал всеобщую историю, пролитая мною кровь послужит Иловайскому материалом для самоновейшей истории, я – ординарец при генерале Черняеве, я, то есть моя персона, покрыта ранами (жаль, что милые турки ранили меня довольно невежливо, ибо я не могу даже показать публике своих почетных шрамов и рубцов), наконец, я в скором времени кавалер сербского ордена Такова… И вдруг герой, то есть я, влопался в гросс шкандал с сербочкой, и моя супруга сжила бы меня со свету, если бы не любезность милых турок. Между нами, братику: все эти братушки решительно дрянь, а в турок я влюблен. Чудный народ… И, знаешь, я решил, что остаюсь в Турции. Да, остаюсь, и со временем натурализируюсь, как делают немцы. Чудный народ, одним словом, и я влюблен в каждого турка. Сколько в них природного благородства, храбрости, вежливости – просто даже обидно за свое холуйство. Представь себе, что у них нет самых величайших наших зол, как пьянство и проституция… Затем у них нет старых дев. Я презираю нашу фальшивую цивилизацию и сделаюсь турком. Феска очень идет к моей фотографии… Раз на рекогносцировке я попал в турецкую деревушку, захожу в один дом, чтобы напиться, – вижу, сидит на полу на ковре старый-старый турок с седой длинной бородой и читает коран. Вся деревня бежала, а старик остался. Никогда не забуду, как он посмотрел на меня… Мне вдруг сделалось стыдно. Я прочитал в его глазах глубокое и справедливое презрение к моей персоне, к моему военному мундиру, к выражению лица, к торопливым движениям. Старик не боялся смерти, и я походил на собаку, которая неожиданно наскочила на волка и поджала хвост. Кстати, этого старика потом нашли убитым, и кто бы, ты думал, убил его? Помнишь солдата-добровольца, который при нашем отъезде из Петербурга устроил скандал с шапкой? Он его и убил… Впоследствии сам мне сознался. Впрочем, я забегаю вперед. Начинаю с начала. Как я уже писал выше, после скандала с сербочкой Черняев отправил меня на линию. Я давно вызывался в охотничью команду, ну, и получил. С позиции нас отправили в секрет человек пять. Хорошо. Со мной был и тот солдат, который скандалил из-за шапки. Засели мы в кукурузе на две ночи. Трудно это здоровому человеку вылежать двое суток без признаков жизни, а тут еще и курить нельзя. Начался холодище, зуб на зуб не попадает. Сидели-сидели, тощища… Я даже рассердился: какая это война? Так, черт знает что такое… Только тут я понял, как-то всем телом понял, какая колоссальная бессмыслица эта война. Только и развлечения, что смотришь, как снаряды над головой летают. Тррах-тррах!.. Кто-то кого-то желает уничтожить, одним словом. И представь себе, какая бессмыслица: ведь я их люблю, этих милых турок, а они в меня палят… Сначала я трусил, а потом надоело бояться – очень уж скучно было сидеть в этой проклятой кукурузе. И потом этакие жалобные мысли в башку лезут… А вдруг убьют? Даже этак вперед жалеешь самого себя: а там родина, родной угол, одна добрая мать – всего надумаешься. Вообще не советую тебе, братику, поступать в герои, потому что это, во-первых, во-вторых и в-третьих, скучно… Посадят в кукурузу – и сиди

дураком. А между тем нужно, кому-нибудь сидеть нужно, чтобы кто-то кого-то убивал… И какое это геройство: прячешься, как заяц в капусте. Меня утешал только мой солдат, который трусил еще больше меня… Вот он тут мне и признался про турка, которого убил. Было это ночью. Сидим и дремлем. Солдат как схватит меня за руку: „Ваше благородие, ён…“ – „Кто он?“ – спрашиваю, а у самого мороз по коже. – „Да тот, седой турок, которого я тогда изничтожил… Вот сейчас провалиться: в кукурузе прошел и этак меня перстом поманил. Ох, не к добру это, ваше благородие!“ Я его обругал, а потом оказалось, что солдат был прав. Утром турецкие аванпосты выдвинулись, началась перестрелка; братушки, конечно, бежали, как зайцы, а мы были обойдены левым флангом. Даже бежать было некуда… Нас выручила разорвавшаяся над нашими головами шрапнель: мой солдат был убит наповал, а я очнулся только в госпитале. Видишь, как скучно делается всемирная история: не будь серебряных пуговок у сербочки, не сидел бы я два дня героем в кукурузе и не был бы ранен шальной шрапнелью. А затем не лежал бы я в лазарете и не пришел бы к печальному выводу, что – увы! – молодость прошла… Меня это открытие сильно озадачило, и я…»

Дальше следовал перерыв, а продолжение написано на новой бумаге и новыми чернилами.

«Братику, мне кажется, что я никогда не кончу своего письма – в самый интересный момент ворвалась моя дражайшая… Ох, как я ненавижу всех женщин, начиная с праматери Евы, благодаря маленькой любезности которой появился весь род людской. Да, я ненавижу, потому что женщины всегда мешали мне в самый интересный момент. Милый братику, думал ли ты о старости? О, она теперь сидит у моего изголовья и любуется новой жертвой… Братику, миленький, мне страшно, когда я думаю о старости. Где рой тех чудных красавиц, которые должны были целовать меня? где те виллы, в которых я должен был жить? где те подвиги, которые передали бы мое имя благодарному потомству? Червь, ничтожество, эссенция праха… Я и раньше частенько задумывался над этим, говорил на эту тему, но впереди все-таки оставалось что-то вроде слабой надежды, а сейчас я чувствую всей своей грешной плотью, что ничего не будет и что остается только скромно тянуть до благополучного отбытия в небытие… Боже мой, где же вы, молодые грезы? где мечты о счастье? где ты, молодая дерзость?.. Я лежу на своей койке No 37 и жалею себя… Да, жалею себя и тебя тоже жалею. Кто-то другой взял все лучшее в жизни, этого другого любили те красавицы, о которых мы мечтали в бессонные ночи, другой пил полной чашей от радости жизни, наслаждался чудесами святого искусства, – я ненавижу этого другого, потому что всю молодость просидел в кукурузе… У меня сейчас слезы на глазах, милый, и мне стыдно их, стыдно, и хочется, чтобы ты пожалел меня. Я часто думал о тебе, даже там, когда сидел в кукурузе, составил новую теорию словесности. Жаль, что не было с собой карандаша и бумаги, а то я осчастливил бы человечество. Да… И вот к такому человеку подкралась злодейка старость, и я чувствую ее холодное дыхание. Отдайте мне мои двадцать лет, отдайте мою молодость, мои мечты, мое веселье… Я ведь еще даже не начинал жить и страстно хочу жить – жить не своей одной жизнью, а тысячью других жизней, любить, плакать и смеяться. Знаешь, кто мне это говорил? Любочка… Кстати… да… гм… Она потихоньку приходит ко мне в госпиталь, присядет на кровать и смотрит – не глазами смотрит, а вся смотрит. Лицо у нее бледное, строгое, глубокое… И как она умеет любить! Недавно сидела-сидела, легонько вздохнула и говорит: „А вы пожалеете, Агафон Павлыч, что тогда оттолкнули меня… Дело прошлое, я уж теперь перемучилась, а все-таки пожалеете“. И сказала правду, братику… Ты испытал чувство ненависти? Я ненавижу свою жену… Ненавижу ее голос, походку, самоуверенную улыбку, порядочность – все, все, все. Хуже: я ее боюсь!.. Это последняя степень мужского падения. О, отдайте мне мои двадцать лет… Чувствую, что никогда не кончу, а поэтому лобзаю тебя, мой товарищ по несчастию, – и твоя юность тоже сделалась достоянием всепожирающего времени. Твой друг и кавалер ордена Такова – Пепко».

В постскриптуме стояла лаконическая фраза:

«Приезжай в Белград, и перейдем в турки, – это единственный исход из нашей бесшабашной жизни».

# XXXVIII

Письмо Пепки для меня было ударом. Да, он был прав, милый Пепко… Не молодость прошла, а юность, и особенно скверно прошла она для меня. Пепко по крайней мере утешался тем, что не было еще женщины, которая отнеслась бы к нему равнодушно, мог, наконец, ненавидеть женщин, причинявших ему столько неприятностей, а я даже не мог сказать и этого. Моя жизнь складывалась уже совсем кисло. Даже своим романом с Аграфеной Петровной я не мог похвастаться, потому что она во мне любила не меня даже, а собственное неудовлетворенное чувство. Я это отлично понимал. Сама по себе она была очень хорошая женщина, с здоровыми инстинктами и честная – не головной честностью, а по натуре. В ней была только одна порабощающая черта – это та женская покорность, которая делает из мужчины раба. Ей никогда и ничего не было нужно, она ничего не требовала и была счастлива сознанием, что ее тоже любят – так, немножко, а все-таки любят. Меня эта покорность часто возмущала. Потом, у нас не было будущего, и мы о нем никогда не говорили, как не говорят в присутствии труднобольного о смерти. А самое ужасное – над нами висел длящийся обман. Вообще положение было самое скверное, особенно принимая во внимание, что в него отлилась моя юность. Письмо Пепки только иллюстрировало эту скверность. Я его разорвал в клочья, как собственный обвинительный акт, и пролежал на своей кушетке в молчаливом отчаянии целый день.

– Молодость прошла – отлично… – злобно повторял я про себя. – Значит, она никому не нужна; значит, выпал скверный номер; значит, вообще наплевать. Пусть другие живут, наслаждаются, радуются… Черт с ними, с этими другими. Все равно и жирный король и тощий нищий в конце концов сделаются достоянием господ червей, как сказал Шекспир, а в том числе и другие.

Мрачные мысли Пепки ответили на то настроение, которое я скрывал от самого себя. Мне было и обидно и больно, и в то же время я не мог не согласиться с Пепкой. Да, мой друг был прав, тысячу раз прав, хотя от этой правды ни ему, ни мне и не было легче. Приходилось ставить крест на грустный опыт первых двадцати пяти лет, вернее – на последние семь-восемь годов. Вместо жизни получался неясный призрак, что-то вроде тех китайских теней, какие показывают детям. Где же настоящая жизнь? когда она наступит? Боже мой, ведь ни один день не вернется… Как отлично понимал я обуревавшую Пепку жажду жизни – я страдал еще сильнее.

Итак, я лежал у себя на кушетке и предавался самому отчаянному самоедству. Не хотелось ничего делать, читать, работать, двигаться, просто смотреть. На улице трещали экипажи, с Невы доносились свистки пароходов: это другой торопился по своим счастливым делам, другой ехал куда-то мимо, одни «Федосьины покровы» незыблемо оставались на месте, а я сидел в них и точил самого себя, как могильный червь. Меня не интересовало больше, кто живет за перегородкой рядом, где жил «черкес», кто другие жильцы, – не все ли равно? Федосья держалась со мной как-то странно. Она, конечно, пронюхала про мои отношения к Аграфене Петровне и делала благочестивое лицо, когда та изредка приходила навестить меня.

– Ну, уж… – говорила Федосья, оставляя весь свет в неизвестности, что она хотела сказать этими словами.

Аграфена Петровна из женской деликатности всегда являлась под каким-нибудь предлогом, одним из которых были письма от сестры Анюты из Сербии.

– А ведь он совсем порядочный, ваш Пепко, – удивлялась Аграфена Петровна, перечитывая мне вслух письма сестры. – Кто бы мог ожидать… Анюта совершенно счастлива. Глупая она, хоть и образованная. Нашла в кого влюбиться… Удивляюсь я этим образованным девицам, как они ничего не понимают.

К другим Аграфена Петровна относилась, как все женщины, очень строго, забывая свой собственный грустный опыт. Меня больше всего интересовала политика Анны Петровны, не желавшей даже сестре выдать свои семейные тайны. Я, конечно, молчал, оставляя Аграфену Петровну в счастливой уверенности, что все обстоит благополучно. Вероятно, и Аграфена Петровна писала про себя сестре то же самое. В сущности говоря, сестры обманывали друг друга самым трогательным образам. Я был невольным свидетелем этого обмана и думал, что ведь самое счастье не есть ли обман? И как немного нужно этого обмана, чтобы человек почувствовал себя счастливым…

Для меня лично эти «счастливые» письма Анны Петровны имели специально дурные последствия. Дело в том, что после каждого такого письма Аграфена Петровна испытывала известный упадок духа, потихоньку вздыхала и поднимала разные грустные темы.

– Удивительно это, Василий Иваныч, отчего одним счастье, а другим так, сумерки какие-то, – говорила она задумчиво. – Ну, подумайте, за что?

– Право, не знаю, – отвечал я совершенно серьезно.

– И что обидно: это ни от кого не зависит… Будь ты хоть разумница, будь раскрасавица, принцесса, королевская дочь – все равно…

– Ведь и мужчины то же самое.

– Нет, мужчины совсем наоборот… Взять вот хоть вас. Вот сейчас сидим мы с вами, разговариваем, а где-нибудь растет девушка, которую вы полюбите, и женитесь, заведете деток… Я это к слову говорю, а не из ревности. Я даже рада буду вашему счастью… Дай Бог всего хорошего и вам и вашей девушке. А под окошечком у вас все-таки пройду…

– Аграфена Петровна, как это вам хочется говорить глупости…

– Нет, в самом деле пройду… У вас будет огонек гореть, а я по тротуару и пройду. Вам-то хорошо, а я… Что же, у всякого своя судьба, и я буду рада, что вы счастливы. Может быть, когда-нибудь и меня вспомните в такой вечерок. Жена-то, конечно, ничего на знает – молодые ничего не понимают, а у вас свои мысли в голове.

У Аграфены Петровны появлялись даже слезы на глазах от этих чувствительных размышлений, и она вперед ревновала меня к своей неизвестной счастливой сопернице.

– Ежели разобрать, так что я для вас, Василий Иваныч? Так, игрушка… Мало ли нашего брата, дур-баб. А оно все-таки как-то обидно… И ваше дело молодое, жить захотите… да. Оно уж все так на свете делается… Скучно вам со мной, ведь я вижу.

Меня убивали не эти разговоры, а то, как Аграфена Петровна смотрела на меня, – так смотрят только на дорогих покойников. Удивительно, сколько может передать такой взгляд… И слов никаких не нужно, да и слов-то таких нет. От таких чувствительных разговоров у меня делалось ужасно скверно на душе, до того скверно, что и не расскажешь. Да, скверно… И вместе с тем являлась вперед какая-то жалость вот к этой самой Аграфене Петровне. Ведь в самом деле она пойдет под окошечком, а я буду сидеть и думать о ней. Ко всем этим приятным вещам нужно

прибавить еще мужа Аграфены Петровны, который в течение лета совсем сжился со мной и во время приступов откровенности блудного мужа поверял мне свои тайны. Сначала я его презирал, потом ревновал и, наконец, начал смотреть на него, как на своего alter ego. В нем жила эта неуловимая жажда разнообразия, удовлетворявшаяся маленьким настоящим. Я заметил, что он прежде всего идеализировал тех женщин, за которыми ухаживал, – ведь и герцогини так же устроены.

– Вы рассмотрите-ка под микроскопом каждую женщину и найдите разницу, – предлагал он. – Эту разницу мы любим только в себе, в своих ощущениях, и счастливы, если данный номер вызывает в нас эти эмоции. В нас – все, а женщины – случайность, вернее – маленькая подробность… Почему нам нравится, когда в наших руках сладко трепещет молодое женское тело, а глаза смотрят испуганно и доверчиво? Мы хотим пережить сами этот сладкий испуг пробудившейся страсти, эти первые восторги, эту доверчивость к неизведанной силе…

Мне приходилось еще в первый раз встречать развратника pur sang,[41] и меня радовало, что я сам не такой и не буду таким. Ах, я мог делать ошибки, глупости, но никогда не дойду до того, чтобы наслаждаться «трепетом молодого женского тела», – одна терминология чего стоит! Я еще мог любить в женщине человека, а не одну самку. Откровенные беседы с этим откровенным мужем поднимали меня в собственном мнении. Это было какое-то отребье человечества… Ничто живое уже не могло поднять душу. О нет, я не такой! С другой стороны, являлась мысль, что ведь и он, этот замотавшийся петербургский чиновник, родился тоже не таким, а дошел до своего настоящего длинным путем и что я, повидимому, иду именно по этому пути. Вот тут и выплывал вопрос об alter ego.

Раз мы сидели в трактире, и он задумчиво спросил:

– Вам сколько лет?

– Двадцать пять…

– О, еще успеете все пройти.

Он так гадко засмеялся, точно радовался, что отыскал во мне родственные черты. Неужели я буду когда-нибудь таким? Уж лучше тогда умереть…

В общем я проходил тяжелый житейский опыт и не пожелал бы его никому другому. Письмо Пепки только рельефнее объяснило мне ту степень, до какой я дошел. Мое отчаяние было вполне понятно.

Теперь я выходил из дому только по вечерам и любил долго бродить по улицам. Обыкновенно я уходил с своей ненавистной Петербургской стороны в город. Сколько здесь было богатых домов, какие великолепные экипажи неслись мимо, и я наслаждался собственным ничтожеством, останавливаясь перед окнами богатых магазинов, у ярко освещенных подъездов, в местах, где скоплялась глазеющая праздная публика. Времени у меня было достаточно, и я бродил до мертвой усталости, а потом отправлялся в трактир Агапыча, где заседали остававшиеся члены распадавшейся «академии». Здесь все было по-старому. Я возненавидел трактир, трактирных завсегдатаев и все, что носило на себе проклятую печать трактира.

– Где это вы пропадаете? – спросил меня раз Фрей, остававшийся на своем посту.

– А так… Сам не умею хорошенько сказать. Скучно…

Фрей издал неопределенный звук, засосал свою трубочку и не стал больше расспрашивать. У него было достаточно своей собственной работы. Хроника падала. Публика рвала нарасхват только известия с театра войны, относясь ко всему остальному совершенно равнодушно. Да и что могла интересного дать наша русская жизнь? Заседания ученых обществ, пожары, убийства и только на закуску какой-нибудь крупный скандал, вроде расхищения банковской кассы. Да и самые скандалы скоро приелись, потому что устраивались по общему шаблону. Одним словом, мат… Фрей предчувствовал, что дело пойдет дальше и не ограничится одной сербской войной.

Меня лично теперь ничто не интересовало. Война так война… Что же из этого? В сущности это была громадная комедия, в которой стороны совершенно не понимали друг друга. Наживался один юркий газетчик – неужели для этого стоило воевать? Мной вообще овладел пессимизм, и пессимизм нехороший, потому что он развивался на подкладке личных неудач. Я думал только о себе и этой меркой мерял все остальное.

Не знаю почему, но это бродяжничество по улицам меня успокаивало, и я возвращался домой с аппетитом жизни, – есть желание жить, как есть желание питаться. Меня начинало пугать развивавшаяся старческая апатия – это уже была смерть заживо. Глядя на других, я начинал точно приходить в себя. Являлось то, что называется самочувствием. Выздоравливающие хорошо знают этот переход от апатии к самочувствию и аппетиту жизни.

Репортерская работа шла своим чередом и почти совсем меня не интересовала, как всякое ремесло. Я уже пережил острый период первых опытов, когда волновала каждая печатная строчка. Точно так же я относился к сотрудничеству у Ивана Иваныча: написал рассказ, получил деньги, – и конец. Наше недоразумение, вызванное романом, давно было забыто. Одним словом, я шаг за шагом превращался в настоящую газетную крысу и под руководством такого фанатика, как Фрей, вероятно, сделался бы хроникером. Я уже входил во вкус беспорядочной газетной работы и, главное, начинал чувствовать себя дома, – это большое чувство в каждой профессии.

## XXXIX

Мое стремление к большой литературе на время как-то совсем заглохло. Я старался даже не думать об этом больном месте. Целый ворох рукописей лежал одной связкой в уголке, и я не решался к ним прикоснуться, как больной боится разбередить свою рану. Получалось что-то вроде литературной летаргии. К прежнему репертуару заражавших меня чувств прибавилась озлобленность неудачника. И тут были другие, не только составлявшие себе к двадцати пяти годам имя, но уже умиравшие, свершив в литературе все земное. Я, конечно, знал наперечет всех настоящих русских беллетристов и особенно следил за начинающей фракцией. Относительно последних я проявлял положительное зверство, третируя их, как мальчишек и выскочек. Если бы представить схему моих мыслей и разговоров на эту тему, получалось бы следующее.

Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой… Лев Толстой, Достоевский, Гончаров, Тургенев, Гоголь, Лермонтов, Пушкин.

Этим синодиком все исчерпывалось, а остальное шло на затычку… Для окончательного растерзания нового автора я имел два самых страшных слова: Белинский и Добролюбов. Тут уж конец всему начинающему, и я злобно торжествовал. Ну-тка, вы, нынешние, попробуйте перелезть через этот забор? Лучше и не пробуйте, господа, потому что Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тургенев, Гончаров, Достоевский, Лев Толстой все сказали, не оставив вам даже объедков. Я злился и торжествовал, изливая накипевший яд систематического неудачника на

своих воображаемых конкурентов. Впрочем, себя я выделял на особую полочку и верил, что, сложись обстоятельства чуть-чуть иначе, из меня выработался бы настоящий автор. Да-с, настоящий… Я вошел во вкус этого всеуничтожающего настроения и даже начинал подумывать, не кроется ли во мне таланта литературного критика, просто злобного, а может быть, даже и мертвозлобного. Уж я бы задал всей этой мелюзге, да и из признанных корифеев повыдергал бы красное перо. Конечно, это нужно сделать складно, а не так, как делал увлекавшийся Писарев. Черт с ней, с беллетристикой, лучше самому взять палку, чем подставлять спину. Да и прием готов вперед: все эти начинающие мерзавцы…

Итак, я лежал и злобствовал. Занятия в университете были брошены, да и раньше я относился к ним спустя рукава. Сейчас я посвящал себя служению родной литературе в окончательной форме. Если не выйдет беллетрист, то наверно уж получится критик, в достаточной мере злобный. В видах подготовления к этому ответственному посту я серьезно занялся пробелами своего образования, причем открыл целые пропасти самого возмутительного неведения. В сущности, говоря между нами, я не знал основательно ничего, а только бросался на все, хватал вершки, усваивал с грехом пополам терминологию, кое-какие теоремы и летел дальше. Это были жалкие лохмотья знания, а критику сие не полагается. Я записался в две библиотеки, натащил самых мудреных книг и углубился в бездну знания. Это было что-то вроде запоя. Книги читались систематически, со множеством выписок, чтобы впоследствии блеснуть эрудицией! Французы это называют брать быка за рога…

Раз утром я был особенно злобно настроен. Начинались уже заморозки. Единственное окно моей комнаты отпотело. Чувствовалась болотная сырость, заползавшая сквозь ветхие, прогнившие насквозь стены. Комната имела при таком освещении очень некрасивый вид, и невольно являлась мысль, что ведь есть же в Петербурге хорошие, светлые, сухие и теплые комнаты. Да, есть, как есть несколько миллионов светлых больших окон, за которыми сидят эти другие… Я серьезно раздумался на эту благодарную тему и даже чувствовал какое-то приятное ожесточение: и живите в светлых, высоких, теплых и сухих комнатах, смотрите в большие светлые окна, а я буду отсиживаться в своей конуре, как цепная собака, которая когда-нибудь да сорвется с своей цепи.

– Попов, вас спрашивает какой-то жандарм… – прервала мои размышления Федосья, ворвавшаяся в комнату с побелевшим лицом.

– Какой жандарм?

– Какие бывают жандармы: синий…

Я отворил дверь и пригласил «синего» жандарма войти, – это был Пепко в синем сербском мундире. Со страху Федосья видела только один синий цвет, а не разобрала, что Пепко был не в мундире русского покроя, а в сербской куцой курточке. Можно себе представить ее удивление, когда жандарм бросился ко мне на шею и принялся горячо целовать, а потом проделал то же самое с ней.

– Ох, Агафон Павлыч, вот напугал-то… А я как взглянула, так и обомлела: весь синий… жандарм…

– О женщина, ты видишь перед собой героя, – заявлял немного сконфуженный этой маленькой комедией Пепко. – Жалею, что не могу тебе представить в виде доказательства свои раны… Да, настоящий герой, хотя и синий.

Федосья прислонилась к косяку и заплакала. Она еще раньше оплакивала много раз геройство

Пепки, особенно когда Аграфена Петровна читала ей письма сестры, а теперь Пепко стоял перед ней цел и невредим. Меня, признаться, эта вступительная сцена рассмешила до слез. Злейший враг не мог бы придумать Пепке более скверного эффекта, какой устроила Федосья в простоте сердца. Ведь он целую дорогу лелеял мысль о том, как явится в «Федосьины покровы» в своем добровольческом мундире. И вдруг все попорчено испугавшейся глупой бабой… Он в смущении отстегнул свою боевую саблю и повесил на гвоздь, на котором раньше висела гитара.

– Моя старшая дочь будет с гордостью указывать на нее своим детям, – объяснил он совершенно серьезно.

– Le sabre de mon pere?[42] – съязвил я. – Кстати, разве у тебя в виду имеется приращение семейства?

– Ну, до этого мы еще не дошли с Анной Петровной, но теоретически у всякого индивидуума в интересах продолжения вида должна быть старшая дочь… Я даже люблю эту теоретическую старшую дочь.

Пепко расстегнул свою военную курточку, сел на стул, как-то особенно широко расставив ноги, и сделал паузу, ожидая от меня знаков восторга. Увы! он их не дождался, а даже, наоборот, почувствовал, что мы сейчас были гораздо дальше друг от друга, чем до его отъезда в Сербию. Достаточно сказать, что я даже не ответил ему на его белградское письмо. Вид у него был прежний, с заметной военной выправкой, – он точно постоянно хотел сделать налево кругом. Подстриженные усы придавали вид сторожа при клинике.

Пока Анна Петровна поселилась у сестры, а Пепко остался у меня. Очевидно, это было последствие какой-нибудь дорожной размолвки, которую оба тщательно скрывали. Пепко повесил свою амуницию на стенку, облекся в один из моих костюмов и предался сладкому ничегонеделанию. Он по целым дням валялся на кровати и говорил в пространство.

– Как ты глуп, господин Василий Попов, – ораторствовал он, болтая ногами. – Да, глуп, ибо не понимаешь величайшего счастья быть самим собой и только самим собой. Дорого бы я дал за собственную свободу, чтоб опять поселиться в этой дыре и опять мыслить и страдать. Сладчайший ширазский шейх Саади,[43] нет – персидский Гейне, Гафиз, сказал: «назначен птице лес, пустыня льву, духан Гафизу», а нам с тобой «Федосьины покровы». Ты не понимаешь собственного счастья, как здоровый не ценит своего здоровья, а между тем именно такая комната – идеал для всякого будущего знаменитого человека… Не в чертогах, не в виллах и палатах задумывались великие мысли, а вот в таких язвинах и тараканьих щелях. Тебя давит потолок – мечтай о высоких палатах; тебе мало свету – воображай залитую солнцем страну; тебя пробирает цыганская дрожь – лети на благословенный юг; ты заключен в четырех стенах, как мышь в мышеловке, – мечтай о свободе, и так далее. Только голодный мечтает об изысканных кушаньях, а пресыщенный богач отвертывается от них в бессильной ярости. Кажется, я выражаюсь достаточно ясно? Это, милый мой идиот, величайший из законов, закон контрастов; на нем выстроен весь наш многогрешный мир, а не на трех китах, как думает достопочтенная Федосья.

– Ну, а когда ты в турка будешь превращаться?

– Это дело серьезное, братику… Сперва-наперво я съезжу в Сибирь повидаться с одной доброй матерью, потом разведусь с женой и потом уже сделаюсь правоверным.

– Да ведь для этого нужны деньги?

– Деньги будут… Это вздор. Устрою приличный гаремец, – я не выношу единоженства. Гораздо приличнее, когда четыре жены… Там я буду чувствовать себя господином, а не стреноженным мужем своей жены. Да-с… И женщина на Востоке, несмотря на кажущееся рабство, в тысячу раз счастливее. Возьмем хоть нашу Федосью… Я покупаю, например, ее на невольничьем рынке за несколько лир. Хорошо. Сейчас полагается ей соответствующий костюм, харч и почетная должность главной надзирательницы моего гарема. Целый министерский пост, и ее жизнь полна. Здесь она только прозябала, а там будет чувствовать себя человеком. Ты, конечно, тоже пойдешь в правоверные?

– Нет… я, кажется, сделаюсь критиком.

– Э, братику, стара штука. Ты эту мысль у меня украл… да.

– Ну, уж извини, пожалуйста… Своим умом дошел.

– А я раньше тебя об этом думал и могу представить тебе письменные тому доказательства. Положим, что я тщательно скрывал это…

– Ты, кажется, вообще намерен скрыть от публики все свои таланты.

– Нет, кроме шуток, ей-богу, думал запузыривать по критике. Ведь это очень легко… Это не то, что самому писать, а только ругай направо и налево. И потом: власть, братику, а у меня деспотический характер. Автор-то помалчивает да почесывается, а я его накаливаю, я его накаливаю…

– А если тебя самого примется накаливать другой критик?

– Голубчик, да ведь это и есть хлеб насущный: и я ему не пирогами буду откладывать, а пропишу такую вселенскую смазь, что благосклонный читатель только ахнет. Я даже сам буду себя ругать, конечно, под другим псевдонимом, а публике и любопытно посмотреть, как два критика друг друга за волосы таскают и в морду друг другу плюют. Зрелище весьма поучительное… Да, думал, да раздумал. Не стоит… Хочу кончить дни своего странствия турецким джентльменом. Теперь много англичан переходят в турий… Ты только представь себе этакого пашу, Пепко-паша, эффенди Пепко – и фамилия готова…

Меня возмущало, что Пепко говорил глупости серьезным тоном. А в сущности он занят был совершенно другим. Отдохнув с неделю, он засел готовиться на кандидата прав. Юридическими науками он занимался и раньше, во время своих кочевок с одного факультета на другой, и теперь принялся восстановлять приобретенные когда-то знания. У него была удивительно счастливая память, а потом дьявольское терпение.

– К рождеству я отваляю всю юриспруденцию, – коротко объяснил он мне. – Я двух зайцев ловлю: во-первых, получаю кандидатский диплом, а во-вторых – избавляюсь на целых три месяца от семейной неволи… Под предлогом подготовки к экзамену я опять буду жить с тобой, и да будете благословенны вы, Федосьины покровы. Под вашей сенью я упьюсь сладким медом науки…

С войны Пепко вывез целый словарь пышных восточных сравнений и любил теперь употреблять их к месту и не к месту. Углубившись в права, Пепко решительно позабыл целый мир и с утра до ночи зубрил, наполняя воздух цитатами, статьями закона, датами, ссылками, распространенными толкованиями и определениями. Получалось что-то вроде мельницы, беспощадно моловшей булыжник и зерно науки. Он приводил меня в отчаяние своим зубрением.

Действительно, к рождеству все было кончено, и Пепко получил кандидата прав. Вернувшись с экзамена, он швырнул все учебники и заявил:

– Я еще никогда не был в таком глупом положении, как сейчас… У меня и морда сделалась глупа.

Только вынесши этот искус, Пепко отправился в трактир Агапыча и пьянствовал без просыпа три дня и три ночи, пока не очутился в участке. Он был последователен… Анна Петровна обвинила, конечно, меня, что я развращаю ее мужа. Из-за этого даже возникло некоторое крупное недоразумение между сестрами, потому что Аграфена Петровна обвиняла Пепку как раз в том же по отношению ко мне.

## XL

В течение всего времени, как Пепко жил у меня по возвращении из Сербии, у нас не было сказано ни одного слова о его белградском письме. Мы точно боялись заключавшейся в нем печальной правды, вернее – боялись затронуть вопрос о глупо потраченной юности. Вместе с тем и Пепке и мне очень хотелось поговорить на эту тему, и в то же время оба сдерживались и откладывали день за днем, как это делают хронические больные, которые откладывают визит к доктору, чтобы хоть еще немного оттянуть роковой диагноз.

– Какую величайшую глупость я сделал! – в отчаянии заявил Пепко, когда проснулся после трехдневного кутежа в моей комнате.

– Кажется, это не должно бы тебя удивлять.

– Нет, серьезно, Вася.

Пепко сел на кровати, покрутил головой и начал думать вслух:

– Я, говоря между нами, свалял дурака… да. На кой черт я сдавал на кандидата прав? Ну, на что мне это кандидатство?.. Все юридические науки основаны на определении прав сильного; все законы написаны победителями и насильниками, чтобы не затруднять себя приисканием какой-нибудь формулировки для каждой новой несправедливости. Поэтому лучшими юристами навсегда останутся римляне, как первостатейные хищники. Потом писал законы феодал, военный диктатор, крепостник, а впоследствии будет писать капитал, в котором рафинировались все виды рабства. Он, биржевик, потребует санкционирования этих прав, своего рода канонизации, и будет прав, потому что все остальные права основаны на том же единственном праве – праве сильного.

– Чем же, наконец, ты хотел бы быть?

– Профессором монгольских наречий… Это дало бы мне право ежегодно отправляться куда-нибудь в экспедицию. Слава Богу, Азия велика, а у меня к ней влеченье, род недуга… Подозреваю, что во мне притаился тот самый татарин, о котором говорил Наполеон. Да… Теперь бы уж я делал приготовления к экспедиции, газеты трубили бы о «смелом молодом путешественнике», а там пустыня, тигры, опасности, голодовки и чудесные спасения. Потом возвращение из экспедиции, доклады по ученым обществам, лекции, статьи в журналах и овации. Женщины бегали бы за мной, как за итальянским тенором…

– Прибавь, что благодаря такой славной экспедиции ты удрал бы от собственной жены по крайней мере на год…

– И это имеет свою тайную прелесть.

– Ну, а теперь ты как думаешь устраиваться?

– Да я уж устроился… Разве я тебе не говорил? Имею честь рекомендоваться: вольнослушатель технологического института. Да… Я люблю математику вообще, как единственную чистую науку, которая по самой природе не допускает лени, а затем наш век – век по преимуществу техники. Не юрист, не воин, не философ перестроит весь строй нашей жизни, а техник… Да, в этом задача нашего века, и я хочу деятельно участвовать в ее разрешении. Будущая всеобщая история уже приготовляется в мастерских, выковывается под паровым молотом, блестит яркой звездочкой в электрическом фонаре и скоро полетит по воздуху. Да, здесь бьется главный пульс и здесь центр жизни…

Как я ни привык ко всевозможным выходкам Пепки, но меня все-таки удивляли его странные отношения к жене. Он изредка навещал ее и возвращался в «Федосьины покровы» злой. Что за сцены происходили у этой оригинальной четы, я не знал и не желал знать. Аграфена Петровна стеснялась теперь приходить ко мне запросто, и мы виделись тоже редко. О сестре она не любила говорить.

Так наступила зима и прошли святки. В нашей жизни никаких особенных перемен не случилось, и мы так же скучали. Я опять писал повесть для толстого журнала и опять мучился. Раз вечером сижу, работаю, вдруг отворяется дверь, и Пепко вводит какого-то низенького старичка с окладистой седой бородой.

– Вот он… – указал на меня Пепко.

Старец смотрел на меня темными глазами и протягивал руку.

Что-то знакомое было в этом лице, в глазах, в самой манере подавать руку. Я как-то сконфузился я пробормотал:

– Извините, не имею чести знать…

– Не признали, Вася… то есть Василий Иваныч?

Именно звук голоса перенес меня через ряд лет в далекий край, к раннему детству, под родное небо. Старец был старинный знакомый нашей семьи и когда-то носил меня на руках. Я уже окончательно сконфузился, точно вор, пойманный с поличным.

– Никифор Евграфыч…

– Он самый… Давненько не видались, Василий Иваныч. А я адрец-то ваш затерял и на память искал по Санкт-Петербургу. Да вот, на счастье, они встретились, Агафон Павлыч…

– Представь себе, Вася, какая случайность, – объяснял Пепко. – Иду по улице и вижу: идет предо мной старичок и номера у домов читает. Я так сразу и подумал: наверно, провинциал. Обогнал его и оглянулся… А он ко мне. «Извините, говорит, не знаете ли господина Попова?» – «К вашим услугам: Попов»… Вышло, что Федот, да не тот… Ну, разговорились. Оказалось, что он тебя разыскивает.

– Поистине, гора с горой только не сходится… – философствовал старец, оглядывая с любопытством провинциала нашу убогую обстановку. – А квартирка-то, Василий Иваныч, того…

– Не красна изба углами, а пирогами, – объяснил Пепко.

Пепко вообще почему-то ухаживал за старичком я всячески старался ему угодить. Появился самовар, полбутылка водки, колбаса в бумажке, несколько пирожков из ближайшего трактира и две бутылки пива. Старичок сидел на кушетке и рассказывал далекие новости.

– Анна-то Ивановна, аптекарша, померла от родов… Двое ребятишек осталось. Полицеймейстер у нас новый, барон Краус… Помните деревянные ряды, где о Николине дне торжок был? Сгорели еще в позапрошлом году… Теперь церковь новую строим. Не знаю уж, как Господь поможет… Дядюшка-то ваш, Гаврила Павлыч, ножку себе сломали… Очень уж они любили лошадей диких объезжать, ну, а тут им и попадись не лошадь, а прямо сказать – зверь. Замертво принесли домой дядюшку-то… Архирея нам нового обещают, а старой-то, Мисаил, на покой выпросился. Хороший был архирей… В третьем году купца убили. Это еще до чугунки, – теперь ведь под нас чугунку подвели.

Пепко накинулся на старца с какой-то непонятной для меня жадностью и засыпал его вопросами. Ему все было нужно знать, до судьбы моих тетушек включительно.

– Хорошо у вас там, на юге, а? – резюмировал он свой допрос.

– Уж на что лучше, Агафон Павлыч… Так хорошо, что помирать не надо. Я в первый раз в Питере, так даже страшно с непривычки. Все куда-то бегут, торопятся, точно на пожар… Тесненько живете. Вот бы Василью Иванычу домой съездить, стариков проведать. То есть в самый бы раз… Давненько не бывали в наших палестинах.

– Конечно, Васька поедет, – решил за меня Пепко. – Я ему давно это говорю… Всего три дня дороги.

– Вот, вот… Отдохнули бы у родителев. И родителям приятно… Не чужие люди.

– Я тоже домой поеду, к себе в Сибирь, – объяснял Пепко. – У меня мамаша… Славная такая старушенция.

– Так, так… Родителев завсегда нужно уважать, Агафон Павлыч.

Появление старичка нагнало на Пепку целый строй новых мыслей и чувств. Он просто бредил наяву и не дал мне спать целую ночь.

– В самом деле, Вася, поезжай домой. Право, лучше будет… Разве мы здесь живем? Так, призрак какой-то, кошмар… Там придешь в себя и будешь работать по-настоящему. Столицы только берут все от провинции, а сами ничего не дают. Это несправедливо… А провинция, брат, – все. Помнишь былину об Илье Муромце: как упадет на землю, так в нем силы и прибавится. В этом, брат, сказалась глубокая народная мудрость: вся сила из родной земли прет. Так-то! – Подумав немного, Пепко неожиданно даже для себя прибавил: – А что, если бы у этого иконописного старца занять рупь серебра?

Дня через два старичок опять пришел. Он был озабочен какими-то делами, и Пепко в качестве юриста дал ему несколько хороших советов. Это их сблизило окончательно. Меня удивляло только одно, что Пепко хлопотал больше всего о моем отъезде. Меня это, наконец, возмущало. Какая ему в самом деле забота обо мне? Пусть едет сам, если нравится. С другой стороны, мысль о поездке занимала меня все больше и больше. Потянуло на родину… В течение последних трех лет я как-то редко думал на эту тему и все откладывал. Теперь уже нечего было ждать.

– В самом деле, Василий Иваныч, вот как махнем, – соблазнял меня старичок. – В лучшем виде… А как тятенька с маменькой обрадуются! Курса вы, положим, не кончили, а на службу можете поступить. Молодой человек, все впереди… А там устроитесь – и о другом можно подумать. Разыщем этакую жар-птицу… Хе-хе!.. По человечеству будем думать…

Еще накануне отъезда я не знал, уеду или останусь. Вопрос заключался в Аграфене Петровне. Она уже знала через сестру о моем намерении и первая одобрила этот план.

– Поезжайте, голубчик… – с твердостью уговаривала она. – Нужно все это кончить. Скучно будет, а все-таки лучше…

Что может быть грустнее таких прощальных разговоров? Я, кажется, еще никогда не чувствовал себя так скверно. Но нужно было решиться.

– Я всего на две недели, – говорил я, не знаю для чего. – Что я буду делать там, в провинции?

– Все-таки поезжайте… с Богом.

Дебаркадер Николаевского вокзала. Паровоз уже пускает клубы черного дыма. Мой старичок ужасно хлопочет, как все непривычные путешественники. Меня провожают Пепко, Аграфена Петровна и Фрей. Пепко по случаю проводов сильно навеселе и коснеющим языком повторяет:

– Ты, землячок, поскорее к нашим полям возвратись… легче дышать… поклонись храмам селенья родного. О, я и сам уеду… Все к черту! Фрей, едем вместе в Сибирь… да…

Второй звонок. Пепко отвел меня в сторону.

– Вот что, Вася… – заговорил он торопливо. – Помнишь, я тебе из Белграда тогда писал? Кончено, брат… Молодость кончена. Э, плевать… Я, брат, на себя крест поставил.

Третий звонок. У меня глаза затуманивает слезой, но я сдерживаюсь. У Пепки глаза тоже красные. Меня почему-то начинает разбирать злость.

Обер-кондуктор дает свисток. Я смотрю в окно вагона. Платформа точно дрогнула и поплыла назад, унося с собой Фрея, Пепку и Аграфену Петровну.

– Живио! – крикнул Пепко ни к селу ни к городу.

– Слава тебе, Господи… – вслух молится мой старичок, откладывая кресты. – Донес бы Господь живыми…

Скоро Петербург остался назади, а с ним осталась назади и «светлая юность»… Я думал о Пепке и чувствовал, как его люблю. Его дальнейшую историю расскажу как-нибудь потом.

[1] «Я – раб, я – царь, я – червь, я – бог» – у Г.Р.Державина (1743–1816): «Я царь, – я раб, – я червь, – я бог!» (Ода «Бог», 1784).

[2] Гафиз (Хафиз) (1320–1389) – поэт, классик таджикской и иранской литературы.

[3] «Надо мной певала матушка…» – из стихотворения Н.А.Некрасова «Калистрат» (1863).

[4] комедия окончена… (итал.)

[5] Лука Жидята – новгородский епископ (первая половина XI века), автор «Поучения к братиям», одного из самых ранних произведений русской духовной литературы.

[6] «Угрюмый пасынок природы» – у А.С.Пушкина в «Медном всаднике» (1833): «Печальный пасынок природы».

[7] невзгоды… (лат.)

[8] Боа-констриктор – змея из семейства удавов.

[9] «…подозрение да не коснется жены цезаря» – фраза, приписываемая римскому императору Юлию Цезарю (100-44 гг. до н. э.).

[10] разумеется (лат.).

[11] в полном составе (лат.).

[12] местный колорит (франц.).

[13] Патти Аделина (1843–1919) – знаменитая итальянская оперная певица, в 60-х годах прошлого века пела в итальянской опере в Петербурге.

[14] «Динора» – комическая опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791–1864).

[15] Николини – оперный певец, француз по происхождению, муж Аделины Патти.

[16] «Царь Кандавл» – балет Ц.Пуни.

[17] – Жребий брошен (лат.).

[18] стрелка (франц.).

[19] про себя (франц.).

[20] Вы на чем изволили повихнуться? Ах да, вы испанский король Фердинанд. – У Гоголя в «Записках сумасшедшего» Поприщин воображал себя испанским королем Фердинандом.

[21] на лоне природы (нем.).

[22] дети мои… (франц.)

[23] коллегию составляют трое (лат.).

[24] Здесь – на свежем воздухе (франц.).

[25] Здесь – в дополнение (франц.).

[26] – Увеселительная прогулка (франц.).

[27] наедине (франц.).

[28] Я кончил (лат.).

[29] «…От ликующих, праздно болтающих…» – из стихотворения Н.А.Некрасова «Рыцарь на час» (1860).

[30] Фирдуси (Фирдоуси) (935-1021) – поэт, классик таджикской и иранской литературы.

[31] Луишка Каторз – так в шутку Пепко называет французского короля Людовика XIV (от Louis Quatorze).

[32] Цинциннат Луций Квинкций (V в. до н. э.) – римский консул, крупный землевладелец.

[33] Голконда – древний город в Индии, славившийся своими богатствами.

[34] «Даже самая красивая девушка не может дать больше того, чем она располагает» (франц.).

[35] в курсе (франц.).

[36] Гумбольдт Александр-Фридрих-Вильгельм (1769–1859) – выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник.

[37] труп (лат.).

[38] Мария Антуанетта (1755–1793) – французская королева, жена Людовика XVI.

[39] Луишка Сез – так Пепко в шутку называет французского короля Людовика XVI (от Loui Seize).

[40] «Не говори, что молодость сгубила…» – из стихотворения Н.А.Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю» (1855).

[41] чистокровного (франц.).

[42] – Сабля моего отца? (франц.)

[43] Саади (ок. 1184 – ок. 1292) – поэт, классик таджикской и иранской литературы.

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch